

АРТИКЛЫ

Израильский литературный
журнал

АРТИКЛЪ



№ 22

Тель-Авив

2022

מעלות
המרכז למורשת יהדות ברית המועצות

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Рада Полищук. Дивны дела Твои.....	4
Рита Инина. Фея и баррикады.....	14
Павел Товбин. Весной в горах.....	22
Юлия Беломлинская. Маленький зеленый городок моего детства.....	31
Галина Калинкина. Питер, там ангелы летали.....	44
Калле Каспер. Круцификс.....	54
Александр Борохов. Три рассказа.....	62
Ольга Минская. Тридцать лет в пустыне.....	75
Урмат Саламатов. Трудный день.....	80
Анастасия Яковлева-Помогаева. Железная музыка.....	83
Елена Одинцова. Пакет молока.....	91
Нелли Воскобойник. Суровые будни Леванта.....	100
Давид Маркиш. В отказе	108
Михаил Юдсон. Остатки.....	125
Рита Грузман. Актриса.....	129
Яков Шехтер. Как я люблю вас, мои денежки.....	136
ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ СЕГОДНЯ	
Раве Саги. В автобусе.....	143
Айман Сиксек. Ты знаешь, они же из Абу-Гош.....	145
Рои Ешурун. Дороти.....	149

ПОЭЗИЯ

Ирина Евса. Из братской бездны.....	153
Фаина Судкович. Непрожитый июнь.....	161
Наталия Кравченко. Наша рана, родня, руина.....	166

Ирина Маулер. Триалог.....	171
Мири Яникова. Земля.....	175
Александр Кабанов. Судьбу копипастя	179
Елизавета Михайличенко. Этим Городом нет передоза...187	
Григорий Марк. Дни покаяния.....	193
Акшин Енисей. Уставший, как корабль.....	196
Александр Елин. Личный выбор.....	198
Владимир Ханан. Тунику легкую здрав.....	203
Сергей Черепанов. Стихи войны, мира и не только.....	209
Евгений Сухарев. Брелок.....	214
Александр Францев. Женьиьба.....	217
Юрий Берий. Включая погоду.....	221

НОН-ФИКШН

Нателла Болтянская. Моя еврейская история, или Длинное письмо к NN.....	225
Пётр Люкимсон. История моей одиссеи.....	240
Михаил Черейский. Немцы? Ну, немцы.....	296
Давид Шехтер. «Еврейское счастье».....	302
Дневник событий русско-израильской литературы. Февраль-июнь 2022	308

СТИХИ И СТРУНЫ

Проживание насквозь.....	322
--------------------------	-----

БОНУС ТРЕК

Ася Анистратенко. Катастрофа.....	324
--	-----

На титульной странице Нателла Болтянская.
Фотограф Владимир Фриджес

ПРОЗА

Рада Полищук

Дивны дела Твои

Из цикла «По следам молитвы деда»

У Гиршеле был скверный характер. Так повелось считать с раннего детства. Едва явившись на свет, он оглушительно резко заорал, побагровев, как бураки, гуртом лежавшие за окном, все зажали руками уши, даже мать, рядом с которой он лежал, еще не спеленатый, только-только от нее отъединенный. Даже тугой на ухо прадед Борух, который к тому времени уже почти не различал звуки, все время тревожно озирался и спрашивал: «Вус из гетрофн? Вус из гетрофн? Что случилось?»

Вот и сейчас, не отрывая глаз от напряженного лица младенца, перекошенного уродливой гримасой, дед Борух прижал к ушам маленькие морщинистые пергаментные ладошки с пожелтевшими от махорки пальцами и взволнованно спросил несколько раз подряд: «Что случилось? Вус из гетрофн?»

– Внук родился! – ответили с разных сторон, перекрикивая младенца.

– Характер! – дед одобрительно покачал головой, поцокал языком, улыбнулся беззубым ртом и обеими руками погладил свою бородку клинышком. Этот жест был признаком хорошего расположения духа. Словно поняв это, Гиршеле прекратил орать и мгновенно уснул. Семья вздохнула с облегчением. Ходили на цыпочках, говорили шепотом, то и дело оглядываясь на младенца, не в силах скрыть переполнявшую всех радость.

Гиршеле был первенцем в семье Арона и Ширы. Долгожданным первенцем. Шире никак не удавалось выносить ребенка, все заканчивалось кровотечением и долгим мучительным выздоровлением. Надежда таяла, мечта угасала. Уже все, кроме Ширы, приняли ее бездетность как окончательный приговор. И Арон готов был смириться, даже спать стал отдельно от нее, на старой

перине, прямо на полу, рядом с супружеским ложем – не хотел, чтобы домочадцы заметили перемену. Жалел Ширу. Жалел, любил, жизнь за нее готов был отдать, а помочь ничем не мог. Не в его это силах. Господь всемогущ... Молился как никогда истово, отрешившись от всего второстепенного, все молитвы переиначил, об одном просил, о главном: «Да покорит милосердие Твое гнев Твой на меня, Арона, сына Хавы, сбрось в пучины моря все мои прегрешения, вспомни все заслуги и праведные дела, помоги жене моей Шире, дочери Мириам, исцели ее, и она будет исцелена, пошли ей ребенка, и она будет спасена, прошу Тебя, Всемогущий, помоги Шире, жене моей...» На утренней молитве и на вечерней, и днем, и ночью, в неурочное время – одно и тоже твердил: «Да покорит милосердие Твое... Помоги жене моей Шире, Всесильный, Всемогущий...». Молился, а спал на перине, на полу. Не мог заставить себя лечь в постель, на белоснежную простыню которой густым красным пятном вытекали из Широного лона его нерожденные дети. Как вспомнит ее безжизненно-белое лицо, фиолетово-черные провалы глазниц, неподвижное тело, остекленевший взгляд, ее лоб, обжигавший холодом его губы, будто уже умерла и никогда ничего не повторится: ни их жаркая любовь, ни ее щемящая нежность, от которой ноет в груди и слезы текут по щекам, – как вспомнит все это, завернется с головой в одеяло и мычит, как раненый зверь. Мычит, кусая руки, чтобы Шира не услышала его боль, не увидела его слез. Арон стыдился этих слез, а поделаться ничего не мог, они текли и текли, просветляя душу.

С рождением Гиршеле все переменялось в доме: отступили страхи, долгожданной постоялицей пришла радость. Шира расцвела – пополнела, щеки горели румянцем, рот, постоянно раскрытый в благостной улыбке, алел лепестками роз. Глаз невозможно было отвести от нее.

Впервые увидев Ширу, Арон сразу понял, что не зря явился на этот свет: она – его фея.

Многодетная и бедная семья Ширы объявилась в местечке неожиданно и шумно, как цыганский табор – гурьбой. Лица у всех серые от усталости и дорожной пыли, глаза настороженные, недоверчивые. Дошли до соседнего обгоревшего дома, обугленный дверной проем которого был для чего-то забит досками крест-накрест, а дальше зияло пепелище. Здесь весной сгорели самые бедные и

тихие в местечке дедушка Хаим и бабушка Хая, как-то неприметно сгорели, ночью.

Арон запомнил этот день на всю жизнь. Не просто запомнил – считал его днем своего рождения, потому что впервые увидел Ширу. Еще в толпе, серую от пыли, как все, уставшую, с орущим младенцем на руках, ничем вроде бы не приметную. Но сердце вдруг дрогнуло от какого-то счастливого предчувствия так оглушительно, что он даже испугался, в горле сделалось сухо, а глазам больно. Он будто ждал чего-то, что пропустить никак нельзя.

Предчувствие не обмануло его. Ближе к вечеру он снова увидел Ширу, столкнулся с ней лицом к лицу. И зажмурил глаза, а когда открыл их, какое-то время ничего не видел, как будто ослеп, – только большое светлое пятно, яркое, пульсирующее. Арон опять испугался, а в груди сделалось незнакомо сладко и томно. Он услышал ее залиvistый смех и впервые почувствовал ее прикосновение. Шира взяла его за руку и куда-то повела, мягкая теплая ладошка, бархатная, без единой мозоли. Арон удивился, подумал: «как у барыни». Хотя отродясь никакой барыни не видел, тем более не держал за руку.

Они медленно спускались вниз, потянуло прохладой и сыростью, запахом тины и камышей. На берегу она отпустила его руку. «Давай купаться, - сказала, - поплывем вон на тот большой остров», и махнула рукой, выбрав направление. Арон не посмел сказать, что не умеет плавать, да и, казалось ему, это теперь не имеет никакого значения – он пойдет за ней, куда она скажет, поплывет, полетит.

Шира разделась в кустах, осторожно ступая, вошла в озеро, отгоняя руками прибрежную ряску, легко оттолкнулась от дна и поплыла. Обернулась к нему, помахала рукой. «Догоняй!» - крикнула, и он послушно скинул одежку, нырнул, задержав дыхание, испытал ужас и радость одновременно, ему показалось, что он не плывет, а летит по небу, свободно, как птица. Захлебываясь от восторга, он замахал руками, и вдруг почувствовал, что идет ко дну, в легких полно воды, и нет сил сопротивляться. Он хотел позвать ее, вспомнил, что не знает ее имени и уже никогда не узнает. И все-таки – это было счастье...

Шира вытащила его из воды, почти со дна ставка, за волосы вытянула, и откачала воду из легких, сама, никого на помощь не кликнула, как будто уже поняла, что только

она отвечает за его жизнь, и только ей он доверится во всем полностью и безоглядно.

Когда Арон открыл глаза, он ничего не понял: было легко, холодно и как-то еще – сладко и томно, как уже было недавно, когда он впервые увидел Ширу. Он лежал абсолютно голый, и она наклонилась над ним, почти касаясь его лица своим лицом, его губ своими губами, ее волосы прикрывали их обоих. Он снова провалился куда-то и увидел, как Шира расплела свою толстую косу и стала отжимать густые, распущенные по плечам мокрые волосы, на бережку, возле ставка, в предвечерних сумерках. И платье облепило ее мокрое тело, обрисовывая все потаенные места, и видел это только он, никого рядом не было. Арон чуть не задохнулся от накатившего на него блаженства. Шира – песня его счастья.

Она первая поцеловала его, сама сказала, что станет его женой, и до самой смерти будет оберегать его от всякого зла, от любой беды. Так оно и получилось – точь-в-точь, только они еще этого не знали. С него довольно было того, что она у него есть, а после рождения Гиршеле и вовсе – мир поселился в душе, и ничто уже не могло выбить его из устойчивого благорасположения. Во всяком случае, так Арону казалось, даже смерть не пугала, потому что Шира была рядом. Да он и не думал о смерти, с какой стати? Шира как взяла его за руку в тот, первый раз, так и ведет за собой. И он, как слепец за поводырем, доверчиво, безоглядно и бесстрашно шагает след в след за Широю и молится, не так истово, на грани безумия, как до рождения первенца, а безмятежно, умиротворенно, благостно, смиренно, с верой в Его милосердие и справедливость. Не привык жить без молитвы. Да и нельзя еврею без молитвы.

Вот и молится Арон спокойно и благодарно. Теперь у него все хорошо, детские мечты покинули его, он вообще ни о чем не мечтает – все у него есть: Шира, Гиршеле, отец, все, слава Богу, в здравии, покров Божий осеняет их благодатью. В душе его царили покой и мир.

Все рухнуло в одно мгновение, и расплющенный под руинами, Арон ни жив, ни мертв, не чувствовал ничего, только свое остановившееся сердце, исторгавшее нечеловеческую боль, и что-то холодное и окаменелое, сжимало его правую руку. Шира лежала рядом, ее волосы привычно касались его лица, щекотали подбородок и шею, легкие завитки пробегали по губам, обычно он, шутя,

прикусывал их, и смеялся. Шира тоже смеялась. А сейчас она молчала. Уже целую вечность, казалось ему, не слышал он ее голос. Только что возвращались от резника, шли по просеке, как всегда – Шира чуть впереди, он на шаг отставал. Она держала его за руку, и они обсуждали, как послезавтра, после шабеса будут отмечать бар-мицву Гиршеле, его тринадцатилетие. Большой праздник; и готовились основательно – отдельно писали список гостей, хотя чего писать – приглашать придется почти всех. Или всех, все местечко. Борух сказал: всех! И резко рубанул рукой воздух. Ну, всех, так всех, столы можно сколотить из досок и прямо на улице поставить. Шутка ли – их сыну уже тринадцать лет!

– Послушай, Шира, наш праздник будет самым лучшим в местечке.

Шира ничего не ответила, и Арон тихо-тихо прошептал, прижав ее руку к груди:

– А может, и во всем мире, Широчка. Что ты думаешь? Это же наш первенец, Широчка, а?

Тишина давила на уши и от боли раскалывалась голова. Арон потер лоб и попытался подняться. Что-то мешало, давило на грудь. Ширины волосы щекотали лицо. Почему они лежат на земле под липами, судя по колдобинам – посреди дороги? И чьи-то ноги в рваных пыльных башмаках торчат перед глазами. И кто-то подвывает, поскуливает по-собачьи жалобно и противно.

– Ой-ёй, Арон!.. Арон, Арке, ой-ёй-ёй!.. – услышал он тихие скорбные всхлипы. Не Ширин голос, нет, и она никогда не плачет, никогда.

Арон прикрыл глаза, отгоняя от себя что-то тяжелое, непоправимое, что придавило его к земле. Вжался спиной в выбоину на дороге, хотелось исчезнуть, превратиться в дорожную пыль. Он ничего не желает знать! Ничего!

– Господи... И Ты не всемогущ... – пробормотал едва слышно, не смея поднять глаза к небу.

– Арке, очнись, ой, вэй, это я, это я, ой-ёй-ёй... Я убил Широчку, ой, вэй!..

Арон, наконец, увидел, что перед ним на коленях, в дорожной пыли стоит Лазарь, обхватив голову руками, и плачет-причитает невыносимо тягуче, заунывно.

Лазарь, местечковый извозчик, вечно пьяный после скоростижной смерти жены. Давно никто уже его не зовет по надобности, отвезти-подвезти, и он ездит бессмысленно,

туда-сюда на своей норовистой кляче Броньке, хлещет ее вожжами почем зря. А то вдруг слезет с телеги, прижмется лицом к лошадиной морде и плачет навзрыд. Тогда Бронька стоит как вкопанная, ждет, пока Лазарь отзовет песню своей тоски, задрав голову к небу, трясая жидкой бородкой, потом замрет надолго, и Бронька терпеливо переминается с ноги на ногу. А когда он снова натягивает вожжи и хлещет ее по впалым бокам, Бронька то упирается, как упрямая ослица, то вдруг несется опрометью с места, не разбирая дороги, кур давит, гусей, сколько кошек растоптала, скольких собак калеками оставила.

Бояться стали Лазаря и Броньку – а ну, неровен час, убьют кого. А как управу найти на Лазаря – и ребе Ицхак не мог придумать. Броньку он не отдаст, не продаст, она у него – одна родная душа на всем свете. Запереть его в доме – тоже права ни у кого нет, живой человек, хоть и подранок, и пьет без меры, но от горя, не от бесовства. С этим в местечке никто не спорит.

– Арке, очнись, это я, я убил нашу Широчку, ой, вэй... Горе мне... *

Арон и Лазарь дружили с детства. Лазарь тоже был влюблен в Ширу, но она сразу выбрала Арона, и он смирился. Так и ходили всюду втроем да втроем, пока не подросла Фанюша, младшая сестра Ширы, раскрасавица, добрая, нежная. На ней и женился Лазарь, когда Фанюше семнадцать исполнилось. Хорошая получилась пара, сердечная, берегли друг дружку, особенно Лазарь Фанюшу. Может, и продолжал любить Ширу, но никак не проявлял свое чувство, чтобы Фанюшу невзначай не обидеть. Ребенок и у них появился не сразу, как у Арона с Широй. Но хоть врачи по причине слабого здоровья решительно не советовали, родила все же Фанюша девочку, когда Гиршеле уже седьмой год пошел. Генеся-Рухл, Нешка назвали в честь бабушек Лазаря и Фани, которые лежат на кладбище над ставком, у самой воды, где гуси-лебеди ныряют-плавают.

Нешка – не дитя, ангел небесный, нарадоваться не могли, и сговор совершили по обоюдному согласию – поженить Гиршеле и Нешку, когда время их придет, породниться, чтобы к правнукам-праправнукам любовь перешла. Чтобы их отпрыски были счастливы в далеком будущем, о котором думать интересно и страшно одновременно, потому что никогда безоблачно не жили евреи на этой земле, но всегда мечтали: до прихода Мессии или после, когда восстанут из

праха все – и герои, и трусы, и жертвы и праведники, – настанет царство всеобщего мира и благоденствия.

На том и порешили. Сговор состоялся, и в завтрашний день смотрели почти с радостью. Только известно ведь – Бог располагает человеком по какому-то Ему одному ведомому промыслу. И случается нежданное-негаданное – кому праздник нечаянный выпадает, кому беда непоправимая. А за что? – на этот вопрос еще никому не удалось ответ получить. Да и с кого спрашивать? К Нему с претензией и обидой взывать? «Дивны дела Твои, Господи», – со стенаниями и плачем исторгается из покаленной горем души. А отклика никакого – тишина.

– Дивны дела Твои, Господи, – непрерывно твердил Лазарь, возводя глаза к небу, и по лицу его блуждала полубезумная гримаса-улыбка. Как нашел холодную уже Фанюшу, посиневшую от удушья, с черными губами и широко распахнутыми глазами, в бездонной глубине которых мерцал неясный свет, так и пробормотал впервые: «Дивны дела Твои, Господи...» Потом посмотрел на Нешку, которая спокойно спала, причмокивая пухлыми губками давно остывшую материнскую грудь, и снова прошептал: «Дивны дела Твои...»

И на похоронах, и семь траурных дней, и потом – еще и еще...

А после – запил глухо, неудержимо, даже ради Нешки остановиться не мог. Все позабыл, провалился в дурной, тягостный морок и не заметил даже, что Нешки нет в доме. Фейга, многодетная старшая сестра Лазаря, взяла девочку к себе. «Одним ртом больше, одним меньше, - сказала невесело, - Бог не оставит, проживем». И тяжело, протяжно вздохнула.

– Дивны дела Твои, Господи, – выл Лазарь, обхватив руками голову, раскачиваясь взад-вперед, будто молился, а про что выл, за что молитву возносил, понимал ли...

– Арке, очнись, это я, я убил нашу Широчку, ой, вэй... Горе мне...

Арон наконец все понял: Бронька затоптала Ширу насмерть. Он даже вспомнил, как это было, все подробности, мгновение за мгновением. Лучше бы память не возвращалась к нему никогда, лучше бы он умер вместе с Широй... Вместо Ширы!

Он попытался встать, для этого ему пришлось, приподнявшись на локтях, отодвинуть Ширу – она лежала на нем, прикрывая его своим телом. Именно, именно так –

она прикрыла его собой. Когда поняла, что Броньку несет прямо на них, хотела спасти Арона, толкнула его и упала сверху. А окаменелое и холодное, сжимавшее его руку, была Ширина ладонь. Он только что прижимал ее к груди, радуясь предстоящему празднику:

– Послушай, Шира, наш праздник будет самым лучшим в местечке.

Шира почему-то не ответила, оглянувшись через плечо, а Арон, ничего не замечая, прошептал:

– А может, и во всем мире, Широчка. Что ты думаешь? Это же наш первенец, Широчка... А?

– Берегись, Арке! – истошно закричала она и с силой толкнула его. Падая, он ударился затылком о камень и потерял сознание, но в последний миг увидел странную картину – прямо на него летела по небу лошадь с развевающейся гривой, похожей на крылья; она неслась высоко над землей, и солнце разбивалось тонкими брызгами о подковы. А прямо под копытами тоже по воздуху медленно плыла Шира, ветер разметал ее волосы, как конскую гриву, лицо было бледное, глаза полуприкрыты. Она опускалась все ниже, все ближе... ниже... ближе...

– Арке, это я, я убил ее... ой, вэй...

Арон осторожно обеими руками приподнял Ширину голову, на затылке зияла глубокая дыра от копыта, на волосах засохла кровь, все было присыпано пылью, как пеплом. Лицо Ширы перекосила гримаса ужаса и боли, он не узнал бы ее никогда. И цепляясь за это, как за последнюю ниточку надежды, подумал, что в забытье упустил какую-то важную деталь. Эта женщина – не Шира. Его Шира сейчас придет и все ему объяснит, возьмет за руку и уведет отсюда в жизнь, как когда-то давным-давно, когда вытащила его со дна ставка и откачала, не дала умереть. Он только тогда живет, когда ее теплая узкая ладонь сжимает его руку.

Сейчас его рука коченела от холода вместе с окоченевшей Шириной ладонью. «Жизнь кончилась, – подумал Арон. – Если Шира умерла, моя жизнь кончилась».

Подошла Бронька и, низко-низко опустив голову, лизнула Ширино лицо, кося на Арона испуганным взглядом. Он не реагировал. С другой стороны рядом с ним опустился на колени Лазарь и снова завыл, запрокидывая голову к небу. Арон не заметил его.

Он оставался безучастным ко всему и в этот день, и все последующие дни, словно окаменел: не ел, не пил, ни на кого не смотрел, ни с кем слова не молвил. Он вообще перестал разговаривать после смерти Ширы. Сидел в темном закутке возле печки, держал на коленях раскрытую книгу – Тору, Сидур или любимую Тегилим, но не переворачивал страницы, не шевелил губами, и выражение лица было потустороннее, отсутствующее. Может, и не читал вовсе...

А шалая Лазарева Бронька не вышла больше из своего сарая никогда, забилась в дальний темный угол, голову свесила и застыла, как изваяние. До того Лазарь, обезумевший от горя и водки, избил свою несчастную кобылу до полусмерти, а после Шириных похорон, навсегда отрезвевший, и еду Броньке варил, и траву для нее косил, и ведро с водой ставил. Бронька не двинулась с места, ни к чему не притронулась – не приняла его поблажек. Ни его не простила, ни себя. Так и стояла, пока ноги не подкосились от полного упадка сил, опустилась на свежее сено, которое Лазарь выстелил, и испустила дух.

И не с кем было Лазарю душу облегчить, и прощения просить не у кого. Все в местечке отвернулись от него. А он и не пытался изменить такой порядок вещей. Он, как Бронька, сам себя категорически не прощает, и вину свою будет нести до самого смертного часа. С Ароном хотел поговорить, да его на порог не пустили. А синагогальный служака Мотл, один во всем местечке не обходивший стороной Лазаря, рассказал, что Арон жив, сидит отрешенно от всего в закутке за печкой, держит на коленях священные книги, и вроде как не в своем уме. Только кто это достоверно знать может? Один лишь Бог, наверное, если есть Ему дело до травинки малой, песчинки ничтожной, что есть человек.

Так думал Лазарь бессонными ночами, хотел молиться, да не находил слов: не вымолить прощение, не отмолить грехи свои, не забыться в беспамятстве – не дано ему. С этим жить.

Так думал и Арон, погруженный в свой отрешенный от всего сущего мир, где не было ни дня, ни ночи, ни жизни, ни смерти – только мука неистребимая. Мука и боль. А что болит, какая мука мучает – не помнит. Все позабыл, только слова из любимых книг остались и выплывают иногда невпопад, он медленно повторяет их про себя, силясь что-то понять или вспомнить.

...Дни человека как трава... как цветок полевой, так и он зацветает... но стоит задуть ветру, и уже нет его, будто и не рос он никогда на этом месте...

«Нет памяти, - думал Арон, - и не будет памяти, одно забвение». ...Господи! Что такое человек, чтобы Ты помнил о нем? Что есть род людской, чтобы Ты обращал на него внимание? Что есть человек? Пустоцвет, бесплотной тенью проходят дни его... «Нет жизни, - думал Арон, - и нет смерти, лишь небытие, пустота».

Только иногда, казалось ему, слышит он залихватый смех, звонкий женский голос, который зовет его купаться, чувствует прикосновение чего-то мягкого, прохладного к своей руке; ему делается хорошо, легко, он словно плывет – то ли под водой, то ли в поднебесье, парит как птица; вот уже нет дома, нет печки, нет ни ставка, ни луга, ни леса, ничего нет... Если бы так было всегда... Но внезапно откуда-то снизу накатывает невыносимый вой: «Ой, вэй... Ой-ё-ёй!..»

«Что это? Что?» – силился он вспомнить. Напрасно.

Забвение и пустота... «С этим жить», - подумал Арон.

А что такое – жить, не мог вспомнить.

Фея и баррикады

Они познакомились в танце. Так рассказывала Faye. Дело было в Питере, в популярном джаз-клубе. А популярном потому, что это был первый официальный и единственный на то время джаз-клуб в городе на пять миллионов человек. Иван там играл первую часть программы. Потом его gig в подражание Ли Коницу завершился, и началось второе отделение с другим составом.

Он отошел к стойке бара послушать приятелей и немного выпить заодно. Последнее время с «немного» как-то плохо получалось. Но и особой беды в этом тоже не было. Пятнадцать метров коммуналки - в двух шагах и никуда не уйдут. Туда можно добраться ползком, в состоянии полного забвения и нирваны.

В зале было много разного народу. Уже появились так называемые «новые русские», которые давали хорошие чаевые и приглашали подработать на «корпоративы», или просто заказывали музыку на свадьбы и дни рождения. Также было много иностранцев. Иван подумал, что хорошо если одна десятая этих любителей джаза может отличить Ли Коница от Пола Дезмонда. А с другой стороны: какая разница? Сидят тихо, слушают, хлопают, чаевые дают. Что ещё?

Вторая часть программы была более весёлая, танцевальная. В стиле биг-бенд. Американцы толпились за двумя сдвинутыми столиками большой командой, которая потом разбилась на парочки. Только одна женщина осталась без сопровождения. Все танцуют, а она сидит. В зале темно и загадочно. Женщина - платиновая блондинка с облаком волос, в котором прячется умное, приветливое лицо.

Музыкант подошел к столику и пригласил её на танец. Женщина постарше его, но это даже заманчиво. Он вспомнил, как во втором классе был влюблён в десятиклассницу Олечку, с таким же клубом кудрявых волос.

Она сказала, что её зовут Faye. Ну да, фея. Она и есть. После концерта они ещё выпивали немного, отдельно от всех за барной стойкой, и договорились встретиться на следующий день.

Он ждал её в «Прибалтийской» в вестибюле с букетиком красных гвоздик. Потом вышла она. Волосы уже прибраны в бан на затылке. Подошла к нему свободно и бодро, как к старому приятелю: «привет, товарищ!»

«Русские женщины так подходить не могут, - обратил внимание Иван. - У них всё спектакль, всё с каким-то приворотом, всё не просто. Поголовный Станиславский. Непрерывное построение образа». К примеру, жена его взяла привычку обращаться к нему с укором, с видом жертвы, идущей на заклание. Ну, это последнее время, правда. До этого было что-то другое.

Его подружка Тамара, администратор в Ленконцерте, имеющая на него как дальние, так и более сфокусированные ближайшие виды, так та вечная Жанна Д'Арк. Решительная, порывистая, угрожающая, в своих ботфортах по колено: попробуй только скажи «нет». Ведь убьёт. Нет, не научились советские женщины так независимо обращаться с мужчинами, несмотря на перестройки и революции. А вот подумать, что если ни революции, ни перестройки никак не улучшили отношений между полами (слабыми, сильными, не важно) - то зачем они вообще были нужны?

Иван внимательно оглядел Фею и понял, что она далеко не десятиклассница, а очень даже взрослая женщина. Какая-то история вчера рассказывалась про сыновей в Стэнфорде? Но, тем не менее, его это никак не огорчило. Женщина ему нравилась. Осталось то первое, самое сильное впечатление, перед которым был не властен дневной свет. И самое главное, что смотрела Фея на него так просто, так хорошо. И не было в ней ничего кокетливого, навязчивого. С таким выражением наблюдают за белками в городском парке. Какое удовольствие за ними следить, когда они скачут с ветки на ветку в ясный солнечный день! И под её взглядом он почувствовал себя именно такой белкой, свободным и беззаботным зверьком, никому и ничем не обязанным.

Как-то само собой решилось, что Фея не пойдёт в цирк со своей группой, а Иван покажет ей Питер таким, какой он есть, и всё хорошее, что в нём пока осталось. Они прогулялись по Невскому до Садовой и немного дальше, до Кокушкина переулка. По дороге они прошли мимо Ивановой коммуналки, и он по-быстрому забежал домой: кое-что захватить. Чтобы пригласить Фею в коммунальную берлогу - не было и речи, хотя похоже, что предрассудки эту

женщину не обременяли. Она была вольна в своих суждениях и передвигалась по жизни, как межпланетный корабль, освобождённый от сил гравитации.

Любопытная американка настаивала на том, что ей обязательно надо увидеть квартиру старухи-процентщицы. Оказалось, что Фёдор Достоевский был её любимым детским писателем. Иван привёл её в первый попавшийся парадняк недалеко от Сенной, по принципу: где почище. Там, действительно, не так сильно пахло кошками, было полутемно, и даже уютно. Когда стали подниматься по ступенькам в бельэтаж, чтобы рассмотреть остатки витражей, Фея заметила, что борта пальто Ивана как-то неестественно оттопыриваются, в противоречии с анатомией его тела.

- Господи, что там у тебя?

- Топор, - серьёзно ответил Иван, - пошли наверх.

Они поднялись в лифте на верхний этаж и в чердачном предбаннике обнаружили скульптуру купидона, спрятавшуюся за мусорным бачком. Мраморный купидон с крылышками, почти не разрушенный за столетие, ехидно подсмеивается. За спиной купидона на стене, выкрашенной синей краской, размашистая надпись мелом: «Ленка из 28-й квартиры делает минет». Тут же прилагается и телефон.

Фея отметила, что ей здесь нравится, но она хотела бы знать, зачем они поднялись так высоко, под самую крышу, потому что квартира процентщицы вроде бы должна находиться ниже, на втором или третьем этаже. Иван медленно засовывает правую руку за пазуху, левой придерживает борт пальто: Фея наблюдает с интересом, но молчит.

- Боишься?

- Нет.

- И правильно делаешь.

Из-под борта пальто выныривает бутылка «Советского Шампанского», разлива «Новый свет», полусладкое. К шипучке присоединяются два хрустальных бокала, завернутых в «Ленинградские известия». Эти два бокала – всё, что осталось от большого сервиза на двенадцать персон, когда-то подаренного Ивану и его жене Наташе в день их бракосочетания, аж семь лет назад. Многие лета! Горько!

Иван и Фея сидят на подоконнике, пьют шампанское и смотрят на мокрые крыши домов. Городской пейзаж - как

черно-белая подкрашенная фотография из чужого, забытого альбома.

- Хочу признаться, - говорит Фея, - что это самый шикарный ресторан из всех, в которых мне когда-либо приходилось бывать. Спасибо тебе.

- Не стоит благодарности, - духарится Иван, - я совладелец целой цепочки этих заведений. Так что, в следующий раз выбирай, в любом районе города.

- Следующий раз на мне, - отвечает Фея и чокается с купидоном. Мимо проходит мужик в адидасовских трениках с помойным ведром, доброжелательно ухмыляется и просит закурить. Иван протягивает ему пачку «Кента», предварительно вытянув наполовину одну сигаретку, так удобнее, для захвата двумя пальчиками. Мужик берёт у него всю пачку, вытряхивает половину содержимого себе на ладонь, потом вежливо благодарит и уходит дальше в свою квартиру.

- Очень мило, - комментирует Фея.

- Да, у нас так, - отвечает Иван.

Вечер закончился большой прогулкой через Дворцовый мост на Васильевский остров к Кунсткамере, где хвостатые младенцы и двухголовые черепахи мирно спали, замаринованные в стеклянных колбах. Покуда шли через мост, ветер трепал их шарфы, как андреевский стяг на мачте. И дождь с градом ледяной дробью бил их по щекам, наказывая непонятно за какие провинности. Нева вздувалась пузырьём синтетической куртки с радужными разводами, грозясь перелиться через край гранитной набережной и утопить грохочущие трамваи, чтобы не мешали заниматься студентам в государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Без разбора шлёпая по лужам, уже не боясь промочить ноги, они периодически бежали, подгоняемые ветром, растопырив руки самолётиком, задыхаясь и хохоча. При особенно сильных шквалах они останавливались, распахивали куртки и, как летучие мыши, заслоняясь крыльями от непогоды, прижимались друг к другу.

А на следующее утро Фея уехала с группой в Грецию. А потом в Италию. Потому что такой был маршрут. Она звонила в Питер часто, и они разговаривали недолго. В этот момент вся коммуналка тут же собиралась на кухне, где был установлен телефон, готовить обед и кипятить чай. Даже в три часа ночи.

Фея сожалела что Иван не рядом, и передавала ему приветы от Афины-девственницы и императора Флавия. А в Питере по-прежнему шел дождь, и ему ни хотелось делать ни-че-го. И он думал о том, что какого чёрта. Да, какого чёрта?! В любой нормальной стране всякий уважающий себя мужик уже взял бы и рванул туда, к любимой женщине, а он должен сидеть в этой мокрой гнусности и беспомощно, умирая от зависти к свободе её передвижений, слушать истории про чужие путешествия. Как там Тур Хейердал? Бл..дь его. «Кон-тики» не прохудилась? Эх, хорошо бы сейчас превратиться в какую-нибудь Белку и Стрелку, и звездануть отсюда в ракете к ебене матери...

Через несколько недель Фея вернулась, и в этот момент, что-то произошло. Город бурлил. Люди бегали по улицам озабоченные, но уже не боялись друг друга, а останавливались и начинали чего-то обсуждать горячо и страстно, незнакомец с незнакомцем. Это было необычно. Иван ехал в такси на встречу с Феей, и водитель, по виду ровесник Ивана, приземистый и с круглым животом, подпирающим рулевое колесо, обтянутое искусственным леопардом, разглагольствовал по поводу нового «чрезвычайного временного правительства»:

— Да ерунда всё это. Там нормальные мужики собрались. Страну приведут в порядок. Экономiku на ноги поставят.

Ивану хотелось вклеить таксисту хороший jab в правое ухо, но он сдержался, а расплатившись, даже добавил ему на чай.

Они сидели, как раньше, в номере «Прибалтийской», болтали, курили, пили бренди с кофе, и тут-то Иван сообщил, что сегодня пойдёт с друзьями на баррикады.

- Да ты революционер, мой друг! - восхитилась Фея.

- Нет, я не буду драться. Я против насилия. Хотя... хотя я хочу, конечно, бороться за свободу и демократию... а лучше всего, я возьму свой саксофон, и мы с ребятами устроим концерт для бастующих, потому что музыка – это моё оружие.

- Я пойду с тобой Иван. Как будто бы я иностранная корреспондентка.

Фея схватила свою камеру и линзы, и они вышли из гостиницы ловить такси. Для начала надо было доехать до Ивановой коммуналки и забрать саксофон, чтобы он мог сыграть для защитников демократии. Таксисты не хотели везти их в сторону баррикад и митингов, и пришлось идти

пешком. Около «Европейской» толпилась группа американцев. Фея встретила знакомых, с которыми она пересеклась до этого в Греции, и они разговорились. Ивану с грустью подумалось, что для Феи весь земной шарик - как большая уютная квартира, а ему приходится весь свой огромный и сложный мир впихивать в пятнадцать метров коммуналки.

Американцы сказали, что у них в гостинице работает бар и ресторан. И выглядело логично, что нужно зайти в этот бар и ресторан и обсудить новости, а также немного выпить и закусить. Потому что оба ещё не завтракали, и все основные магазины почему-то были закрыты, а те, которые оставались открытыми, оказались совершенно бесполезными в смысле еды и выпивки, и торговали исключительно воздухом в разлив и на вынос, а также яичным порошком.

Иван вышел из шумного бара в коридор к телефону, чтобы дозвониться до тёщи. Вернее, до бывшей тёщи. Ему сообщили, что жена и дочь отправились прогуляться.

- Передайте Наташе, что я пошел на баррикады. И я её люблю.

Тёща в это время на что-то отвлеклась. Похоже пошла открывать дверь. Он услышал:

- Иди к телефону. Там Иван. Он в кино идёт. В «Баррикаду». Тебя зовет.

Наташа подбежала к телефону. как ему показалось, немного запыхавшись:

- А что идёт?

- Господи, дурила, ты хоть знаешь, что в стране происходит?

- Нет, у нас телевизор сломался. А что, кто-то дуба врезал из великих? По радио всё время «Лебединое озеро» играют. Послушай, скоро осень, а у ребёнка зимней обуви нет. Когда ты нам денег дашь?

Иван вспомнил, что зимняя обувь требовалась с периодичностью в два месяца, независимо от времени года. Но что ж, ничего не поделаешь, такая у его жены тактика вытягивания денег. Как будто бы он и так не отдаёт ей всё. Он уже даже не сердился. Пожалуйста, забирай. Не жалко. Да и на что их тратить, эти деньги? Да и развод ведь был фиктивный, чтобы купить Ивану комнату в центре, где он мог бы отдыхать после поздних выступлений. Но сегодня он соврал, когда Наташа спросила: получены ли деньги за последний концерт? Ему хотелось погулять Фею. Кроме

того, он чувствовал, что сегодня в его жизни должно произойти что-то значительное.

— Скоро, скоро. И деньги отдам, и вы обо мне услышите. Поцелуй Ляльку.

Потом он вернулся в бар и решил, что настало время прощаться с новыми друзьями и идти на баррикады, куда там всё не кончилось в смысле исторических событий и его, Иванова, в них участия. Но назойливые иностранцы его не отпускали:

- Нет, не уходи. Кто же нам будет объяснять, кто есть кто? Вот говорят, что президент под домашним арестом на даче в Форосе. А какие права у Ельцина? А этот тощий длинный парень откуда взялся?

И ему пришлось остаться. В славной компании сытых, хорошо одетых по погоде и не закомплексованных уникальным историческим прошлым людей было так интересно обсуждать быстро сменяющиеся городские новости, перемешивая их с «Космополитом», «Белой Леди», «Мохито», а также водкой «Мартини» с газировкой или с лимоном. Весь вечер Ивана не покидало приятное ощущение отстранённости: как будто ты уже великий писатель или корреспондент, а ещё лучше лётчик или космонавт, и видишь жизнь со стороны, обобщённым ландшафтом с бугорками гор и впадинками озёр, без навязчивых деталей типа рваных детских сапог или занудной Наташки с её хорошеньким личиком, рвущейся к его вернувшемуся с гастролей чемоданам, как щенок на прогулку. Нет, в этот вечер не было мыслей ни об отце, обескураженном переменами, ни о матери, торгующейся за фамильный столик с новоявленным любителем антиквариата, чтобы купить всем на вырученные деньги подарки к Рождеству и накрыть на стол, как положено. Не было и вереницы властных девушек, крутящихся по бесконечным орбитам музыкальных и околomuзыкальных кругов и желающих «продвинуть его карьеру и заняться серьёзно его артистической судьбой», А просто происходил душевный разговор интеллигентных людей за политику, за образование и за культуру.

Догадливый бармен оставил экран телевизора светиться беззвучно. Глухонемые новости шевелили губами дикторов, размахивали плакатами демонстрантов в Питере, молча ползли на танках по улицам далёкой Москвы, периодически уступая место парящим девушкам в пачках и мужчинам в трико. А правда ли всё это? Скукоту афонического телика

заменял на кассетнике вечно молодой Чарли Паркер, рассыпался созвездием звуков: Constellation! Тут же узнал Иван знакомую гармонию, и душный августовский вечер был остужен холодным блюзом звуковых волн.

Они просидели с Феей в баре до закрытия. А Иван так и не ушёл на баррикады и не добрался до своего саксофона. Когда вернулись обратно в «Прибалтийскую», Фея схватила его за рукав куртки:

- Пожалуйста, не уходи. Ещё очень беспокойно на улицах. Я не смогу спать. В Москве стреляли. Буду за тебя волноваться. Поверь мне, всё, что происходит сейчас, не стоит твоей жизни. Вот диван в гостиной, оставайся.

И он остался. И диван уже был не за надобностью. На другой день они пошли в американское консульство оформлять ему визу.

Весной в горах

Последние полчаса после пересадки она ехала в вагоне узкоколейки, где по стенам висели старые фотографии горных курортов и улыбающихся лыжников. За окнами уже было темно. Поезд неспешно тянулся вверх, а внизу в долинах появлялись и прятались в снегу редкие огни маленьких деревень. В вагоне, кроме неё, была лишь немолодая пара местных жителей. Оба молчали всю дорогу.

На маленькой станции горел неяркий, уже сонный свет. У входа попутчиков Марии ждала машина. В тишине стук двери и приветствия показались громкими. Мария постояла, привыкая к незнакомому месту. Темные горы, не торопясь, разглядывали её. Затем она двинулась к гостинице, что виднелась на холме неподалеку. За её спиной послышались молодые голоса. Слов было не разобрать, но по интонациям подумалось, что это могли быть её соотечественники. Любопытство пересилило усталость, и, когда она обернулась, увидела большую машину со включенными фарами у края дороги. Девушка в меховых наушниках прижалась к плечу высокого юноши в красной куртке, держась за него обеими руками. Её звали из машины, но она не откликнулась, пока юноша не развел руки с усилием и не подвел её к машине. Дверь захлопнулась, машина отъехала. Юноша быстро ушел от станции в сторону деревни. На улице вновь стало тихо.

В домах уже не было света. Всё, казалось, спало на окраине этой альпийской деревушки, однако беспокойства, естественного для женщины на ночной улице, не возникало. Было у неё скорее ощущение спокойного одиночества среди гор и ночного неба, которые с интересом прислушивались к её шагами стучу колесиков чемодана. Яркая звезда, что висела над станцией, двинулась за нею вслед.

В комнате было немного душно. Она раздвинула шторы и вышла на балкон. Горы огромными темными пятнами лежали совсем рядом в снегу. Далеко внизу в долине ещё горели два-три поздних огня в домах. Деревни не было

видно: она оказалась с другой стороны гостиницы, и до Марии не долетал ни единый звук. Пахло снегом, быстро подмерзающим после захода солнца. Подул холодный ветер. Сопровождавшая Марию от станции звезда наконец добралась до неё, повисла рядом с балконом и приготовилась к долгой спокойной ночи.

К своему удивлению, она спала крепко и проснулась довольно поздно. В гостиницах ей часто плохо спалось, несмотря на то, что последние годы приходилось ездить всё чаще. Она любила покой своего дома, осторожный скрип старых ставней среди ночной тишины провинциального города. Раньше на верхнем этаже спали дети. Они выросли, уехали, зажили своей отдельной жизнью. Оба очень гордились, что не берут у матери денег, хотя Марии доставило бы радость эти деньги им дать. Несколько раз они с мужем думали сменить этот старый дом, пришедший по наследству, на большой современный, да так и не собрались. Мария была уже слишком занята своей работой, а её муж не любил перемен ни в чем. В начале каждого учебного года он покупал себе одинаковые темные рубашки с двойным манжетом, которые и выбрасывал после нескольких стирок, потому что, как ему казалось, они меняются в цвете. Три раза в году он дарил жене розы, хотя она предпочитала тюльпаны, и часто цитировал ей строки из «Записок Цезаря о галльской войне», которые были ей неинтересны. В молодости он был хорош сухой неброской красотой, в которой чудился скрытый огонь. С годами огонь угас, так и не найдя выхода, и под личиной прочных семейных устоев в их дом осторожно вошла скука.

Когда она спустилась в ресторан, многие столики уже были свободны. Она села у окна. Внизу была долина, а за стеклом совсем близко были высокие горы. По одной из них, пристроившись сбоку, пополз к вершине небольшой состав из 4-5 красных с желтыми полосами вагонов. Напротив Марии сидела женщина с тонким длинным лицом, с ярким макияжем, непривычным для утра, и сердито смотрела на мужчину рядом с нею. Тот, наклонившись над тарелкой и прижав подбородок к груди, старательно жевал омлет с ветчиной, не глядя на свою спутницу. Женщина говорила, не переставая, при этом двигались лишь её губы, а голова оставалась неподвижной. Мужчина поднял на неё глаза, помедлил, спокойно, громко предложил ей заткнуться, и вернулся к своей тарелке. Марии стало её

жаль: ведь было же, наверно, время, когда этот мужчина, увлечённый сейчас едой, был близок и внимателен к ней, но потом что-то встало между ними. Быть может, просто безразличие привычки? И напрасны уже её попытки привлечь к себе его внимание.

Последние годы Мария всё чаще вглядывалась в незнакомые пары, пытаясь понять, что их когда-то соединило, и какие движущие силы могут развести людей в разные стороны.

Потягиваясь, вошли несколько молодых людей. Темперамент французской речи был слышен издалека. Они с любопытством поглядывали в сторону Марии так, что ей стало весело. День ожидался солнечный. Администратор гостиницы – неторопливая молодая женщина с широким лицом - объяснила, что весна пришла необычно рано. Она и не помнила, когда земля так рано приоткрывалась из-под снега. На пасху еще всегда зима и холодно, но этот год был необычным. Администратор аккуратно рисовала для Марии дорогу к реке, а затем на ближний ледник, наклоня голову к плечу от усердия.

Мария медленно шла через лес к реке. Ветер с гор был ещё зимним, морозным, но солнце поднималось всё выше, и уже пахло согревающейся землёю. Снег тщательно смели с дорожек, и даже здесь в лесу были развешаны таблички с указателями расстояний до гор, ледников, городов ближних и совсем дальних.

Она шла на шум воды. Река стекала с ледника высоко в горах, бурлила на порогах. На берегу спиной к ней стоял молодой мужчина и поливал себя водой из реки. Мария остановилась за деревом, глядя, как двигаются мускулы на спине незнакомца. Ей захотелось прикоснуться к его белой нежной коже, которая золотилась на ярком солнце. Лес был безлюден в этот воскресный день, на деревьях распускалась листва. Незнакомец выпрямился и поднялся с колен. Избегая неловкости, Мария сделала несколько шагов вбок и, раздвинув кусты, вышла из леса на берег.

Юноша немного смутился, набросил на мокрые плечи рубаху и даже зачем-то натянул красную куртку. «Совсем молодой, года двадцать три, - подумала она. - Наверно, одного возраста с моим сыном». Но этот выше; голова хорошей лепки, широкие плечи, но подбородок человека скорее нерешительного, мягкого. И, узнавая в нём соотечественника, спросила:

- Не рано ли?

- Нет, не очень холодно. А у моста уже цветёт сирень
вовсю – весна!

И, видя некоторое недоверие собеседницы, добавил:

- Я могу показать, если хотите, это здесь рядом.

В другое время она, скорее, просто поблагодарила бы за информацию, и вежливой сухой улыбкою отгородилась бы от этого юноши. Но она была одна всего на несколько дней, шумела вода на порогах и подули весенние ветры, которых ещё не могло быть так рано в апреле. Ей захотелось вот так беззаботно пройти вдоль реки и увидеть эту первую сирень.

Дорога оказалась неблизкой, но спутник Марии знал её хорошо. По дороге немного разговорились. Она призналась, что в этой части страны впервые. Преодолев смущение, юноша рассказал, что он архитектор, закончил последний курс. Что накануне вечером проводил своих приятелей в Берн и Цюрих, где он уже бывал, а сам остался покататься на лыжах. Они дошли до мостика с аккуратно выкрашенными столбиками перил. Всё было таким чистым и ровным, что казалось игрушечным. Только нетерпеливая вода в реке да горы – огромные и высокие – были настоящими. На склоне самой высокой горы точками мелькали лыжники.

Сирень действительно уже начала распускаться. Раскрывались на солнце лепестки с желтой сердцевинкой, и тонкий запах её, памятный с детства, казался ранним гостем в зимнем лесу. Рядом она увидела ещё одно виденье из детства – первые цветы черёмухи. Когда-то из ягод черёмухи, надеясь на их целебные свойства, делали пироги и компот с его вяжущим вкусом, и маленькая Маша говорила, что от компота язык прилипает.

«У него теплые коричневые глаза и веселая улыбка. И вообще очень милый мальчик. Кажется, это его я видела с девушкой вечером на станции», - подумала она, прощаясь.

Весь остаток дня после утренней встречи она гуляла по лесу, потом перешла реку по мостику с аккуратными перилами и направилась дальше в горы. Сначала она шла довольно быстро, потом всё медленнее, ощутив в тишине прозрачную красоту этих гор, узкой тропы через ледник, неспешно тающего снега. Казалось, ещё немного, и она перейдёт из мира людей к героям сказок, которые она так любила в детстве...

В апреле солнце садилось около восьми часов. Мария следила из окна, как оно покачалось в нерешительности над вершинами, прежде чем спрятаться и оттуда ещё недолго освещать розово-красным снега на Юнгфрау и Эйгере. Потом сразу стало темно и холодно. Ей стало скучно в гостинице, и она решила спуститься в деревню.

На улицах звучала причудливая смесь европейских и азиатских языков. Кафе и рестораны уже заполнились вечерними толпами туристов, говоривших громко и одновременно. Двое энергичных молодых людей с видом охотников, которых Мария видела за завтраком, оглядев сидящих в ресторане женщин, остановили выбор на ней. Сначала они по очереди принимали изящные позы, не сводя с неё глаз, затем сделали попытку представиться и пересест к ней за столик с бутылкой шампанского. Это было забавно, но галльский апломб ей наскучил, и, когда перед нею оказался утренний спутник, она была ему рада.

Он раскраснелся от морозного воздуха и выглядел совсем мальчиком ещё, высоким красивым мальчиком, который сразу захотел шоколаду.

- Вы любите горячий шоколад? Здесь он очень вкусный.

- Я на него уже смотреть не могу, - призналась она. – Я только что неделю провела в Берне на шоколадной фабрике. У меня компания, я делаю шоколадное печенье.

- А почему печенье? Я думал, что вы дизайнер или модельер.

- Ну, разве что надоест продавать печенье. Вот, видите, шоколад уже не могу есть. Тогда с горя пойду в модельеры.

Мария начала заниматься коммерческой деятельностью в поисках неизведанных ощущений. В ней, она знала уж давно, жила маленькая девочка, которая ожидала от каждого завтрашнего дня новых впечатлений, волнующих новостей и очень огорчалась от однообразия взрослой жизни. Идея небольших плиток шоколада с изображениями героев сказок оказалась удачной. Постепенно шоколад и печенье Марии вышли за пределы её провинциального города, заполнили кондитерские магазины по стране. Уже и радость от успеха и обладания деньгами становилась привычной. Они с мужем даже купили дом на набережной в столице, хотя муж её бывал там редко, предпочитая не уезжать надолго от любимой им школы, где он многие годы вел уроки античной и средневековой истории. Иногда Мария спрашивала себя, счастлива ли она, но, не дожидаясь ответа, вновь погружалась в работу.

Она стала было прощаться, но юноша попросил разрешения её проводить. Когда они вышли из кафе, перед ними оказалась немецкая пара, которую Мария ранее видела утром в гостинице. Женщина с узким лицом в высокой меховой шапке отставала на два шага от спутника, быть может потому, что опять говорила без умолку. Мужчина шёл впереди твердо, сыто и равнодушно. Потом они свернули за угол, и стало тихо.

Марии было приятно идти рядом с ним по спящим улицам. Говорили о пустяках. О том, что ночью может ещё выпасть снег, но уже апрель и к пасхе. Что он любит и умеет кататься на горных лыжах, а она их боится. Но, если спуск не крутой, она бы попробовала. Как-то неожиданно сговорились на следующий день идти на лыжах вместе.

А ночью действительно шёл снег, неторопливо, большими хлопьями. Горы сразу скрылись в тумане. Мария засиделась допоздна за работой, потом долго говорила со своим начальником производства, затем с мужем. Ровным голосом, как всегда, он сказал, что скучает по ней, и что в городе четвёртый день подряд идут дожди. И почему-то после разговора с ним ей стало одиноко. Перед сном она вышла на балкон. Знакомой звезды не было видно, но Мария знала, что она где-то рядом. Полосу света фонаря медленно пересекали снежинки. Как обычно, ночью было совершенно тихо. Падающий снег при полном безветрии создавал чувство защищённости. Он прогонял грустные мысли и обещал радостные уютные сны.

К утру развиднелось, открылись горы, хотя альпийские луга вновь ушли под снег. Пока она брала лыжи напрокат и добиралась до первого спуска, на солнце уже стало жарко. Снег размок и прилипал к лыжам. Сверху на большой скорости несясь лыжник, казалось, прямо на нее, и Мария растерялась и застыла на месте, успев подумать, что её худшие опасения по поводу горных лыж сейчас сбудутся. Лыжник в очках, закрывших пол-лица, сделал крутой поворот и остановился перед нею. Вчерашний спутник стал вынимать из рюкзака пачки мокрых банкнот, некоторые ещё с кусочками нерастаявшего снега – сиреневые, красные, оливковые. Денег было так много, что они не помещались в руках, падали на лыжню, на проталины, сквозь которые вновь стала выглядывать первая трава. И казалось весёлым и необычным, что деньги, потерянные в горах ещё в декабре, как им позже объяснили в полиции, теперь

лежали вокруг них, и снег на солнце под разноцветными банковскими билетами таял быстрее.

За находку юноше вручили значительную награду, которую он попытался разделить с Марией:

- Вы принесли удачу, - говорил он, - и тому, кто их потерял, и мне. Сейчас мы будем тратить награду: вы ведь не сможете мне в этом отказать?

Весь этот день они провели вместе. Взобрались на поезде на вершину Юнгфрау. Потом спустились в деревню, и он ей купил первую землянику этой весны, которая, так же как сирень и черемуха, никогда еще не приходила в горы так рано. Случайно узнали, что вечером в соседнем городке состоится концерт известного поэта и певца. И всё это время её не покидало чувство, легкое как первый хмель, когда изменяются границы видимого, и в реальность весело вступают чудеса.

Концерт начался, когда уже стало темнеть. Ночь ожидалась ясная, звездная, но с гор подул ветер. По счастью, Мария и её спутник сидели достаточно близко к полузакрытой эстраде, и холодные потоки воздуха огибали их. После громкого и несколько беспорядочного вступления джазового оркестра на эстраду вышел уже очень немолодой мужчина с обычной шестиструнной гитарой. Сильно побитый жизнью и собственными излишествами. Его появления ждали, и замерзающая аудитория приободрилась. Зрители скандировали имя артиста, пар от дыхания многих людей становился плотнее. Пока он настраивал гитару, пошёл легкий снег.

Певец добросовестно работал свою программу. В зале громко аплодировали. Потом оркестр смолк, и он запел балладу об ушедшей молодости. Он пел её очень просто, не в зал, а только для себя, как напоминание о том, как быстро проходит и его жизнь. Марии подумалось, что он затем и пришел, чтобы спеть одну эту балладу. Сознание того, что она ещё молода, хороша собою, желанна – радостное чувство, которым она обязана была этому вечеру, весне, наконец, молодому мужчине, сидящему рядом с ней, - вдруг ушло. Она взглянула на своего спутника, который, словно ощутив тревогу, повернулся к ней. Улыбнулась ему. Минутная слабость постепенно исчезла.

Они возвращались в шумной весёлой толпе. Многие зрители приезжали каждый год послушать этого артиста и знали все его песни, кроме последней баллады, видимо,

написанной недавно. По их словам, в этом году его исполнение было менее удачным. У входа в гостиницу они несколько секунд стояли молча рядом.

- Завтра мы пойдём к дальнему леднику. Он освещен по ночам. Я приду ровно в девять.

Мария быстро протиснулась, едва удержавшись от желания прижаться к нему, целовать его. В номере она еще долго не могла унять волнение от неожиданно сильного чувства.

Мария искренне верила, что, если полностью вобрать в себя имеющуюся информацию, сложные решения как личного, так и делового характера постепенно созреют сами собою. Деловое решение касалось покупки серии современных машин для перемешивания шоколадной массы, её медленного подогрева и насыщения пузырьками воздуха. Предлагаемые условия были выгодными для её компании.

Решения же личного характера представлялись менее очевидными. Уже в который раз с самого утра она задавала себе вопрос: чего же она, собственно, хочет? Чего ожидает от ночного свидания на леднике? Вопрос этот возник после вчерашнего вечера, когда она с трудом совладала с острым желанием. Романа на два-три дня? Нет и нет. Быть может, ей хотелось сохранить некоторую дистанцию, хотелось видеть в нем лишь инструмент, чтобы ощущать себя прекрасной и желанной, не вполне отдаваясь чувству?

В два часа, а потом в четыре пополудни она заколебалась и решила было не идти. Переоделась в домашнее, решительно разложила на столе материалы, собранные во время поездки в Берн. В коридоре послышались шаги. Засмеялась женщина, мужчина что-то негромко говорил ей. Она опять засмеялась. Шаги и голоса стихли.

За окном солнце неспешно плыло по яркому небу к горам. Она подумала, что, быть может, никогда уже ей не приехать в эту альпийскую деревню так, чтобы в апреле цвели черемуха и сирень, и таяли во рту ягоды первой земляники. Да кто же знает, повторится ли ещё здесь такое чудо? Ей захотелось, чтобы он пришёл сейчас же и увёл её на ледник по горной тропинке, крепко держа за руку. Потом она рассердилась на себя за нетерпение. В дверь постучали и внесли несколько нежных веток сирени от неизвестного дарителя. В комнате Марии запахло весной.

Ближе к восьми часам она уже была готова для ночной прогулки. Зеркало одобрило её выбор одежды, согласилось с тем, что она прекрасна зрелой женской красотой, что возбуждённо блестят её глаза, и гладкая, почти без морщинок шея переходит в высокую грудь. К четверти девятого уже совсем стемнело.

От деревни путь к гостинице вел вверх, к открытой площадке, где томился единственный горящий фонарь. Она стояла на балконе и смотрела, как её спутник поднимается по тропинке. Вот он подходит к освещенному месту. Забылись все её колебания - она уже готова была его окликнуть. В этот момент на дороге остановилась машина. Он обернулся на звук, и несколько человек окружили его. Девушка повисла у него на шее и стала его целовать. Он поднял было голову и посмотрел в сторону гостиницы. Мария быстро отодвинулась от края балкона, чтобы её нельзя было разглядеть снизу. До неё доносились оживлённые голоса, но слов было не разобрать. Некоторое время она не находила в себе сил глянуть вниз, потом голоса стали стихать и удаляться, и, когда она выглянула, площадка под фонарем уже была пуста. Она стояла в полной тишине, чувствуя, как трогательная красота этих дней распадается на разрозненные части, пока ей не стало совсем холодно. С близких гор сошли облака и стали закрывать небо. Они скрыли и звезду, которая висела возле балкона все эти три дня, но покинула её этим вечером. Тогда она вошла в комнату с мыслью о том, что пора уезжать.

Со временем забылась острота поражения. Заботливая память срезает острые углы прошлого, помогает объяснить причины разочарований и забыть ненужное. Остались лишь ранняя сирень в ещё зимнем лесу, запах черёмухи, юноша с золотистой кожей, поднимающийся с колен возле горной речки.

Из гостиницы Марии ещё долгое время присылали каталоги и приглашения на новые сезоны в горах. На фотографиях все лыжники старательно улыбались...

**Маленький зелёный городок
моего детства
(Нуар)**

- Любите вы уличное пение? -
обратился вдруг Раскольников к одному, уже
немолодому прохожему, стоявшему рядом с
ним у шарманки и имевшему вид фланера. Тот
дико посмотрел и удивился. - Я люблю,-
продолжал Раскольников, но с таким видом,
как будто вовсе не об уличном пении говорил, -
я люблю, как поют под шарманку в холодный,
темный и сырой осенний вечер, непременно в
сырой, когда у всех прохожих бледно-зеленые и
больные липа; или, еще лучше, когда снег
мокрый падает, совсем прямо, без ветру;
знаете? А сквозь него фонари с газом
блистают...

«Преступление и наказание»

*Это мой район и мой город,
Потому поднят повыше мой ворот,
Потому на мне немаркие боты,
Я отсюда — у нас так,
Что ты, что ты!¹*

Мы шли по Итальянской улице. Итальянская улица была пуста. Полпятого — самое непопулярное время для белой ночи.

Все её кареты превращаются в тыквы. Кучера в крыс.

Хрустальные башмаки — падают и бьются.

Бальное платье оказывается испачкано золой.

Тыквы стремительно катятся к мостам.

Крысы — заряжают по полной и всячески выябываются.

Всем хочется уже домой, но «мостовики» и «метрошники» — заперты.

Начинается утренний озноб.

Уже везде лужи блёва и осколки пивных бутылок.

¹ Песня Саши Ежова, известного питерского музыканта.

Время поливальных машин ещё не пришло.
Метро закрыто ещё час.
Но мы были как раз местные — ребята с района.
Мы уже давно привыкли, что, выйдя элементарно
заплатить за свет на Миллионную, натыкаешься на
Атлантов, которые держат небо.
Пойдешь прямо — упрешься в Эрмитаж. Налево — дворы
Капеллы. Направо Казанский собор...
«А зачем тебе Исаакиевский? Ссы тут!»

Мой спутник Лёха Саксофон, сняв комнату в коммуналке
на Караванной, окончательно осознал «щасте жить на
центру и тусить на районе». И сочинил эту радостную
песню.

Теперь мы громко пели её на пустой площади.
*А это, парень, мой район и мой город,
Потому поднят повыше мой ворот,
Потому на мне немаркие боты,
Мы такие, у нас так,
Что ты, что ты!*

- Давай, Лёха, крути. Скрути сразу парочку, хорошо же тут,
Пушкин ручкой машет... мы ему пяточку оставим...
Лучшему поэту — лучшую пяточку!

Мы уже сидели на скамейке и глядели на Пушкина.

Бомжи, которые собираются в сквере на Достоевской под
памятником Достоевскому, называются «достоевцы», а те,
что на Пушкинской, под Пушкиным, — «пушкинцы».

А тут у нас вообще никого... полпятого, время-то детское,
и никого.

Золотой Треугольник. Здесь никогда ничего не
происходит...

Два года назад прямо у «Европы» грабанули английского
консула, и с тех пор — тихо. На крышу Малегота должен
выходить каждую ночь Призрак Оперы и кричать, как
муэдзин: «В Золотом Треугольнике все спокойно!»

Шала¹ кончилась... И солнце уже светило сквозь Пушкина.
На голове у Пушкина сидели мелкие птицы: воробьи и
голуби. А вокруг летали ещё и крупные птицы: вороны и
чайки. И все они кричали на своих языках. Ну, воробьи,
положим, чирикали, и голуби мелодично клекотали. Но вот

¹ Шала – вид марихуаны низкого качества

эти крупные птицы издавали звуки чудовищные, особенно для человека, который покурил нормально и хочет покоя. Какие-то вопли, стенания, ужас. И удивительным казалось, что язык птиц называется «пение».

Всё равно — уходить из садика не хотелось. На свинью¹ уже пробило, конечно, но лень еще сопротивлялась свинье, тем более, все ночные места были какие-то невкусные. И стоило потерпеть и дожидаться открытия «Прокопыча» или «Фрикаделек» — прямо тут, на площади.

Хотя ясно было, что до девяти мы в этом садике не дотянем.

У Лёхи были ещё шишки в маленькой индийской баночке...

Чайки и вороны поднялись и улетели на крышу Малегота...

С Малеготом было связано мое Прошлое.

Миша Бакалейщиков, Человек Из Прошлого, тогда свалился, как снег на голову.

В конце февраля.

Человек Из Прошлого должен приезжать в Маленький Зелёный Городок Своего Детства искать Прошлое... Это — нуар... Нормальный ход для пижона.

Миша в очередной раз вернулся в Маленький Зелёный От Плесени Городок Своего Детства. Мы сидели в кафе — в «Европейской», всё на той же площади.

Была страшная скользкая зимняя оттепель — чёрный снег.

Говорили о Прошлом. Говорили друг другу: «Дай мне сигарету...»

От Миши ушла жена. Пятая или третья.

- Это потому, что ты куришь траву с утра!

Сейчас он жил Лондоне и работал на каком-то мифическом «Русском Радио». Но туманно намекал на близость свою к опальному двору.

– Я вообще могу всё! Ну, придумай любое желание, и я его исполню. Чего ты хочешь? Хочешь, отвезу тебя завтра в Лондон?

- Я хочу... В Лондон — это теперь слишком просто. Надо подумать...

- Выполню — выйдешь за меня?

¹ Чувство голода

- А на фига тебе на мне жениться? Мне сорок...
-...пять — я помню. Да я уж на молодой женился. Последняя была молодая — Светка. Надоело. А на тебе я еще никогда не женился.

- А всегда мечтал?

Я засмеялась. И Миша тоже смеялся. Никогда он не мечтал! Всегда, сколько мы были знакомы — он был женат. То на зав. отдела в «Березке». То на финке, то на шведке, то на известной балерине, то на знаменитой модели. Все его браки служили «машине социального становления» — так он сам говорил.

В постели, затягиваясь красиво «дежурной» сигаретой: «Понимаешь, девочка, я не могу на тебе жениться. Я давно уж превратился в машину собственного социального становления...»

Когда-то я радовалась неизменным приездам роскошного Бакалейщикова то из Финки, то из Шведки, то на «Хонде», то на «Мазде»... Походам в рестораны и кафе, ночёвкам в дорогих гостиницах, развесёлому сексу спортивного характера, со всякими там интересными заграничными фенечками...

Я говорила: «Не пизди — скручивай...»

А он мне пел песенку из «Беспечного ездока»:

Don't bogart that joint, my friend

Pass it over to me

Roll another one

Just like the other one

That one's just about burned to the end

So come on and be a real friend...

И объяснял, что в современном английском есть такой глагол «to bogart».

- От Хамфри Богарта, честно! Он появился после фильма «Ревущие двадцатые», там, в начале, в окопе Джим Когни дает Богарту затянуться своим бычком, а тот сразу, с одной затяжки этот бычок до конца выкуривает, ничего Когни уже не оставляет... Это хипповской такой глагол, типа, затянулся, так не «богарть», а передавай дальше товарищу...

- Давай не трынди, забивай...

И вот мы опять рядом. И даже номер у него опять в «Европейской». И постель по-прежнему больше с элементами спорта, нежели медитации. Странно для травокура...

Он опять рассказывал про старое кино. У него в Америке обнаружился двоюродный дед.

- Ты прикинь, Ань, его звали как меня — Миша Бакалейщиков! И он работал композитором в старом Голливуде, писал музыку для всех этих нуаров Джона Хьюстона, с Богартом и с Лорэн Бэколл! Эти киносы у нас шли в «Повторном фильме» на Ваське, помнишь? Трофейные и ещё по лендлизу... И я тебя учил, как глаза надо подымать, когда прикуриваешь...

Потом мы вспоминали нашу старую компанию, времена, когда все мы паслись во внутреннем дворе Малегота.

Макетная мастерская была в бывшей адмиральской квартире, такая анфилада проходных комнат, а сбоку ещё и коридор.

Дом, где когда-то находилась «Бродячая собака», забрал театр, снизу и сверху стояли пустые нежилые квартиры. И зайти в этот двор можно было просто в подворотню — без всякой охраны.

В середине восьмидесятых там работала целая компания художников. И ко всем таскались друзья. Туда ходили другие художники, ходили музыканты... Актёры из близлежащих театров: из Оперетты, из Комиссаржевки, из Комедии... Ходили - фарца, валютчики, проститутки из «Европейской». Просто артистические барышни, «подруги поэтов», сопутствующие таким компаниям...

Художников звали смешно: Немков, Немцов и Немчинов.

И ещё двух звали Табачник и Пасечник.

Приход в мастерскую человека по имени Бакалейщиков всех уж развеселил окончательно.

Табачник, Пасечник и Бакалейщиков — дружили между собой. Немков, Немцов и Немчинов — наоборот, всю дорогу ссорились. Часто из-за очереди к Киту.

А Кит их разнимал... Он — макетчик Малегота, - объединял всю эту компанию, он всем им делал макеты.

В самой первой комнате стояла огромная ванна, и Кит там разводил аксолотлей. Однажды он поссорился с пожарниками, они потом пришли и аксолотлей отравили.

Ещё Кит собирал коллекцию чугунных утюгов.

Я однажды рассердилась на Табачника и кинула ему утюг в голову. Слава Богу, промахнулась, могла бы насмерть.

Иногда там, в мастёре, возникали драки — пьяные художники выясняли отношения не хуже корсаров. Но не из-за очереди к Киту. И не из-за бабла. Драки всё ж таки из-

за тёлки в основном были. Типа: «Не богарть этот джойнт, сука, пыхнул — передай товарищу!»

- Ань, а я вот не помню, Кит вообще пыхал с нами? Или он тока по синему делу выступал... не считая мохнатого кармана...

- Он так бухал, что ему ещё только дуть с нами не хватало...

- Да не так уж он и бухал, как тебе кажется. Он просто гулял направо и налево, и на бухло всё это самое простое списать... - Миша засмеялся. - Он тебя динамил всю дорогу. Что он заснул где-то там пьяный, а ты, дурёна, ему верила... Я, Анюта, я к тебе свататься приехал!

Миша хотел говорить про любовь. А я уж завелась вспоминать про Кита:

- И убили его в пьяной драке!

- Ань, ты чего? Ты что, до сих пор веришь, что это была пьяная драка? Ты, мать, совсем дура, што ль?

- А что же это?

- Аня, это была заказуха. Да я думал, ты знаешь.

- Заказуха... А что он такое сделал? Из-за чего?

- Не знаю толком. Может, из-за бабы... Не, вряд ли из-за бабы-то... Из-за фальшака очередного. Они ж все там сидели в этой мастёре и гнали фальшаки. Вся эта компания «золоторуких», все эти левши — активно блох ковали. Народ-то забогател стремительно. На реставрацию было много заказов, а вслед за реставрацией начинаются заказы на фальшаки...

Этот «период Реставрации» я, конечно, помнила. Там были иконы, картины какие-то... Иногда мебель появлялась. Я однажды даже помогала из шпона розочки для столика «маркетри» вырезать. Лепестки и листочки. Шпон разноцветный, это было как в кружке «Умелые руки»... по трафарету. Даже мне доверили. И отдельно приходил Линас и отливал ангелов бронзовых... Ещё были старинные макеты музейные... рисунки... Я помню, там сидела девка с глазами, подведенными до ушей, и раскрашивала акварелью, прозрачно так, старинные гравюры... Они ещё спорили, то ли Немков, то ли Немчинов говорил, что это надо пастелью, а она настаивала, что нет, только акварель, у неё был альбом с такими же гравюрами, это были виды Санкт-Петербурга...

- Миш, но почему именно Кит? Остальных никого...

- Потому что он был, типа, самостоятельный. Остальные все работали на определенных людей. И всё это уходило далеко, куда-то в Грузию... не знаю точно. А у него появился вдруг свой клиент. Как раз здесь, в «Европе», они встречались. Ну, хрена ж теперь восстановишь, что там случилось. Ну, вроде это были другие бабки. И соответственно, другие правила. Он что-то там закосячил, что-то ушло за кордон, и оказалось, что хорошие люди попали. На такие серьёзные зелёные бабки. Я не в курсах толком, но история примерно такая... Да ведь когда его убили, ты уж и не жила с ним? Ты уж вся была в этом своём следующем... кто там был? Король джаза?

- Призрак Оперы... это был Призрак Оперы... Навсегда.

Потом мы опять сидели внизу, в кафетерии, который теперь назывался «лоунж». Опять болтали и вспоминали прошлое. Какое-то уже другое прошлое, то ли следующее, то ли предыдущее... До фига, оказывается, накопилось этого прошлого.

Миша загрустил.

- Ты не меняешься... Ань, почему ты не меняешься? Давай, поедem со мной... Мне там одиноко...

- Эй, не богарть этот джойнт, френд, пыхнул - передай товарищу... Я зато желание придумала: хочу на крышу Малегота. Как тогда. Помнишь, мы летом любили туда выходить ночью... С крыши мастёры можно было легко перелезть...

- Да это уйня-желание. Даже не интересно, там щас, наверное, кровельщики работают. И скользко. Хотя, если хочешь, запросто!

- Нет, не запросто! В Малегот сейчас вообще не пройти. Там теперь Кехман. И суперохранная система.

- МНЕ не пройти? Ты шутишь? Кехман... уехман!

Миша когда-то закончил экономический факультет Театрального, и последняя его должность перед отъездом называлась «младший администратор Малого государственного оперного театра», того самого, который в народе называли «Малегот» - это чуть искаженная аббревиатура.

Теперь театр называется Михайловский.

- Там теперь вообще карточная система входа. Электронные карточки. Ещё и разного вида. Одним можно ходить в одни места, другим - в другие, большинству можно ходить не всюду. В общем, если ты всемогущ, выведи меня

на нашу крышу, такая моя мечта. Выведешь на крышу — поеду с тобой в Лондон.

- Легко, Аня, легко! Хочешь на крышу — выйдем на крышу, будет тебе Призрак Оперы! Выйдем и споем: «Я сам себе и солнце, и луна... inside your mind!»

Я даже не верила, что это возможно.

Но вот же — мы стоим на той самой крыше.

Вошли в театр как зрители. И прямо в пальто нырнули куда-то в потайную дверцу, он открыл карточкой, попали на потайную лестницу и долго шли по ней, и потом спрятались в какую-то потайную комнатку. Нужно было ждать, пока кончится спектакль и все уйдут.

Всё было сложно. Театр при новом директоре по степени охраны напоминал военный завод времен совка. Бакалейщиков оказался реальный Штирлиц. Он где-то надыбал карточку-«вездеход».

А про потайные дверцы и комнатки он помнил.

- Как ты помнишь? Столько лет...

- Вообще-то я рассеянный стал.

- Это от травы. Нах ты куришь траву с утра...

Потом мы пошли по тайной лесенке дальше и вышли на крышу. Как тогда. Только тогда обычно было лето и белая ночь. Зимой как-то и в голову не приходило по крышам лазить.

Зимой мы были на крыше впервые.

Ветра не было.

Холода не было.

Не было завораживающей красоты Петербурга.

Не было гиперборейского льда.

Кругом лило, хлюпало, чавкало...

На площади лежали ошметки черного снега.

- Осторожнее, Аня, не поскользнься...

- Да тут нету льда. Всё растаяло. Иди сюда, я тебе покажу что-то, иди давай, да перешагни ты эти балясины, иначе не увидишь.

Там был такой ампирный мини-заборчик ниже колен, и за ним ещё кусочек, метра в полтора, ничем не защищённой крыши — вот с него было больше видно.

Бакалейщиков совершенно охуел от вида с этой крыши, на эту страшную площадь, засранную такими чёрными бурханами и хлябями... Хотя, по-моему, всё равно красиво. Но такое вообще... жуткое зрелище. От Петербурга ждешь чего-то другого. Даже зимой...

Он произнес Классический Монолог Отвалившего.

Он стоял на краю крыши в развевающемся чёрном пальто и кричал почти истерически... Плащ его бился, как альмавива, и шарф его метался красным знаменем...

- Вся ваша жизнь тут — грёбаная достоевщина! Одна такая большая Царь-Жопа имени Настасьи Филипповны! Унижение паче гордости. Якобы тут красота. Аня, какая тут, на хер, красота? Аня, тут гниль, он гниёт, этот факин Питер, понимаешь... гниёт не хуже Венеции... только Венеция гниёт цивилизованно, а это порождение херни гниёт на свободе — на просторах Севера. И тут ничо не помешает сгнуть ему на фиг, ни Юнеско там, ни зауеско... Снег, Аня, должен быть белый! Белый, понимаешь? Это медведь бывает белый и бурый. А снегу положено быть белым! И только! Тут царство грёбаной чернухи. Тут сплошной факин, факин, факин грёбанный нуар!

Сердце у меня стучало. И мысли стучали. От страха.

Он — раскоординированный. Он курит траву с утра. Он не успеет.

Не зацепится. Не схватится за меня.

Я толкнула его резко, двумя руками в спину — вперёд.

Он не успел зацепиться. Не схватился. Ничего не было
КАК В КИНО.

Не надо было бить его ботинком по пальцам и видеть его глаза. Этого бы я, наверное, не выдержала.

Полетел вниз, как миленький, с криком.

Всмятку. Вдребезги.

Нефиг курить траву с утра.

Всё это я собиралась рассказать Лёхе Саксофону.

Моему соратнику по группе «Анюта и ангелы». Главному Ангелу.

Архангелу с тяжелой золотой трубой.

Лёха Саксофон, наверное, не смог бы представить меня убийцей. Я для него была героиня. Даже то, что я сбила свою группу «Анюта и ангелы» и как-то кормила себя и четверых музыкантов, уже много значило в нашем, действительно замкнутом, затхлом, как болото, городе. Тут все толкались на малом пяточке — денег и славы было мало. И всё время нужно было как-то толкаться локтями, заново рождаться из этой нашей «царь-жопы», именно выпихиваться плечами из узкой её дыры. Сам Лёха этого никогда не мог. Он умел по жизни только дуть в свою дудку, в золочёную архангелову трубу.

Даже если бы Миша произнёс совсем другой монолог, наоборот, о любви к Питеру, я б его всё равно не пожалела. Я его приговорила к смерти и привела на его личное Лобное Место. В декорацию его личной смерти...

Потому что в любом уважающем себя нуаре, Человек Из Прошлого всегда рассказывает что-нибудь такое... насчёт этого самого прошлого... Из чего становится ясно, что он - не жилец.

Работы у Кита всегда была хуева туча. В Малеготе он был на ставке макетчиком. И там нужно было только раз в сезон делать Табачнику один официальный макет для текущей постановки. Но все остальные макеты были заказные, и для Табачника, если в другие театры, и для всей остальной шайки-лейки.

Потом ещё были военные макеты, с них и начались заказы для коллекционеров в конце восьмидесятых, когда вся лавочка с театром временно стухла по причине очередной революции.

Кит был пьяница, конечно. Самый натуральный пьяница. Такой классический русский мастеровой пьяница.

И опять же - кабацкая душа.

Основное время он проводил в этой малеготовой мастерской; по театральной описи имущества, движимого и недвижимого, она так и называлась «макетная». А прочее время он делил между тремя ресторанами Всероссийского театрального общества. Тем, что наверху, парадным, тем, что в подвале, и третьим, который был просто маленькое кафе-буфет.

«Европейскую» он не любил. Потому что туда ходили его загадочные работодатели, особенно в последние годы. Тонкие, изящные коллекционеры, которые заказывали ему уникальные макеты знаменитых битв. С солдатами всех видов и с техникой. Все это один к двадцати. Иногда и мельче. И платили по тем временам больше, чем просто много.

Это его почему-то нервировало. Он вообще был нервный.

Наверное, он стал бы алкашом и спился. Но не успел.

Может, я бы его и бросила, я вообще была легкомысленная. Но не успела.

Он часто дрался спьяну. И однажды его убили в драке.

Глупо, случайно. Отрыв селезёнки.

Хлоп... и нету пацана. Еще до всей этой Большой Стрельбы.

Так я думала целых двадцать лет. И дальше думала бы. Если б не этот разговор с Мишей.

Когда это случилось, из всей нашей компашки только он, Бакалейщиков, уже был женат на финке и мотался сюда с той стороны.

И было так очевидно, что он это всё и устроил. Этот суперзаказ, на суперфальшак, за супербабки. Он и сдал Кита. Больше никому. Сдавать своих - это принято в любой уголовной среде, ещё начиная с настоящего Джона Сильвера...

Ветер воет, море злится,

Мы, корсары, не сдаём...

Мы спина к спине у мачты

Против тысячи — вдвоём!

Трындёж, большой трындёж... Сдаём, да ещё как сдаём...

Миша, конечно, не думал, что Кит для меня такой важный человек. Миша думал, что самый главный мэн в моей жизни — это все-таки он. На худой конец — Пасечник. Или Табачник. Или тот, Король джаза...

Но уж точно не Кит: лузер, недоучка, ремесленник... Все они так считали...

Кит был Мастер. Такой, как им и не снилось.

Никто из них так и не понял, что Кит был мой Призрак Оперы Навсегда.

Какое счастье, что я всё-таки не скинула Мишу Бакалейщикова с этой грёбаной крыши.

А так классно всё придумала.

Нуар, такой нуар!

Ему бы понравилось. И Киту бы понравилось.

Табачник и Пасечник были бы в восторге!

На самом деле, эти слухи насчет фальшака и заказухи, ходили по городу все эти двадцать лет. Кто-то из «финских мужей» привез их тогда сразу, и в них упоминался Бакалейщиков. Позднее кто-то из питерских рассказал их Дине Рубиной, и возможно, именно из этих слухов родился мой любимый её роман «Белая голубка Кордовы», роман о Мастере, убитом за фальшак.

Я нагло спёрла у нее эту тему, когда нужно было сочинить детектив с убийством для сборника «Петербург-нуар». Там у меня обкуренная паранойщица скинула с крыши

совершенно невинного человека, и я возненавидела эту героиню.

Потому что Миша - не мог, просто не мог сдать Кита!

Потому что вся моя жизнь - нуар, а в нуаре всё по правилам.

В нуаре рядом со мной - никогда не может быть Плохой парень. Рядом со мной - может быть только Хороший Плохой Парень.

Корсар, который не сдаёт.

Поэтому я верю в ментов и отрыв селезёнки.

Если кто кого и сдал, так это я - Мишу.

Ради того, чтобы попасть в тот сборник нуаров, его собирали для того, чтобы напечатать в Америке, в знаменитом издательстве, и я честно попыталась сочинить настоящий нуар, то есть непременно - детектив.

Про путешествие на крышу я давно уже рассказала Лёхе Саксофону, ещё тогда, зимой. Конечно, мы с Мишей поцеловались там, на крыше.

А сейчас я рассказываю Лёхе, как однажды, в нашей советской юности, Бакалейщиков затащил меня на крышу Дома Книги, и мы залезли в этот самый Стекланный Шар. Там внутри был дощатый настил для ремонтников, у Миши в рюкзаке оказался надувной матрас... и это было реально круто. И это был наш первый раз, кстати. Летом. Ровно двадцать лет назад.

Лёха завидует нашей юности. Удивительно, но вот этот Совок Вреён Безвременья, когда многое было уже можно, но ещё бесплатно, кажется многим из молодых невероятно романтическим временем.

Лёха не знает ни Кита, ни Мишу Бакалейщикова. Хотя уже знает про то, как бьют в ментах, и про разрыв селезёнки.

Он думает, что это – обычная примета его времени и его юности.

Предпочитает камень траве и шишкам, потому что камень можно носить между пальцами и всегда легко скинуть.

Ему двадцать пять, и его мучают то Кира, то Лера...

Мы сидим на скамейке и смотрим на Пушкина.

Человек Из Прошлого едет по Приморскому шоссе, навсегда покидая Маленький Зелёный Городок Своего Детства.

Он совсем разнежился в этой своей Швеции. Он, видишь ли, объявил, что больше не приедет в город, где бьют в ментах. Понтуется. Всегда был пижоном. Говорит: теперь

будем встречаться в Одессе. Как будто в Одессе не быют в ментах.

Прощай Миша, до встречи в Одессе...

Человек Из Прошлого медленно подъезжает к Выборгу.

Женщина С Прошлым медленно забивает косяк.

Не богарть этот джойнт, друг.

Он сгорел до конца...

Ты лучше сверни себе новый...

Точно такой же, как тот...

Питер, там ангелы летали...

Из окон прибывающего поезда на рассветном перроне Московского вокзала, даже потом на площади Восстания, ею – До-Ре-Ми – еще не угадывался тот самый город, о котором столько слышала прежде, город-призрак, город-легенда. Налетели двое шустрых, чернявых: «Дэвушка, такси, красавица, квартира нэдорого, окнами на Зимний». На нее, туго спросонья соображающую, слова «окна на Зимний» произвели впечатление. «Сколько?» Тут же одёрнул тряпичный колобок – старушка-цветочница, перевязанная крест-накрест истертым пуховым платком поверх драпового пальто и ста внутренних одежд: «Ты що, сказылась? Обнесут...» Шустрые обиженно отошли.

Услыхав, откуда приехала девушка, цветочница загутарила за свою куму-землячку – ныне заправскую москвичку, не забывая попутно голосисто привлекать внимание прохожих к подмороженным розам. Потом всучила До-Ре-Ми мятую бумажку с именем: Азалия Карловна.

– Ти як доцю моя, кажеш вид Хрыстыны Осыпивны, мабуть не дорого визьмутъ. Тилькы пизнише треба.

Пизнише так пизнише... Стало быть, спешить некуда. Весь багаж в рюкзачке. За плечами уйма времени и свобода. А Фила удивляет ее привычка запросто заговаривать с незнакомыми людьми. И ничего в том страшного нет. До-Ре-Ми свернула с площади и только тут, на Невском, удостоверилась: она в Питере. Город неторопливо, не постоличному двигался, не спешил заполнять бродвей пешеходами и автомобилями.

Отсюда с расстояния почти в тысячу километров абсурдом казались вчерашние треволнения. Еще неделю назад не поверила бы, что человека можно купить для куклы, а не наоборот. Такую ситуацию ей преподнесла столица: клуб чайлдфри, реборны. Она с неразберихой в душе, с воинственной наивностью, вдруг оказалась в няньках у игрушки, прислугой вымысла, работой причуды. И дело даже не в ней самой, а в чудовищности ситуации: любовь к ребенку заменяется куклой, любовь к женщине – карьерой, любовь к родине – лозунгом.

Куда москвичи сбегают от невзгод, на передышку, за обновлением и переменами? Конечно, в Питер. И До-Ре-Ми в том неоригинальна.

Питер по-прежнему несуетливо передвигался. Взглянула на вывеску «Абрикосов» – закрыто, за углом перекрестка австрийская кофейня – и сюда рано, спустилась к каналу и застыла перед чудом Казанского. Влажный черный мрамор колоннады, резко контрастный сейчас с рассветно-подвенечным одеянием города, раскрыл полукруг объятий и вводил на свою орбиту, не отпуская. Обошла вокруг собора, всякий новый круг видя по новому его масонский знак на фронтоне, капители, пилястры, глазницы окон, арки дверей. Трогала ледяное тело колонн и слушала застывшую в камне музыку.

В музее очутилась прямо к открытию, а храм, казалось, и не закрывался. В свечную лавку зашел служка, женщина в синем сатиновом халате скоблила пол возле подсвечников. До-Ре-Ми попыталась, заглядывая в записку вокзальной знакомки – Христины Осиповны, спросить у стремительно идущей навстречу дамы в широкополой шляпе, где разыскать Азалию Карловну. Но дама с указкой в руках, не давая открыть рта, профессиональным тоном учителя затараторила экскурс по вызубренной программе. Она уверенно вела единственного посетителя по выстроенному маршруту от усыпальницы фельдмаршала к Царским вратам и чудотворной иконе Божьей Матери, потом к коринфским колоннам, затем к мозаикам и дальше к верхним ярусам с тайнами и мифами собора.

– Итак, центральным звеном скульптурного убранства северного фасада можно назвать бронзовые двери, обрамленные мрамором. Обратите внимание, они представляют собой копию дверей флорентийского храма, прославленного Баттистеро, повторить идеи которого поручили Лоренцо Гиберти. Художник создавал свой шедевр более двадцати лет. А вот эта стена...

«Шляпа» вдруг резко спросила:

– Девушка, вы не слушаете меня?

– Это же не стена, а Его прощание в Гефсиманском саду.

– А вы неплохо осведомлены...

– У меня тут послание от Христины Осиповны к Азалии Карловне.

Дама покраснела.

– Так вы не экскурсант? Что бы сразу сказать... Я – Азалия Карловна, – сухо представилась «шляпа». – Что от меня требуется?

– Жилье сколько стоит?

– Об этом не в храме. Приходите вечером на Литейный, 55, квартира 12А, вход под арку. Вас будут ждать.

До-Ре-Ми бродила и бредила Невским, упивалась его непохожестью на ее тесное кривоулочное Замоскворечье, без стыда заглядывала в низкие окна, сочиняла чужую жизнь, любовалась грифонами, львиными мордами, бараными черепами на фасадах. Собирала в своей рюкзак впечатления впрок, забыв на время о всемирном хаосе и назревающей в соседней стране войне. Поражало совпадение с городом, растворение в нем, ее прозрачность, его наполненность. Сейчас ее состояние смог бы понять кто-то, кого выпустили из-под домашнего ареста – кто вырвался из плена и кто, наплевав на подписку о невыезде, препоны и карантин, бросился в давно загаданное путешествие искать себя, музыку, музу. Ей и наедине с собой никогда не приходилось скучать, а тут еще присутствие особняков – копий дворцов венецианских дождей, кружево витых решеток, истории стертых ступеней, тени прошлого, звучание музыки в архитектуре, в графичности корабельных мачт, в самом невечереющем воздухе.

Явление Петербурга во всей его сложносочиненности, слитность набережных с рекою, геометричность пейзажей и перспектив, да еще словно бы одушевленные львы и атланты – в собеседниках, бронзовые кони, гипнотические сфинксы, делали ее такой не одинокой, такой задаренной на этот зимний день, что пережитые распри на время куда-то канули, и счастье, казалось, пребывает почти в апогее. Почти потому, что на встречах лицах читалась будничная озабоченность, а через неё нет-нет да и проступал у кого-то испуг, загнанность, опасение. Как будто бы люди боялись не простреливаемой в бомбёжку стороны, а встреч лицом к лицу на одном тротуаре.

К исходу дня добралась до Александро-Невской лавры. В одном из приделов До-Ре-Ми застала проповедь после вечерней службы, где священник выговаривал с амвона горстке жмущихся друг к другу старух: «Не знаю, кто из вас вчера сделал замечание юной женщине с младенцем, что та вошла в храм с непокрытой головой и в брюках. Я не знаю, кто. Но я наказываю тому, кто прогнал их, всю жизнь

молиться за те две души, не получившие вчера помощи, за какую приходили».

Повернулся и ушел за алтарные ворота. Старухи – нахохлившиеся воробьихи – в молчании стали расходиться. Пошла прочь и До-Ре-Ми, унося из лавры звуки хора певчих и музыку ангелов, облетающих купол. Питер, Питер, там ангелы летали...

К вечеру с долгими остановками перед выплывающими из-за поворотов зданиями-незнакомцами, памятниками легендарным теням, мостиками через Неву, Невку, над каналами, она выбралась наконец-то на Литейный, отыскала в арке вход в подъезд, больше похожий на черный ход, чем на парадный.

После второго звонка дверь квартиры 12А открыла сама Азалия Карловна в шелковом кимоно и турецких шароварах. Черная широкополая шляпа гордо висела на крючке как декоративная тарелка, прибитая к стене.

За чаем обсудили условия проживания и оплаты, но До-Ре-Ми волновали неопределенные догадки.

– Азалия Карловна, а не в этом ли доме случайно жила...

– Она жила не случайно. Не в этом, но во флигеле рядом. Извиняюсь за вторжение в вашу личную жизнь, До, однако времена такие беспокойные. Вы случайно не из революционерок, не из панк-феминисток будете?

– Не из бомбисток точно. Могу вас успокоить, я одиночка. И тут в исключительно мирных целях: пробую начать самостоятельную жизнь назло тем, кто в меня не верит. Завтра стану искать работу.

– А что вы умеете делать?

– Я сочиняю музыку. Я, наверное, сочинитель музыки.

– Композитор? Кто покупает вашу музыку?

– Пока никто. Я ее еще особо не продавала. Что, думаете: стоило взять с меня задаток? Вы не переживайте, Азалия Карловна, на совсем крайний случай у меня имеется выход – один звонок в столицу, и у нас тотчас будут средства. Кто-то слишком правильный очень ждет этот крайний случай.

Азалия Карловна курила коричневые пахитоски и щурилась от дыма, щипавшего ей глаза, а иногда казалось, вытирает слезу, в которой перекатывалась горошина ее собственного одиночества.

– Знаете, милочка, я ведь когда-то научный коммунизм преподавала, да, захватила на излете эпохи. Так вот, потом в нахлынувшей свободе информации совсем потерялась. Однако книжки-то про капитал отложила и

другую книжицу в руки взяла. Одну, но вечную – Книгу Книг. А то читала бы в Музее истории религии и атеизма, как маятник Фуко действует. И как же мне обрыдли эти хомо-туристус, жующие гамбургеры в храме, считающие Библию и Евангелие одним и тем же текстом, измеряющие ценность иконы весом ее золотого оклада. Или не смыслящие в искусстве функционеры, коллективно требующие высечь, разогнать, «закрыть» инакомыслящих и «оскорбляющих чувство веры». Но надо смиряться, терпеть надо. Иногда и молчание можно услышать. Такому молчанию стоит учиться.

– А мне в Москве моей стало душно...

Сумерничание закончилось разлитым чаем, чашка осталась в живых – как факт личной победы До-Ре-Ми над собою (видел бы Фил ту викторию). Ночь увела До в Шереметьевский дворец с двумя флигелями – южным и северным, к двухсотлетним дубам и не менее возрастным липам, к могилке крепостной актрисы, к женщине-сфинксу возле подъездных дверей, к кабинету ученого-затворника, когда-то посреди бушующей революции упорно разбиравшего шумерскую клинопись возле нетопленного камина.

Утром ее разбудил лай взрослой крупной собаки, вроде сенбернара или ньюфаундленда. До отворила окно, и вправду надеясь увидеть фигуру богини с патрицианским профилем и пса по имени Тапа, но выглянув, никого не застала. Под окном лишь лежал исхоженный переkreщенными цепочками следов снег, и к стене флигеля прижимались театральные декорации с огромными ростовыми куклами Щелкунчика и Оловянного Солдата. Сейчас бы Фил сказал: «странное место» и неодобрительно посмотрел бы на До, как заправскую мастерицу попадания именно в странные места и ситуации. Фил не доверился бы женщинам с именами Христина Осиповна и Азалия Карловна.

На столе в кухне оставлена записка: «Завтрак в холодильнике, вечером пополните чем-нибудь наши запасы, днем отправляйтесь по указанному адресу, там сможете заработать, скажите: от Доры Изральевны. Адрес: Лиговка, 65, литер 2». Имени Дора Изральевна Фил вообще бы не произнёс ни при каких обстоятельствах.

На улицах ее преследовал запах потрошёной рыбы, сырой чешуи, аромат близкого финского моря. Откуда-то из приоткрытой форточки на проспект разливались

вымучиваемые гаммы. Ребенок, как ей казалось – мальчик – делал ошибку всё время в одном и том же месте. Стоя под окнами, До-Ре-Ми мысленно продвигалась за его руками по клавишам, пока не добилась результата: как только мальчик справился, она тронулась дальше в путь.

По лиговскому адресу значился великолепный даже в своей ветхости особняк. На звонки в литерную квартиру между вторым и третьим этажами никто не отзывался, тогда До-Ре-Ми, развернувшись спиной, решительно захохотала ботинком в обивку.

На площадку вышел хозяин.

– А ну-ка, прекратите хулиганить.

– Чего дверей не отворяете?

– Написано же: звонок отключен.

– А... крупнее писать надо, мелкий почерк – показатель плохого характера.

– Уж о почерке я получше вас знаю, смею уверить... Чем обязан?

– У меня к вам послание.

– Давайте сюда. Так: завтрак в холодильнике... пополните запасы... Запасы чьего холодильника я должен пополнить?

– Доры Изральевны, а она Азалии Карловны, а та Христины Осиповны... то есть холодильник тут ни при чём.

Хозяин втащил До-Ре-Ми за рукав, запер дверь на здоровенный крюк и, удаляясь по коридору, выговаривал непрошенной гостье:

– Так бы сразу и сказали, что от Доры Изральевны. Раздевайтесь.

До спасла прихлопнутую дверью варежку на резинке, скинула рюкзак, куртку. Осталась в шарфе и шапке с помпонами. Мужчина, обернувшись из глубины коридора, поторопил.

– Раздевайтесь, раздевайтесь, столько времени в никуда.

До, едва пробежав лабиринтом коридора и переступив порог просторного помещения, сообразила: мастерская художника. Хозяин мастерской стоял к ней спиной, загораживая холст, говорил, не оборачиваясь.

– Там слева от вас козетка, раздевайтесь, садитесь осторожно, она хромоногая. Сейчас тут допою, и начнем, деточка.

– Спасибо, я уже разделась.

– Ну, чудненько... Свет теряем, теряем свет... Сами знаете.

– Я вчера только с поезда, не знаю.

– Без подробностей... Ну-с, теперь с вами.

Художник вытер руки заляпанной ветошью и развернулся. До сидела на самом краешке кривой козетки, мысленно перечисляя варианты заработка: кисти чистить? Полы мыть?

– Вы что такая бестолковая? Времяяя! – рявкнул художник с высоты немалого роста. – Не дай Небеса, нагрянут активисты из правления; теперь не приветствуется писать натуру. Всё кого-то оскорбить боятся. Раздевайтесь!

Тут сообразила До, чего от нее хотят.

– Раздеваться? Бестолковая? Да вы со своей Дорой Изральевой, Азалией Карловной и Христиной Осиповой... сутенеры подпольные?! Я лучше буду... опилки в клетках убирать.

– Не шевелитесь, деточка, потом разденетесь... – вдруг жалобно заговорил долговязый. – Поразительная ассиметричность. У вас же нос кривой, и тень от него на щеку. Прелесть! Поздравляю! А линия скулы – какая плавность, а грудь высокая в этом свитере...

Мужчина шагнул вперед, протягивая руку. До-Ре-Ми, не дослушав, выбила из его руки кисть, стремительно понеслась обратно коридором, нашла на пяточке прихожей свои вещи, откинула крюк и кубарем скатилась с лестницы, по которой за ней неся мужской бас: «Да, стойте вы, чокнутая... я буду вас писать, буду...»

Поплутав с час-другой, она выбралась к Казанскому. Успокоилась, глядя на вечную черную красоту.

В дневное время на экскурсии в соборе вдумчиво передвигались несколько туристических групп с гидами, но Азалию Карловну не составляло труда разглядеть по шляпе. До-Ре-Ми подобралась совсем близко и рефреном учительскому голосу стала нашептывать: «Зачем раздеваться? Нос кривой, грудь высокая...»

– Идите домой, не срывают мероприятие, – таким же сдавленным голосом ответила Азалия Карловна. – Не умеете сами зарабатывать, дайте другим.

Дома за чаем без сахара хозяйка растолковывала гостье, что Вениамин Вениаминович известный в городе портретист и обнаженную натуру пишет настолько искусно, что многие питерские натурщицы за честь считают стать к нему в очередь. А тут протекция от самой Доры Изральевны!

Очередное чаепитие закончилось примирением и планами опробовать До-Ре-Ми в музее на подсобной работе. До чувствовала вину перед хозяйкой, пустым холодильником и заочно даже перед самой Дорой Изральевой – совершенно незнакомой, но мистически грандиозной особой. Примирительные разговоры прервал звонок в передней, и во весь дверной проем показалась фигура Вениамина Вениаминовича, объявившегося с повинной и с газетным свертком, в котором при вскрытии обнаружился сиреневый, остро пахнущий с мороза гиацинт.

Следующие шесть дней До позировала на хромой козетке, жутко замерзая в слабо нагреваемой кубатуре мастерской и переживая стыд наготы перед чужим мужчиной как падение, как месть мужчине своему, по-прежнему родному, но не научившемуся слышать и понимать её чудную, странную, живую сущность, её робкую внутреннюю музыку. Сидела, крепко обняв колени, словно связавшись в узел, словно пытаюсь спрятать за наготой что-то ещё более сокровенное.

На второй день они перешли «на ты». Когда мастер позволял До говорить, она делилась изумлением от своей странности – извлекать откуда-то изнутри музыку, вспоминала, как обнаружила в себе способности к сочинительству, когда звуки внутри нее сливались в мелодии, причудливо выплескивались на бумагу. Делилась открытием: кажется, она обрела трёх китов, на которых держится её мир, и первый, главный кит - это Питер.

Когда в перерывах и в конце сеанса она согревала озябшим телом свою безжизненно-ледяную одежду и прихлёбывала чай из стеклянного стакана в мельхиоровом подстаканнике, ей казалось, будто сидит на сквозняке плацкартного вагона и исповедуется случайному попутчику. Вениамин растирал её озябшие пальцы, укутывал в траченную молью горжетку, и всё более ревниво расспрашивал про былое столичное житьё. А До мечталось о своём: чтобы Фил пустился вдогонку, а не читал занудных лекций о поведении. Фил дипломатично уходил от попыток поговорить начистоту, вероятно, считая, что как никто другой достоин спутницы, единомышленницы, единоверки, заступницы, а не уличной музыкантши. Он ждал не сочинительницу, не женщину из романа, а ту, что была бы лишена бессмысленного упрямства, читала бы его мысли, пахла пряно, не давала бы поводов его друзьям, кроме как восхищаться ею со стороны. Он ждал ту умирительно

заглядывающую в глаза – за что ж счастьем таким испытание – за обедом разливающую из фарфоровой супницы умопомрачительно вкусное: жалко есть.

До-Ре-Ми при простоте внешности оказалась сложной натурой, вынашивающей собственные комплексы и таланты, и никоим образом не собиралась оставаться лишь объектом любования или инструментом исполнения чьих-то желаний. Ну, как об этом расскажешь чужому мужчине? Да еще малюющему твоё обнаженное тело. Череда обстоятельств привела её в Питер, на кривоногую козетку в мастерской портретиста. Теперь она сидела нагою, грызла сморщенное яблоко и болтала срывающимся от дрожи голосом о стакатиссимо, пицикато, легато, а думала о себе, о Филе, о Ма, сёстрах, о первоклашках, директоре школы, выгнавшем её – учительницу музыки – за неудобный характер и отказ участвовать в общественной вакханалии перед выборами. Она в который раз думала о неумелой любви к родине – ведь трудно любить безответно.

Вынужденная неподвижность дала ей передышку, возможность подумать о тех днях, когда всё было неправильным.

В какой-то момент До почувствовала подспудную опасность. Вениамин перестал смотреть на неё, как на препарированного лягушонка, во взгляде его появились зачатки претензии собственника. При случайных касаниях дыхание обоих сбивалось от смущения. Вот теперь До поняла в чем причины бессонницы, подступающей к горлу смуты и даже свежей приклеившейся морщины: слышать как искушение, как бес попутал сердцебиенье чужого тебе мужчины.

Мастер почти закончил работу, и всё же не отпускал обретенную музу, обещая ввести её в круг питерской богемы, уговаривая забытья, писать музыку, позировать, любить. Он предлагал вообще уехать с ним из этой страны, боявшейся самой себя больше вымышленных врагов. Он не хотел для неё возврата в ошестинившуюся столицу, считал: искусство выше насущного, выше мятежных площадей и профетизмов маргинального сброда, выше декларируемых несогласий или требований подчиненности коллективу.

До-Ре-Ми чувствовала; ещё немного - и произойдет что-то неловкое между ними, потому в один из вечеров объявила Азалии Карловне: сеансы окончены. После внезапного исчезновения модели художник каждое утро искаживал их

легендарный двор цепочками следов между заснеженными фанерными куклами – Щелкунчиком и Оловянным Солдатом, изредка с надеждой поглядывая на зашторенные окна. Прячась за гардинами, До ощущала острый гиацинтовый аромат. Больше она отдала ему – себя на портрете.

Жалея хорошего человека, До решила исчезнуть из его фантазий. Оставила хозяйке деньги, ключи, записку на столе. Выбрав момент, сбежала мимо озябшей фигуры. Двор через арку смотрел вслед уходящей гостье печальными глазами сенбернара. Питер, теперь уже хороший знакомый, провожал её новую свободу сдержанно осуждающе: метелью, ледяным ветром с моря, равнодушием озябших клодтовских коней и гипнотических сфинксов.

Эмиграция или богемная жизнь – точно не то, чего искало сейчас беспокойное сердце. Залгавшаяся, искушенная, пресытившаяся Москва не принимала её исканий, отстранялась. Уклончивый, эстетствующий Питер вовсе предложил сбежать, спрятаться, сделать вид, будто ничего плохого не происходит.

Какому городу верить? Какому веку? Какому слову? Куда путь держать?

Питер, Питер, там ангелы летали...

Круцификс

Если бы удалось изменить человека так, чтобы страсть его не ослепляла; если бы удалось сделать так, чтобы половое влечение проснулось только после того, как познано духовное единство; если бы было возможно искоренить пороки, чтобы человеку самому не приходилось подавлять их разумом, ибо такой контроль превратит его в нечто вроде больной машины, – если бы удалось все это осуществить, то это были бы совсем другой человек и совсем другое человечество.

Моя совместная с Марией жизнь указывала на то, что пока все по-старому: на третий год мы начали говорить друг другу колкости; на четвертый вступили в соревнование, кто больше разобьет посуды – преимущество было на ее стороне, но и я показывал достаточный темперамент; а на пятый я дал ей пощечину и получил в ответ другую, похлеще; дети, к счастью, этого не видели, поскольку были в деревне у тещи – мы доставили их туда, так как должны были лететь вдвоем на Крит; теперь Мария хлопнула дверью, и когда я через полчаса позвонил и спросил, не пора ли ей прийти упаковываться, она ответила:

- Слушай, Юрген, а почему бы тебе не пригласить с собой кого-то из своих «канареек»?

Так она называла нескольких моих случайных любовниц, в то время как я ее ухажера скромно нарек «монстром».

- Хорошая идея, - сказал я, прервал разговор, кинул несколько необходимых вещей в сумку и вызвал такси.

Вы были в Ретимноне? Пляж длиной четыре километра, от окраины до центра, с зонтами и лежаками, достаточно широк, чтобы вместить пол-Европы. Море, правда, не такое бирюзовое, как на Кипре, а цвета, который получил свое имя от него же – морской волны, но теплое и соленое, позволяет плавать часами. По набережной, отделяющей пляж от города, гулять в полдень, конечно, безумие, но когда солнце спускается к горизонту, она предлагает приятную альтернативу тем, кто предпочитает пиву закат. Старый город Ретимнона своими узкими улочками и

бесчисленными магазинчиками, в которых турист может подобрать себе подходящий сувенир, напоминает Таллинн, разница лишь в том, что вместо матрешек здесь предлагают алебастровые статуэтки античных богов, лепка которых, кажется, единственный талант современных греков. Да, это уже не тот народ, что некогда воздвиг на берегу Средиземного моря храмы и театры, создал философию, намного более глубокую, чем заменивший ее христианский мистицизм, и довел искусство ваяния до такого совершенства, что в течение полутора тысяч лет никто ничего хоть мало-мальски сравнимого сотворить не мог. Современные греки флегматичны, я сказал бы даже, печальны, на них давит величие прошлого, и они оживляются лишь тогда, когда начинается трансляция очередного футбольного матча, что является основным утешением не только для них, но и для многих других. Как они отличаются от венецианцев, которые по сей день сохранили жизненную силу! Когда смотришь на обитателей Серениссимы, создается впечатление, что дай им малейший шанс, и они снова подчинили бы и Кипр, и Кандию, как они называют Крит, и даже Константинополь.

В Ретимноне, как и во многих городах, жители которых говорят на греческом, турецком или сербохорватском, стоит венецианская крепость – доказательство того могущества, которого может достичь воля, если ей помогают ум и фортуна; в один из первых дней, случайным образом оказавшийся пасмурным, гуляя среди руин, я как раз и заметил парочку, на которую мимоходом обратил внимание еще в коридоре гостиницы. Мужчина, с отчетливым северно-европейским типажом, на вид что-то вроде удачливого инженера, высокий, с короткими светлыми, но уже с проседью волосами, казался лет на десять старше меня; зато его спутница – намного моложе не только его, но и меня, с иссиня-черной гривой и такого же цвета густыми, напоминающими щетку для обуви, бровями и ресницами, с полными губами цвета спелой вишни и с бедрами, напоминающими картофельную корзину моей бабушки, скорее всего, была родом из какой-то южно-европейской страны; мне она напоминала тигрицу, впавшую в летаргию. Они бродили, держась за руки – в его возрасте! – и когда остановились, чтобы поглядеть на море, по которому в этот день, словно воскресшие кони с собора святого Марка с пеной на губах, мчались волны, она доверительно положила голову ему на плечо; можете себе представить

весь спектр чувств, от иронии до зависти, которые меня при этой мизансцене охватили.

Моя комната имела балкон, на котором я утром пил кофе, после обеда решал sudoku, а вечером грустил, глядя на закат. От соседнего балкона его отделяла перегородка, не столь высокая, чтобы полностью закрывать обзор, так что я мог бы видеть постояльцев этого номера, если бы они появлялись там, но наши расписания, казалось, не совпадали. Однако, то ли на третий, то ли четвертый день я их все-таки засек – это оказалась та самая парочка. Я поздоровался на английском, мужчина ответил, а его спутница как будто и не замечала меня, ее взгляд проскользнул по мне, как по валяющемуся на траве теннисному мячику.

Одиночество и бездействие делают человека любопытнее, он начинает изучать окружение, задавать самому себе разные вопросы, выдвигать гипотезы. Парочка из соседнего номера заинтересовала меня, я видел в них некий идеал, до которого мне, со своими двумя неудачными браками – я и до Марии успел разок обжечься – даже приблизиться не удалось. Каждое движение, жест, взгляд выражали ненавязчивое внимание к другому. Я начал следить за ними, попытался разобраться в привычках обоих, понять, есть ли у них какие-то различия, которые могли бы стать причиной разногласий? С балкона я видел пляж, метрах в пятидесяти от меня. Вскоре я убедился, что мужчине, больше, чем женщине, нравится плавать, он то и дело заходил в воду, а она в это время сидела под зонтом и читала книгу – но каждый раз, когда он выходил на берег, она вставала, доставала из сумки полотенце и бережно высушивала его грудь и спину. Из гостиницы до пляжа они шли, как и в крепости, рука об руку. По репликам, которые невнятно доносились до меня в те минуты, когда они, по дороге на пляж или обратно, проходили мимо моего балкона, я понял, что разговаривали они на каком-то южно-европейском языке; возможно, это был итальянский, но ручаться не могу, в языках я слаб; важнее казался мне тон – ровный, спокойный. Я прислушивался, стараясь уловить хоть малейшие признаки ссоры – ни единого намека.

У меня и так было мерзко на душе – каждый вечер, чтобы забыться, я выпивал стаканчик-другой оузо, противного, приторного напитка, которым туристов угощает Греция; теперь, от боли и зависти, я и вовсе запил, уже утром делал первый глоток, затем повторял и повторял. Когда на

улице становилось жарко, я ложился и засыпал тяжелым сном; просыпался в сумерках, одевался и отправлялся в центр, чтобы там, кочуя из бара в бар, налакаться по полной программе. Возвращался, словно в тумане, брел в темноте, шатаясь, по набережной, иногда наталкиваясь на прохожих, которые глядели на меня, кто с жалостью, кто с отвращением. И вот однажды я почувствовал, что больше не хочу жить. Это случилось, когда я заметил свадебный кортеж, украшенный гирляндами и лентами. Все машины неистово сигналили, слышались пьяные, радостные крики.

«К черту! - подумал я. - К черту все!», и резко свернул в сторону мостовой, с намерением броситься под колеса какой-нибудь из этих машин; впрочем, что я в точности подумал, я даже не помню.

Но я не дошел, кто-то схватил меня за локоть, и я услышал знакомый голос, который на чистом эстонском языке строго сказал:

- Ettevaatust!¹

Я сделал попытку вырваться, но это мне не удалось. И я покорился – наверно, желание умереть не было во мне слишком сильным. Я позволил проводить себя до гостиницы и далее в комнату. Помню, что в коридоре мой спаситель сказал пару слов кому-то, и я узнал голос соседа.

- Вам необходимо принять холодный душ, - сказал он, когда мы вошли.

Он помог мне раздеться, дойти до ванной и встать под душ, который он же открыл. Холодная вода скоро привела меня в чувство, и сосед, увидев, что я вернулся во вменяемое состояние, оставил меня одного в ванной.

Когда я, в белом гостиничном халате, вошел в комнату, сосед стоял на балконе и курил. Заметив меня, он потушил сигарету и вернулся в номер.

- Лучше?

Ответив утвердительно, я поблагодарил его и сказал, что я бы в жизни не подумал, что он эстонец.

- Я давно живу в Швеции.

- Но ваша жена ведь не шведка? Она кто, итальянка?

Он помедлил, но все-таки ответил:

- Нет, она из Венесуэлы.

- Ах вот как!

¹ Осторожно! (эстонск.)

Пораженный, я, неожиданно для самого себя, вдруг выпалил:

- Если бы вы знали, как я вам завидую!

И я выложил ему всю свою душу: что ни карьера, ни деньги, ни даже известность (я был финансовым экспертом, и мои рассуждения, сопровождаемые моим фото, часто появлялись в газетах) – ничто не может заменить любовную гармонию. Рассказал также об обоих своих браках: первом, что явился, скорее, обоюдной глупостью, и втором, с Марией, к которому я относился со всей серьезностью, однако, несмотря на это, снова оказался в шаге от развода.

- Вы с женой так нежно любите друг друга; человеку несчастному тяжело на это смотреть, ему начинает казаться, что его собственная жизнь пошла насмарку. Неужели вы никогда не ссоритесь, неужели у вас не бывает разногласий?

Он не ответил, и я понял, что он не настроен на откровенность. Помню, что я подумал: «Ну, конечно, одно дело заботиться друг о друге в присутствии посторонних, это еще не означает, что, оставшись вдвоем, они не ведут себя иначе – кто знает, какие оскорбления они бросают друг другу в лицо в своей шведской спальне?»

Он как будто уловил мои мысли, потому что вдруг сказал:

- Нет, мы действительно не ссоримся. И никогда не ссорились. Это может казаться невероятным, но это так. Если хотите, могу вам рассказать свою историю.

Я понял, что он решился на это ради меня, и, растроганный, кивнул.

- Вы упомянули слово «любовь», - начал он. – Я не могу в точности сказать, что это такое. Бальзак сказал, что любовь – это благодарность за доставленное удовольствие. Возможно. Но может, еще за что-то. Например, за то, что рядом кто-то есть. До встречи с Федерикой я долго жил один, старался прийти в себя после... ладно, скажем, любовной истории, хотя я и не уверен, что это была любовь. Я жил тогда в Эстонии, мы оба были молодые, я и моя невеста, нас влекло друг к другу, и не только в сексуальном смысле – мы старались как можно глубже проникнуть друг в друга, буквально раствориться друг в друге; по крайней мере, я хотел. Сами знаете, на нашей родине довольно свободные нравы – мы тоже легли в постель задолго до бракосочетания. Моя любимая не была у меня первой, так же, как я не был первым у нее. Не могу

сказать, что это меня так уж беспокоило, так живут у нас почти все, чему тут удивляться, но мне казалось, что для счастливого брака нужна взаимная честность. Я рассказал невесте о своих похождениях, а затем стал настаивать, чтобы она ответила тем же. Она не стала уклоняться, и призналась, что потеряла невинность на вечеринке – сильно опьянела, отправилась спать в соседнюю комнату, и некто из собравшихся решил этим воспользоваться. Она поняла, что происходит, когда уже было поздно.

Сосед умолк на минуту, и я видел по выражению его лица, что он и сейчас, несколько десятков лет спустя, сильно переживает то признание. Затем он продолжил, другим, уверенным голосом:

- В тот момент, когда она мне все рассказала, я почувствовал, что уже не люблю ее. Не могу сказать, случилось бы это и в том случае, если бы ее история оказалась другой. Очень может быть, что именно опьянение, которое она сама, возможно, посчитала смягчающим обстоятельством, подействовало на меня особенно тягостно. У меня было чувство, словно мое лицо окунули в помой.

Я не сразу прервал наши отношения, пытался бороться с собой, внушал, что из-за прошлого нет смысла мучиться, что было, то было, но не смог. За три дня до свадьбы я сказал ей, что бракосочетание отменяется. Это было страшное мгновение; я понял по ее лицу, что это для нее означает. Она еще долго не могла смириться с тем, что потеряла меня, звонила, плакала, умоляла, чтобы я не бросал ее. Для ее родителей и двух сестер это тоже было ударом – в смысле престижа. У моей невесты была большая родня: дяди и тети, двоюродные братья и сестры, плюс много знакомых, однокурсники, подруги – они были приглашены на свадьбу, и теперь ей приходилось всем объяснять, по какой причине она не состоится. Не знаю, что они обо мне говорили, но наверняка ничего хорошего. Слухи о моем «бесчеловечном» поступке распространились, и в какой-то момент я заметил, что меня начали избегать. Оправдываться я не стал – как я мог рассказать, что меня на этот шаг толкнуло? Это было бы подло. Если нельзя было промолчать, говорил, что разлюбил – и все, но это оставляло еще более дурное впечатление. Даже моя матушка, которая поначалу была против нашего брака, осыпала меня упреками – она тоже думала о репутации. В конце концов, мое существование

стало невыносимым, мне казалось, что куда бы я ни пошел, везде на меня смотрят криво. Мне предложили работу в Швеции, и я переехал. Жениться снова я не хотел, стал захаживать в бордели – не в Швеции, а в командировках, которые, в силу моей работы, случались нередко. Европа полна проституток самых разных национальностей; будь я писателем, я мог бы написать книгу о сексуальной психологии женщин разной породы; но я не писатель.

Он опять умолк, и я еще острее почувствовал, что он борется с собой – продолжать или нет?

- Однажды дела завели меня в Сицилию, в Сиракузы. Может, слышали о таком городе, он основан задолго до нашей эры, там жили древние греки, и среди них – Архимед, которого убил один глупый римлянин. Еще там ставил свои пьесы Эсхил, а Платон сделал попытку осуществить при дворе сиракузского тирана свои бредовые идеи о государственном правлении, что для него чуть не закончилось плачевно – его хотели продать в рабство. В воскресный день я сходил посмотреть на греческий театр и знаменитое «Ухо Диониса» - пещеру, представляющую собой природное подслушивающее устройство, нечто вроде современных «жучков», а вечером купил местную газету, нашел объявления о знакомстве, позвонил девушке, которая рекламировала себя под псевдонимом «Дьяволетта», и договорился о встрече. Мне открыла молодая брюнетка, она помогла мне раздеться и подвела к постели. На итальянском она говорила с акцентом, я спросил, откуда она родом, она ответила: «Из Венесуэлы». Я знал, что это бедная страна, без слов было ясно, что часть своего заработка она отправляет домой, родителям, которые свято верят, что дочь работает на чужбине официанткой или продавщицей. Через полчаса я отправился в ванную. Помывшись, я вернулся в комнату, и увидел, что моя одалиска стоит на коленях у стены, под висящим на ней крестиком. Я был потрясен. Чтобы кто-нибудь в двадцатом веке мог искренне верить в Бога? Это казалось невероятным.

Заметив меня, она вскочила, но я за эти несколько секунд уже принял решение.

- Хочешь выйти за меня замуж?

Она не поверила, подумала, что я дразню ее. Мне пришлось несколько раз повторить предложение, клясться, что говорю всерьез. Когда эта мысль наконец дошла до нее, она задрожала всем телом и зарыдала. Я говорил с

ней долго и терпеливо – как с ребенком; она, по сути, и была ребенком. Помимо прочего я обещал ей, что никогда ни единым словом не упомяну ее прошлое, не задам ни одного вопроса. И я сдержал слово. Действительно, мы никогда не ссоримся, никогда не упрекаем друг друга хоть в чем-то. В начале бывало, что она ни с того, ни с сего вдруг впадала в депрессию, наверняка вспоминала предыдущую жизнь, но через некоторое время эти «приступы» прошли: у женщин короткая память. Вот так мы и живем. Это...»

Он замолчал, как будто ища верное слово.

- Счастье? – предложил я.

Он покачал головой.

- Нет, это не счастье, это – блаженство.

Мы молчали минуту-другую, каждый думал о своем, затем он решительно встал.

- Мне надо идти. Я обещал Марии, что помогу ей упаковать вещи, наш самолет вылетает рано утром.

Мой отпуск продолжался еще несколько дней, которые я провел в напряженных размышлениях о жизни и ее важнейшем компоненте – браке. Прилетев домой, я увидел, что Мария – моя Мария – уже вернулась. Она неплохо выглядела, и у меня даже возникло легкое подозрение, что она изменила мне за это время. Но я не задал ей подобного вопроса, мы вообще ни словом не касались проведенной в разлуке недели.

ДЫМОК И РЫЖИК

Разговор не клеился с самого начала...

Давид тупо смотрел прямо перед собой, периодически устало потирая глаза.

- Дымок, что-то ты какой-то кислый... Что, жизнь в Одессе стала не сладкая?

- Да нет, вроде нормальная, на хлеб и кипяток хватает...

Он искоса взглянул на студенческого приятеля, огненно-рыжего Борю Хайкина, с которым они были неразлучны все шесть лет мединститута, да ещё и ординатуру пошли вместе. Об их крепкой дружбе сокурсники говорили «нет дыма без огня». Взрывной и подвижный, как ртуть, Боря был антиподом задумчивого и молчаливого Давида Дымшица. Они были не похожи; и в то же время - роднее друг другу, чем сиамские близнецы.

Борька был заводилой в их паре: остроумный, находчивый; несмотря на невысокий рост, пользовался большим успехом у девчонок первых трёх курсов, хотя не обходили его вниманием и старшекурсницы. Он часто ввязывался в драки, особенно если это касалось «пятой графы». Будучи «кмс в легком весе», он проводил серию из трёх ударов: хук слева в челюсть, прямой в корпус правой и апперкот в печень. Редко кто умел переварить этот «лечебный коктейль».

Каждый раз, подытожив третий удар, он сопровождал его фразой: «А на третье – компот». И обращался к молчаливому Давиду:

- Додик, ты заметил - таки длинного бить интереснее. Как говорит наш тренер Кочетков, «он дольше падает»...

Если же противников было больше трёх, то и это не останавливало Бориса. Но тогда приходилось сольное выступление прекращать, и выступать в дуэте. Давид просто молча расшвыривал растерявшихся бойцов.

Учились оба одинаково хорошо. Только Борька любил пустить пыль в глаза, щеголяя редкими терминами; Давид же долго и кропотливо заучивал материал, делая зарисовки гистологических срезов, строя аккуратные таблицы и графики.

После окончания института оба пошли в клиническую ординатуру по психиатрии, однако «гласность и перестройка» достала Хайкина уже через год учёбы, и он засобирился на Землю Обетованную. Как можно дольше он держал фасон и не рассказывал о своих мытарствах в ОВИРе. Лишь когда все документы были у него на руках, заявился к Давиду с бутылкой "Столичной" и сообщил, что у него всё схвачено, и если Дымка не манит дым отечества, то за «зелёные бабули» он всё сделает в лучшем виде.

Давид сидел растерянно в маленькой кухне. Они ели замечательный форшмак, приготовленный тётёй Дорой, мамой Давида, и хрустели солеными огурцами. Услышав об отъезде лучшего друга в Израиль, Давид задумчиво покрутил «мерзавчик» с теплой водкой и озадачил друга наивным вопросом:

- Рыжик, а как же я?

Трудно было поверить, что Давид, этот спокойный и рассудительный человек, всегда и во всём полагался на находчивость своего солнечного друга. В любых нестандартных ситуациях, - а их было немало, - Рыжик находил гениальные решения. Они с Давидом были единственными студентами, которые питались в обкомовской столовой, так как, проходя мимо обкома, Борька увидел, как пожилой вахтёр схватился за сердце и упал. К тому времени Рыжик активно фельдшерил на «скорой», и «волшебная шкатулка» со шприцами и ампулами всегда была с ним... В другой раз он намеренно проиграл титул чемпиона области в обмен на дефицитное сердечное лекарство для мамы Давида. Продавцы на Привозе наперебой соревновались, предлагая Рыжику лучшие свои продукты. И всегда в любых компаниях звучала коронная фраза представления Дымка своим друзьям: «Боря - это Давид на экспорт».

А теперь вдруг всё рушилось...

Хайкин растерялся... Он понимал, что другого названия, чем предательство, его отъезду не было. И тут он взорвался.

- Да ты хоть понимаешь, как меня достала по самое не хочу долбаная счастливая жизнь?! Ты что думаешь, дальше лучше будет? Хрен размером с доброго дельфина! Как были жидами, так и останемся, да ещё и бедными. Слушай, а давай со мной, а? Ты же знаешь, я и маму твою вытащу, а в Израиле – знаешь, какая там кардиология? А здесь ты скоро и на валидол не заработаешь!

- Не могу так всё бросить, да и мама вряд ли согласится. Здесь на старом кладбище вся родня её лежит.

- Дымок, а ты что, решил собой украсить новое? У тебя что, кататония? Рвать отсюда надо, пока есть дырка.... А приехать обратно всегда сумеешь.

- Заграница – это миф о загробной жизни. Кто туда попал, тот обратно не возвращается...

Дальше пили молча, без тостов.

В порт Борю приехало провожать пол-Одессы. Разливали водку в пластиковые стаканчики, было шумно и суетливо. Советы на будущего израильянина сыпались, как семечки из дырявого мешка.

- Рыжик, ты там покажи арабам настоящее лицо сионистского агрессора.

- Удерживай рубеж до подхода основных сил.

- Смотри, не увлекайся там сильно обрезанием.

Давид стоял в стороне вместе со своей мамой, неловко держа пакет с домашними пирожками. Он как будто стал меньше ростом. Потом подошёл и крепко обнял друга.

- Пиши, не забывай, и пусть у тебя всё сложится.

- Дымок, всё будет классно; как только корни пуцу, обязательно вас вытащу.

За пятнадцать лет переписка так и не сложилась. По закону пакости через два месяца у тётки Доры случился инфаркт. Узнав из звонка о её состоянии, Хайкин пошёл работать «арабом» на рынок, - разгружал ящики с фруктами, а вырученные деньги передавал с оказией. Ещё через три месяца Давид позвонил Боре сам и спокойным голосом произнес:

- Денег больше не надо.

- Класс, значит, тётя Дора поправилась, и будем опять пирожками обжираться!

- Маму похоронили вчера. Она как чувствовала, что скоро умрёт, говорила, что теперь у меня не будут связаны руки, - чтобы ехал в Израиль и обзаводился семьей.

А за тысячи километров Рыжик слушал друга, и по щекам катились слезы. Наконец он смог проглотить ком в горле и с трудом произнёс:

- Ну, и что ты решил?

- Да нет, я останусь здесь. Раньше было ехать не с чем, а теперь - незачем.

Вторая, завершающая развитие, сторона отказа.

И вот теперь, через пятнадцать лет, купив другу подарков, доктор Борис Хайкин из Одессы,

лицензированный иерусалимский психиатр, вернулся к своему другу. Они крепко обнялись. Оглядев друга, Давид потрепал его по волосам, которые из ярко-рыжих стали серебристо-стальными, легко подхватил чемодан и сказал:

- Ну, сын Сиона, пошли к моему лимузину.

Боря светился от счастья, ну и, конечно, от гордости, что друг так круто поднялся; но увидев старую ухоженную «Ниву», разочарованно произнёс:

- И это всё?

- Да мне хватает; кстати, а у тебя что?

- Шестая «Мазда».

- Наверное, крутая тачка...

- А то! Круче нас только яйца, выше нас только звёзды. Вот приедешь к нам, обоснуешься, - и вперёд... Слушай, Додик, давно хотел спросить, а кто такие «отморозки»? У нас постоянно говорят о них по телику.

- А ты меньше смотри телик, для здоровья полезней, - ответил хмуро старый друг.

Давид, не торопясь, вырулил со стоянки аэропорта. Трасса была свободна, однако они ехали со скоростью девяносто из-за начавшегося дождя. Боря только открыл рот, чтобы поведать, что такой дождь является признаком суровой зимы в Израиле, как пятисотый «Мерседес», обдав грязью, подрезал их перед самым перекрестком.

- Братва гуляет... - грустно констатировал Боря.

- Не волнуйся, сейчас их сделаем, - спокойно произнёс Давид и нажал на газ. «Нива», быстро развив скорость 180 км/час, легко обогнала «Мерседес», и резко затормозив, перекрыла собой трассу.

- У тебя что, реактивный двигатель с «Боинга»?

- Нет, форсированный с «Фольксвагена».

Дымок, быстро выскочив из машины, открыл багажник, вытащил оттуда дробовик «Моссберг», передернул ружье, вскинул его и дважды выстрелил в быстро приближающуюся трехлучевую звезду «Мерседеса». От выстрелов радиатор был разворочен; пар и масляные брызги рванули из недр машины, как из камчатского гейзера.

«Мерседес» слетел в кювет, его лоснящийся труп цвета «металлик» продолжал дымиться... Давид молча кинул дробовик на заднее сидение и тронулся, не торопясь, видя, как два братка, отчаянно матерясь, вылезали из умирающего "мерина".

Боря с суеверным ужасом посмотрел на своего друга, дрожащими руками достал дорожную бутылку водки «Серый гусь» и, свернув пробку, отхлебнул прямо из горлышка.

- Скажи мне, что я не сплю!

- Нет, Рыжик, ты не спишь. Просто за пятнадцать лет мне приходилось быстро и жёстко принимать решения... Чтобы выжить. А быстро ты можешь принять решение только тогда, когда не боишься что-то потерять. У меня был единственный друг, который помогал мне принимать решения, потом он уехал. У меня была мама, - единственный родной человек на всём белом свете, которую я всегда боялся потерять; её уже больше нет. У меня была своя квартира, и из-за того, что она кому-то понравилась, я три месяца провалялся в реанимации. Так что терять мне уже больше нечего...

И взяв бутылку из по-прежнему дрожащих рук друга, Давид сделал солидный глоток и спокойно произнёс:

- Ну вот, теперь ты знаешь, как становятся отморозками...

Семейный альбом

- Папа, па-а? Ты слышишь меня? Где мой «теудат зеут»? Я об израильском удостоверении личности говорю, такая маленькая синяя книжечка. Мне завтра идти на интервью в больницу, надо сделать с него копию.

Семидесятилетний старик сидел на диване и медленно листал пухлый семейный альбом, любовно поглаживая пожелтевшие фотографии и невнятно бормоча что-то себе под нос. Как бы не слыша серии вопросов, перевернув очередной лист, старик подозвал сына жестом к себе.

- Сынок, присядь на минуточку, я тебе покажу одну интересную фотографию.

- Слушай, па, ну ты нашёл место и время! Я понимаю, - раздражённо добавил сын, - в твоём возрасте рассматривать семейный альбом - вещь, безусловно важная, особенно если учесть, как ты тщательно готовишься к будущей встрече со своими родственниками. Боишься их не узнать? Тапочки-то у всех белые?

Старик сдвинул очки на край носа и сухим голосом официально произнёс:

- Доктор Нейман, пожалуйста, присядьте.

- Да, профессор Нейман, – язвительно ответил сорокалетний мужчина. - Ну что, коллега, о чём хотите поговорить: о моём экзистенциальном кризисе, о комплексе Эдипа или вашей успешной восьмой стадии по Эриксону?

- Хватит паясничать, сядь рядом. Это важно для тебя, - и потеряв переносицу, отец тихо добавил, – очень важно...

- Только недолго и без нравоучений... - сказал сын, вздохнув, и присел рядом на кожаный диван.

- Вот, - торжественно произнёс отец, - посмотри-ка, какой красавец!

Со стариной фотографии на доктора Неймана внимательно смотрел высокий молодой человек, франтовато опершись на трость. Его волевое лицо украшено пышными усами, взгляд слегка прищуренных глаз был пронизывающим; в нём чувствовалась какая-то хищность. Одет этот господин был в костюм-тройку; из кармана жилета виднелась массивная цепочка часов. Под фотографией вязью было написано: «Керчь. Фотография Сытина, 1916».

- Ну, и кто это? Дядя двоюродной сестры бабушки или внучатый племянник моего дедушки? Я просто умираю от любопытства.

- Это доктор Иван Сергеевич Крашенинников, предводитель керченского отделения «Союза Архангела Михаила».

- Кто-кто? – замотав головой, как бы стараясь отогнать наваждение, переспросил сын. – И что делает этот черносотенец в семейном альбоме? Он что – еврей?

- Нет, он чистокровный русский; отец его, Сергей Валерьянович Крашенинников, был купцом первой гильдии; половина мануфактуры в Керчи была его. А твой дед Захар Нейман начинал у него помощником приказчика. Ругался хозяин с ним только из-за того, что твой упрямый дед не хотел работать по субботам. А потом, видя у мальчика предпринимательскую жилку, помог ему открыть свою мануфактурную лавку. Дед потом, когда денег подсобрал, закрыл дело и поехал в Италию, медицину изучать. Да, давно это было... В Италию, медицину... А Ванька, тот деда не любил, дразнил его «рыжим жидёнком» и нередко поколачивал. Хотя они были и ровесники, Крашенинников-младший был на две головы выше деда. После гимназии отец направил Ваньку учиться уму-разуму в Сорбонну, мечтал его доктором увидеть.

Твой дед вернулся в 1911 году и сразу начал работать терапевтом; одним из его первых клиентов стал Сергей Валерьянович. Болел бывший хозяин тяжело, весу был без малого пудов семь, жаба грудная его мучила сильно, да и за Ваньку своего волновался, вот сердечко и не выдержало, нитроглицерина-то тогда ещё не было. Ну, Ванька, когда вернулся, сразу в дом к деду; какой там разговор был, дед никогда не рассказывал, да только от дедушкиного брата знаю, что разукрасил его наследничек, как новогоднюю ёлку. Потом три года они вообще не разговаривали; так, при людях иногда кивали друг другу.

В четырнадцатом году Крашенинников–младший ушёл на империалистическую с германцем. Там за личную храбрость был награждён двумя крестами «Георгия»; в плену немецком был, оттуда бежал вместе с группой солдат. Получил чин унтер-офицера, а в 1915-м ранило его в ногу. Хотя её сохранить и удалось, только остался Ванька на всю жизнь хромым.

Вернулся он в Керчь героем, а тут местные черносотенцы к нему, как к «спасителю отечества»: совсем, мол, жиды заели, торговля стоит, батюшка покойный ваш такого бы не позволил, на вас вся надежда. Нет, погромов не было, но крепко закрутил гайки Иван Крашенинников нашему брату. Деду тоже досталось, - был заведующим, а стал простым врачом.

А потом, к восемнадцатому году, надоела Крашенинникову политика. Увлёкся он заразными болезнями и послал этот Союз к их архангелу. Когда немцы Крым оккупировали, солдат их лечил... За что и получил благодарственную грамоту от немецкого командования. Стал пописывать медицинские статьи в немецкие журналы. А к тридцатому году и это перестал; как чувствовал, что чистка будет, да миновала его красная мясорубка. А может, сохранило его то, что многих керчан от тифа да от холеры спасал в двадцатых. А с дедом твоим они только после моего рождения начали разговаривать, да и то в основном на профессиональные темы.

Потом Отечественная началась. В ноябре 1941-го немцы Керчь оккупировали, а 24-го ноября 1941-го приказ вышел - всем жителям Керчи зарегистрироваться в трёхдневный срок. 27-го ноября Иван Сергеевич Крашенинников явился с чёрной папочкой в немецкую комендатуру при всём параде - в своём старом унтер-офицерском мундире с двумя георгиевскими крестами. О чём он там беседовал с

немцами, никому не известно, только многие жители видели, как он сердечно прощался с зондерфюрером Крошке и начальником отдела гестапо Фельдманом. А потом было указание: «Ввиду начавшейся эпидемии холеры всем врачам вместе с их семьями переехать жить в больницу вплоть до особого распоряжения немецкого командования». Солдаты среди ночи из домов забирали ничего не понимающих врачей. Из двенадцати докторов – восемь были евреями.

Вышел приказ №4 от 28-го ноября 1941-го года, чтобы 29 ноября все евреи Керчи пришли на Сенную площадь к двенадцати часам с вещами. Многие думали: переселение... Только вот последним домом им стал Багеровский ров... А в январе 1942-го в город вошёл керченский десант. Потом наша семья эвакуировалась. Вот такая история с географией...

- А Крашенинников - его, конечно, наградили, да?

- Немцы, отступая, не успели уничтожить все архивы, и там сохранилось личное письмо главного врача Ивана Сергеевича Крашенинникова в гестапо. Его расстреляли, как изменника Родины, во дворе больницы. Твой дед перед смертью взял с меня обещание: если у меня будет сын...

- Так значит, моё дурацкое имя..?

- Да, Ваня, теперь я ответил на твой вопрос, который ты мне задавал всю жизнь. Кстати, твой «теудат зеут» лежит на кассете «Список Шиндлера».

Взять высоту!

Есть такое слово «толстота»; в принципе, оно такое же, как и полнота, но вроде по непривычности звучит мягче и теплее.

Жил-был мальчик по имени Феликс, что означает «счастливый», но именно то слово, с которого мы начали свой рассказ, мешало ему соответствовать своему имени. А ещё в его жизни присутствовали два слова, которые отравляли его жизнь, как минимум, ещё два раза в неделю. Уроки физкультуры. Или, сокращённо, «долбанная физра».

А как ещё можно относиться к этому, когда ты забираешься на целых полметра по канату и висишь на нём, как кокос на пальме, и одноклассники сбивают тебя баскетбольным мячом. Или, если играют в футбол, то тебя ставят на ворота, как Дасаева, только вот мячи у тебя

ловить не получается, и в раздевалке получаешь подзатыльники, а то и пинки...

Феликс был не только круглым по форме, но и по содержанию; у него были одни пятёрки, - кроме физкультуры. «Четвербан» ему ставили из милости, чтобы не портить табель. Но старый учитель физвоспитания ушёл на пенсию, а на смену ему пришёл новый... И теперь Феликс узнал: то, что было раньше, было хорошо.

Учитель Бахытжан Кенжеевич был мастером спорта по тройному прыжку. Он вообще, в отличие от Феликса, любил прыгать. Он-то любил, а прыгать приходилось несчастному «толстуну». Особенно забавляло Баху-Кузнечика, как Феликс раз за разом при прыжке сшибал то животом, то грудью «козла»; а при прыжках в высоту планка устанавливалась на семьдесят сантиметров под общий гогот класса.

- Да, - комментировал довольный физрук, - не видать золотой медали не только на Олимпиаде-80, но и в нашей школе. Три балла с минусом. Вот такой компот!

Оставшись после уроков, Феликс зашёл в учительскую. Физрук сидел один и «набивал» мячик теннисной ракеткой.

- Бахытжан Кенжеевич, мне надо с вами серьёзно поговорить.

Учитель поймал мячик и, положив его на стол, прикрыл ракеткой.

- Ну, небось четвёрку пришел клянчить?

- Нет, четвёрка мне не нужна, - твёрдо произнёс Феликс. - Мне нужна только пятерка, иначе я не получу медаль, и не поступлю в мединститут, и не стану врачом, как папа.

- Стране нужны сталевары, шахтёры и маляры. Она как-нибудь обойдётся без доктора Феликса.

- Мне нужна только пятерка, и я готов на всё! - решительно произнёс ученик.

- Слушай, Авиценна, тебе пять баллов светит, если только ты станешь Валерием Брумелем!

- А кто это?

- Чемпион по прыжкам в высоту.

- Так что: чтобы я получил несчастную пятёрку, я должен стать чемпионом? - чуть не плача, воскликнул Феликс.

- Почти. Ты должен прыгать в высоту на метр двадцать, и перепрыгивать через «козла» с первой попытки, как все.

- Так как же я?.. До конца года осталось всего четыре месяца...

- Это твои проблемы, парень. Всё, иди, мне работать надо.

С этими словами он вновь начал «набивать» мячик ракеткой.

- Смотри, парень, сейчас почти восемь вечера, спортивный манеж закрывается в половину одиннадцатого, я тебя ждать не собираюсь!

Подросток кивнул.

- А ты штангой или борьбой занимаешься? – спросил вахтёр.

- Я всем занимаюсь, - мрачно произнёс Феликс.

Гигантский манеж был практически пустым. Феликс хлопнул в ладоши, и гулкое эхо разнеслось по всему залу.

- Эй, тебе что, делать нечего?

Он вдруг услышал мальчишеский голос и увидел невысокую фигурку, устанавливающую планку у снаряда для прыжков в высоту. Паренёк был чуть выше метра пятидесяти, а планка стояла на высоте метр тридцать.

Установив планку, этот коротыш разбежался и прыгнул. Воспарив в воздухе, он перевернулся на спину, высоко задрал ноги. Через мгновение он упал на маты. Планка чуть дрогнула, но осталась на месте.

Феликс невольно зааплодировал.

Прыгун повернулся с хмурым выражением лица, но увидев искренне сияющего восхищением толстяка, приветливо улыбнулся. Подойдя к Феликсу, он протянул ему ладонь.

- Георгий Оганесян, для своих - Жора.

- А меня Феликс зовут, - сказал будущий соратник по спорту, - Классно ты прыгаешь!

- Ну, до классного ещё прыгать и прыгать... Иначе о сборной придётся позабыть. А ты штангу толкать пришёл или ядро?

- Если бы... Я тоже прыгать, - обреченно произнёс Феликс.

- Ты что, прикалываешься? В тебе же килограмм двадцать лишних, тебе до сборной...

- Да какая там сборная, - Феликс махнул рукой. - Мне надо пятёрку по физре, без неё мне видать золотой медали, а следовательно, и мединститута.

- Так ты что, отличник? - удивлённо произнёс Жорик.

- Круглый, как арбуз; если бы только не физкультура. Препод упёртый, я к нему, как к человеку, а он мне: «Твоя высота метр двадцать, и прыжки через "козла" с первой попытки». Конечно, я буду тренироваться, но шансов почти нет! Ведь я ни разу не перепрыгнул через этого дурацкого "козла", а моя покорённая высота - это семьдесят сантиметров...

- Да, ну и дела! А сколько времени у тебя есть?

- Четыре месяца, - толстяк грустно опустил голову.

- Да, не густо. А кто у тебя тренер?

- Ты посмотри на меня! Какой тренер, кому я такой нужен?! Я же сказал, шансов почти нет. Просто я не привык сдаваться!

- А ведь шанс есть! Малюсенький, туберкулёзный, но есть!

- Какой?! - крикнул Феликс, подняв голову.

- Один на тысячу. Твоим тренером буду я. Каждый день, ровно восемь вечера, ты здесь. Если ты не пришёл, значит - либо ты умер, либо сдался!

- Я не сдамся! - твёрдо произнёс Феликс.

- А это мы посмотрим! Чего стоишь? Тренировка уже началась. Двадцать кругов вокруг зала, бегом, пошёл!

После двенадцатого круга Феликс бежал «на автомате», перед глазамиплыли мутные жёлтые круги, на майке проступили большие потные пятна. На двадцатом круге он, подбежав, упал возле ног своего юного тренера.

- Молоток, я думал, ты на пятом круге сломаешься, - Жорик кинул ему полотенце, - На, вытри лицо и вставай!

Они подошли к "козлу".

- Вот, смотри, - продолжал Оганесян, - здесь подкидная доска. Очень важно, на каком расстоянии она расположена. Если слишком далеко, то летишь как бы дальше, но не выше. Поэтому и сбиваешь снаряд. Давай попробуем. Разбег. Толчок. Прыжок!

Феликс неловко подпрыгнув сбил животом "козла".

- Так, первая попытка неудачно! Живот болит?

- Нет, я уже привык.

- А вот привыкать не надо. Раз не болит - вторая попытка. Разбег. Толчок. Прыжок!

На этот раз "козёл" был сбит правым коленом Феликса.

- Колено не болит? Чудесно! Смотри, руки должны быть здесь, и нигде больше! Понял? Тогда чего стоишь? Пошёл!..

- На сегодня хватит, - убирая доску на место, произнёс вновь испеченный тренер, - Пятнадцать попыток - это хорошо. Это потенциал! Плохо, что ни одной удачной. Переодевайся, жду завтра ровно в восемь.

И потянулись тренировки, день за днём... Феликс, обливаясь потом, упорно, как танк, шёл к цели. Если не считать того, что цель была там же, где была.

Прыжки в высоту и "ножницами", и "фосборитом" также не удавались.

- Ноги, шире ноги не забудь! Разбег. Толчок. Прыжок!

Феликс разбежался, оттолкнулся, прыгнул и упал коленями на мат. Он повернулся и не поверил своим глазам: "козёл" стоял на том же месте.

- У меня получилось! - и он бросился, размазывая слезы радости по щекам, к своему тренеру, - Жорик, у меня ПОЛУЧИЛОСЬ!!

Подхватив руками худенького Оганесяна, Феликс закружился с ним вместе. После четвертого оборота они повалились на маты.

- У меня получилось! - вновь и вновь повторял Феликс.

- 623. Шестьсот двадцать три попытки. Честно говоря, я даже не верил...- качая головой, тихо произнёс Жорик, а потом строго добавил: - Ладно, чего расселся?! Пошли закреплять успех!

Они стояли в спортивном манеже.

- Вот, это тебе, на память! Настоящая майка «Адидас», из «Берёзки»; твой размер, я в раздевалке подсмотрел, держи, чемпион!

- Да что, Фил, не надо, это же куча бабок!

- То, что ты для меня сделал, деньгами не измерить!

- Значит, у тебя всё получилось!

- Не у меня, а у нас! Баха-Кузнечик аж дар речи потерял, когда я три раза перепрыгнул через "козла". А потом ещё и с переворотом через "коня", и "фосборитом" метр тридцать взял! Так что пять баллов без базара! «Золото» у меня в кармане!

- Наша взяла!! - заорал Жорик и бросился на шею к другу.

- Теперь твой ход, чемпион! Никогда не сдавайся!

- Даже не подумаю. Чтобы мне - да перед учеником было стыдно? Никогда! Ты, главное, свою мечту осуществи; зря мы, что ли, столько пахали!

- Давай, братан, за сбывчу мечт!

- Лена, ну сколько можно ждать?! Я есть хочу. Это нормально, когда хирург приходит после дежурства и хочет есть. Есть! А ненормально, когда его любимая жена воткнула свои зрачки в русский канал и смотрит мексиканскую чушь, замешанную на слезах и перчиках джалапенро!

- Да не смотрю я сериал!

- А что там такого? Опять Якубович в чёрном ящике? Или Масляков накавээниться никак не может?

- Иди, посмотри сам!

Лысеющий полный мужчина вошёл в зал и замер.

«Мы ведём передачу из Сеула. Сейчас на ваших экранах вы увидите, как трёхкратный чемпион Европы и серебряный призёр чемпионата мира Георгий Оганесян легко преодолевает высоту два пятнадцать. Обратите внимание: на его старенькой майке фирмы «Адидас» нашит герб России. В одном интервью Георгия спросили, почему он отказывается представлять другие спортивные бренды. Он ответил, что это счастливая майка, ему её подарил его первый ученик».

Мужчина подошёл к серванту и достал бокал и бутылку «Курвуазье». Налив полбокала, он подошёл сбоку к экрану телевизора.

- Феликс, - испуганно спросила жена, увидев слёзы на глазах мужа, - что случилось?! Почему ты пьёшь? Разве сегодня праздник?

- Ещё какой! За сбывчу мечт, тренер! - и он легонько чокнулся бокалом с экраном.

Тридцать лет в пустыне

Помнишь, как лет тридцать тому назад мы с тобой ночью качались на качелях в Рамат-Авиве, около общежития на Эйнштейн... Там, где теперь стоит «кеньон», а раньше был парк и детская площадка? Или не именно там, а рядом с общагой на Тагор? Фантазировали, что когда-нибудь наступит день нашего десятилетия в Израиле. Были уверены, что тогда, через десять лет, мы будем устроенными и замужними, с детьми, квартирами и покоем. Прошло тридцать. В тогдашних наших с тобой расчётах мы ошиблись лет на двадцать – хорошо, что мы не мост строили, а то бы он рухнул.

Хотя кто сказал, что наша жизнь менее серьезна, чем мост? Ошибки тоже иногда стоят человеческих жизней. Судеб. Ты, кстати, знаешь: кто – где? Я практически никого с той поры больше не видела. Про некоторых знаю из «фейсбука»: Мишка, Гришка, Борька – их я иногда вижу в сети. Вот бы встретиться!

С другой стороны, мы сегодня такие все укутанные в сложные защитные механизмы и очень-очень осторожные, а еще одно пластиковое общение – кому оно нужно? Это только тогда, нищие, отчаянные, голодные и безумные, мы могли позволить себе откровенность. Когда кожа была снята со всего тела и нервы - наружу. Так и ходили, цепляясь друг за друга оголенными нервами. Надо быть идиотом, чтобы захотеть снова все это пережить.

Недавно ехала домой – в блаженное время, около пяти, перед началом шабата. Пустые дороги, огромное желтое солнце лениво приближалось к линии горизонта. И вдруг по радио песня Шломо Арци «Садот шель Ирусим». Помнишь ее?

Знаешь, это было как сон о человеке, которого ты любишь, но его уже нет. А снится он тебе – живой, рядом с тобой, и вы дурачитесь и что-то говорите друг другу. И ты безгранично, по-детски, счастлива. И просыпаясь, ты еще помнишь это ощущение счастья и его теплых рук, но уже знаешь, что мгновение ушло. Что его нет. И ты радуешься, что он был в твоей жизни, что была еще одна минута

счастья, и рыдаешь или кричишь от боли оттого, что его больше нет.

Вот примерно так же я вспомнила, точнее - почувствовала то наивное ожидание огромного счастья, которое, казалось, должно упасть на нас завтра; прямо физическое ощущение, что оно будет. Вот на тех качелях ночью, когда мы мечтали, что все у нас сложится.

А потом – жуткие пять лет выживания, и еще десять лет становления, а потом взросление. Я еду домой – такая благополучная, и все у меня в порядке. И только огня в душе больше нет. Мне даже пожаловаться не на что – понимаешь, у меня все замечательно. А легкость и юность ушли. И ожидания счастья – больше нет.

Помнишь, как в общежитии? – я жила тогда еще с этой сумасшедшей художницей Женни и огромной девушкой-израильтянкой. Не помню, кто был у нас четвертым; помнишь, как мы с тобой в пятницу перед закрытием приезжали на рынок, чтобы по дешевке купить овощи и бурекасы. А потом вечером что-то там варили, и приходили Мишка, Гришка, Борька, Женни со своими бразильскими друзьями, мальчик – «оле хадаш» из Румынии, который учился на кино. Пили какое-то дешевое вино и дурачились. Помнишь, как было смешно и здорово? А потом выходили на улицу и носились там, играя в войнушку – мы уже взрослые, двадцатилетние.

Мои женатые друзья в Тель-Авиве улицы мели, чтобы прокормить детей, а мы - никому не нужные и неприкаянные, застрявшие в общежитии в Рамат-Авиве. Ты помнишь, что в России уже в двадцать лет многие были родителями?

А перед войной все уехали. Израильтяне вернулись к родителям, а иностранцы тоже разлетелись по миру – все, у кого было, куда вернуться. Остались только мы - русские и израильские отщепенцы, которых никто нигде не ждал.

Была Ханука. Мы зажигали свечи и веселились в совершенно пустом здании. Такая ханукальная зона. Нас было человек пятнадцать, бродивших по гулким бетонным общагам.

А учебу я тогда бросила. Просто не могла больше вынести этот пир во время чумы. Вообще не понимала, что и зачем я в этой стране делаю. Спасало солнце и море. Ну и, наверное, то, что было нам совсем мало лет. И можно было просто куда-то брести, не видя ни цели, ни дороги. И не сдохнуть от полной бессмысленности происходящего.

Помнишь, как ночью мы сорвались и на последнем автобусе уехали в Иерусалим? Ожившая сказка! Я девочка с Урала, вот так вот, следуя своему мимолетному желанию, вскакиваю и уезжаю в Иерусалим с такими же безумными, как я сама. А там мы бродим по Бен-Иегуда, покупаем дешевые серебряные колечки с лотков, едим шуарму, слушаем гитариста, играющего на углу около «Машбира». Пляшем и переходим на другой угол, слушать другого. А вокруг август, жара, плывущий воздух и счастье. Просто счастье от того, что все это есть и возможно. Потом полночи пытаемся вернуться в Тель-Авив. Тогда еще ездили на попутках. Поймали кого-то, кто довез нас до Арлозоров, а оттуда уже с полшестого утра ходили автобусы до университета.

Заскочишь домой принять душ, поспать два часа - и на уроки, где сидишь, ничего не понимая. Вообще ничего. Я помню, я тогда подошла к лектору - она была известным театральным критиком и вела у нас курс «Восприятие времени в пьесах Чехова», - и сказала, что вообще не понимаю, что она говорит. Просто даже смысл ускользает. Она была очень горда собой, что у нее такой высокий иврит. Очень собой довольна. Посоветовала взять ее курс на следующий год, - узнав, что я только девять месяцев в стране. А мне хотелось тогда просто сдохнуть от тоски. От страха, что я никогда не пройду эту стену, и навсегда останусь за бортом всего с моим корявым ивритом.

Были, правда, совершенно прекрасные люди. Мне повезло - меня взяла под свою опеку Реля, жена декана гуманитарного факультета. Раз в неделю она давала мне урок иврита, и мы вместе ужинали. У них я видела квартиру, заполненную книгами и картинами, стол ее мужа Шалома, профессора и декана гуманитарного факультета, заваленный рукописями и статьями. Запах домашней еды. Это были редкие моменты надежды, что даже тут, в этой средиземноморской стране, есть похожие на тебя люди.

Учебу я бросила (ну кому нужна была вторая степень по истории театра?) и уехала в простую жизнь. Работала переводчицей в страховой компании. Самое смешное, что всех своих друзей я растеряла. Каждый из нас вел свою войну за независимость, и времени ни на что не хватало. А вот Дорон, с которым я познакомилась в кафетерии в университете, - остался. Сначала он приглашал меня в кино. Потом мы с ним гуляли по Яффо. Потом он пригласил меня к себе на ужин - он снимал квартиру с соседями

недалеко от университета. И я осталась там. Сначала ночевать и сочинять себе новую историю жизни.

Через два месяца я все больше и больше времени проводила у него. Он познакомил меня со своими родителями. Когда кончился мой договор на квартиру в Холоне, я просто переехала в его комнату. Мы еще пару лет прожили с соседями, пока он не закончил свою вторую степень по биологии. Его папа подтолкнул меня идти учиться социальную работу. И завертелось.

Дорон делал докторат в «Вайцмана», я училась в Тель-Авиве. Было много всего – и смешного, и грустного. Мне, конечно, повезло – я через три года после приезда уже была принята в израильскую семью и больше не голодала, и не боялась, что нечем будет заплатить за квартиру.

Было трудно. Сколько ночей я смотрела на прекрасное лицо своего мужа и не понимала, почему мы вместе. Он со своей прагматичной буржуазной семьей и будущей академической карьерой, и я – так и не нашедшая себя девочка. Очень приблизительно выражающая бурю в душе на бедном олимовском иврите. Куда ушли мои мечты о творчестве? О свободе. Я уже больше не могла сорваться ночью в Иерусалим и пить дешевое вино в компании таких же оборванцев, как сама.

Через три года мы поженились. Еще через два года родилась дочка. Мишку, Гришку и Борьку я уже не видела. Я работала социальным работником в больнице. Мы собирались на постдок в Штаты, Дорон заканчивал докторат.

Через еще три года мы вернулись. Дорону предложили место в Тель-Авивском университете. Вот так всю жизнь я кручусь вокруг него. Мы купили квартиру в Рамат-Гане, родилась вторая дочь. Отношения с его родителями были вполне сносными. Они, наверно, тоже не были счастливы получить меня в свою семью, но смирились и вели себя достойно.

И все покатилося. Вполне благополучная жизнь. Я сделала вторую степень – веду частный прием. Выросли дети. Дорон стал совсем родным. Совсем своим. Я не перестаю благодарить судьбу за то, что она послала его мне. Хотя за эти годы всякое было; и разводиться хотели. С другой стороны, кто не хотел развестись из тех, кто в браке больше, чем пять лет? Но проскочили. Мы по-прежнему вместе. Он - надежный и совсем не невротичный. Мой самый любимый израильтянин.

И только иногда, услышав Шломо Арци или Ицика Клептера, или «Типекс» тех лет, - у меня скручивает живот при мыслях о девочке, которой больше нет. О девочке, которая могла ночью сорваться в Иерусалим и гладить руками горячие камни домов в еврейском квартале. Или танцевать на крыше в Бней-Браке и ожидать счастья. У нее не было сомнения, что оно обязательно придет.

Я не уверена, что оно пришло. Было разное. И сегодня мне спокойно и хорошо. Но вот такого пронзительного ощущения больше не было. Если счастье и было в моей жизни – скорее всего, тогда. Потому что никогда после я не была так оголтело и безумно беззащитна, наивна и доверчива.

Скажу честно, я бы не хотела снова туда. Ни за что! Вот, может, только подсмотреть и почувствовать на пару минут. Хотя, судя по тому, как меня разносит от песен тех лет, я думаю, что и пару минут мне там снова не пережить.

Что ж, все сложилось. Совсем не так. Хорошо, что все это было. И прекрасно, что уже прошло. Здравствуй, моя взрослая и размеренная жизнь!

Трудный день

Я встал до того, как зазвенел будильник. И не я один.

Солнце еще пряталось за горизонтом, но уже подглядывало в сегодняшний день, оголяя свою челку. Машины – два грузовика с трехместными кабинами, набитые провизией, и бронированный «Хаммер» с башенной установкой вместо крыши, из которого торчал пулемет – стояли наизготовке.

Позавтракали.

Меня привели в соответствие с положением – проинструктировали: «Что бы ни случилось – команды выполнять четко. Понятно? Не мешкать!.. Остальное сами сделаем». Одели в бронезилет и каску. Усадили в грузовик на место посередине.

Ровно в шесть колонна выдвинулась к месту назначения во главе с «Хаммером».

Здесь даже благотворительность – это тщательно подготовленная спецоперация. Все изучено и спланировано до мелочей. Чтобы не убили.

Почти два часа ехали молча. Не убирая пальцев с курка, сосредоточенно смотрели по сторонам. Вглядывались в людей, их руки. Наблюдали за окнами и крышами зданий.

Мы выехали из города и только расслабились, когда радиосвязь нарушила молчание:

– Альфа, прием!

– База, я Альфа, на связи, прием! – ответил связист, сидевший с нами.

– Альфа, командира мне, срочно!

– Есть, командира!

Связист велел водителю условным знаком остановить главную машину. Из машин вывалили солдаты и заняли позиции по обе стороны дороги.

Командир разговаривал по рации недолго. Уперев руки в бока, постоял с полминуты. Затем окликнул Рому. Вытащил из нагрудного кармана небольшую карту. Развернул и тыкал в нее пальцем, а Рома кивал. После сложил карту обратно в карман. Похлопал подчиненного по плечу и дал знак остальным садиться по машинам.

К нам подсел Рома. Связист сел в «Хаммер», который развернулся и помчался обратно в город.

– Они?.. – спросил я.

– Они не поедут. Вперед! – скомандовал Рома.

– Что-то случилось?

– На Бадахшане напали на базу передового развёртывания. Начальство стягивает все силы туда.

– Понятно.

Дальше мы ехали молча.

Через три часа пути Рома скомандовал по радиии двум товарищам, сидящим в позади идущем грузовике:

– Приготовиться!

Оставалось двести метров – один поворот до пункта выдачи гуманитарной помощи, когда кабина затрещала под градом пуль. Водителю снесло треть головы. Грузовик въехал в каменную глыбу и заглох.

«РПГ!¹ Из маш...» – прозвучало по радиии, когда грузовик позади нас взорвался.

– Из машины! Бегом! – крикнул Рома.

Не успели мы вылезти из грузовика, как оказались под прицелом. Больше тридцати мужчин с автоматами наперевес, минометами и РПГ, выскочив будто из-под камней, окружили нас. Одетые в белые, коричневые и черные платья ниже колен. Одни стояли в ожидании, кровожадно облизываясь и потирая курки автоматов. Другие что-то кричали. Некоторые смеялись.

Один из них приблизился, не отрывая щеки от приклада. Целясь в нас, прокричал:

– Шумо кистед?²

– Мы пришли с миром – сказал Рома, медленно поднимая руки.

– Ту мемири! Ту бо забони кофирон гап мезани!³

– Мы пришли с миром. We've come with peace,¹ – повторял Рома. – Мы вам не враги. Не враги. Хорошо?.. Вот,

¹РПГ (социолект) ручной противотанковый гранатомёт многоразового применения. Предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другой бронетехникой, может быть использован для уничтожения живой силы в укрытиях, а также для борьбы с низколетящими малоскоростными воздушными целями.

²Кто вы такие? – (перевод с тадж.)

³Ты умрешь! Ты говоришь на языке неверных! (перевод с тадж.)

смотрите, я покажу, – он потянулся во внутренний карман жилетки.

Прозвучала автоматная очередь.

Рома упал навзничь. Не прошло и двух секунд, как он откашлялся кровью. И, будто утопающий, пытался поглубже вздохнуть. А глаза раскрылись, словно старались напоследок увидеть больше.

Я инстинктивно шагнул в сторону Ромы, но меня предупредили:

– Як қадами дигар ва шумо пайравӣ хоҳед кард.²

Я не знал их языка, но понял, чего от меня требуют. Когда я кивнул, он присел на колено рядом с Ромой. Одернул жилетку и засунул руку в тот карман, к которому тянулся Рома. Вытащил синюю прямоугольную корочку – удостоверение сотрудника. Раскрыв его, он долго читал содержание. После нахмурил брови, вопросительно посмотрел на меня, потом снова вгляделся в удостоверение. Затем бросил документ. Обернувшись, крикнул:

– Ин онҳо нест!³

Он убрал автомат за спину. Присел на колени и обхватив шею, приподнял голову Ромы.

– Шумо кӣ? Он аз кучо пайдо шуд?⁴ – сказал он.

Рома давился кровью, силясь одновременно отхаркнуть ее и глотнуть хоть сколько-нибудь воздуха. Глаза его усиленно мигали и лишь на мгновение, широко раскрывшись, застывали, а затем моргали с новой силой.

Он услышал вопрос. Посмотрел на задававшего и, улыбнувшись, показал окровавленным, трясущимся пальцем на грузовик с провизией, затем ткнул им в сердце своего убийцы, оставив на белом одеянии кровавое пятно.

– Это вам! – сказал Рома и испустил последний вздох.

Рому похоронили по традициям, чуждым его вере.

Меня взяли в плен. Но это уже совсем другая история.

Анастасия Яковлева-Помогаева

¹Мы пришли с миром. (перевод с англ.)

²Еще шаг, и ты последуешь за ним. – (перевод с тадж.)

³Это не они! – (перевод с тадж.)

⁴Кто ты? Откуда тут взялся? – (перевод с тадж.)

Железная музыка

Архивариус

Его просили сидеть дома, ведь оповещения о воздушной тревоге запаздывали. Будоражающий вой продолжался обычно минут пять. А когда затихал, мессенджер попискивал сообщением: «Тревога продолжается. Оставайтесь в укрытии». Поэтому дальше коридора Дима не выходил. Ожидая окончания тревоги, читал новости об убитых взрослых и детях, о разрушенных городах.

Особой опасности Дмитрий не ощущал. Ему нужно было успеть заархивировать все, пока город не сложился стопочкой карт. «Человек может убежать, укрыться, уехать, - думал он, - а дома стоят беззащитные, встречая фасадами удар». Конечно, сейчас их укрепили. Притащили с пляжа мешки с песком, но, особенно в центре, дома готовы развалиться от любой взрывной волны.

Фотографии во время военных действий делать запрещалось (на них могли случайно попасть нежелательные объекты), поэтому он решил город рисовать. Дмитрий был художником и еще до войны верил в то, что под кистью архитектура оживает. Получает дополнительный смысл. Как слово, просто сказанное вслух, - и слово, вплетенное автором в интересную книгу. Причем это касалось не только старинной одесской архитектуры, но и архитектуры новых районов. Дитя Таирова, Дмитрий любил этот соленый морской воздух широких проспектов. А еще любил Фонтан и маленькие одноэтажные домики Люстдорфа.

Пусть вначале будет нарисован родной Таировский двор. Не обязательно начинать с привычных туристических достопримечательностей. Он прежде всего постарается передать колорит серебристых тополей и маленьких ухоженных клумбочек возле домов, где даже во время воя сирен бабульки высаживают цветочки. Закат, окрасивший новострой солнечной охрой. Котов-попрошаек нарисует. Какая же Одесса без обилия попрошаистых разноцветных морд? Нарисует соседей, «кучкующихся» во дворе на взятых из квартир стульчиках - здравствуйте, а вы разве не уехали?

Можно немного вернуться назад. В детство. Ближе к морю. На фонтанский берег, еще не изуродованный отельчиками нахрапистых нуворишей. Вот только вкус пломбира из брикета, текущего по грязным детским ладошкам, как нарисовать? Можно нарисовать теплый свет сквозь листву на фонтанских дачах и сбегающие с обрыва раскаленные под солнцем дорожки...

Грохнуло круглым металлическим ударом. Один раз, а затем второй. Третий. Перемещаться из района в район сейчас опасно. Но память не заставишь соблюдать осторожность. Неплохо было бы нарисовать глубокие одесские катакомбы. Входы в них спрятаны во многих дворах старого города. Теперь можно и эти дворы-колодцы углем набросать. Лето. Окна открыты. Жильцы разные такие. Все слышно: кто-то смотрит телевизор, старое кино. У кого-то еще сохранилась настоящая печатная машинка. Равномерные постукивания по клавишам. Тишина. Сквозь нее слышно, как в угловой квартире муж с женой ссорятся.

Резкий звук заставляет вздрогнуть: какой-то умник промчался на машине с гулко гремящей выхлопной трубой.

Затишье. Дмитрий как раз успеет нарисовать аллею межрейсовой базы моряков и лестницу к морю. Возле нее когда-то стояли импровизированные языческие божки и лежали выложенные кругами камни. Прошлой весной он дал себе зарок: каждую неделю ходить на рассвете на пляж. Медитировать и расслабляться. Затем наступило лето. Слишком жарко. Так желание и не осуществилось.

На картинах Дмитрия продолжается мирная жизнь. Там нет противотанковых ежей и Дюка, облепленного мешками с песком, дрейфующих мин и эвакуационных очередей на границе. Дмитрий старается не загадывать, что произойдет завтра или через день. Он заканчивает очередную картину и относит ее в подвал, в убежище.

Веронику бесит

Самое главное для нее теперь – слух. Любой грохот или даже просто стук двери заставлял вздрагивать. Люди, включающие сирену, похоже, решили устроить дискотеку. Звук взлетал снизу вверх и гас. Вдалеке булькали взрывы ПВО.

Опять мама начинает бегать из угла в угол, хаотично выставляя под ноги кувшин с водой, домашние цветы,

деревянную солонку-медведя. Вероника о них спотыкается...

Веронику бесило поведение матери, которая каждые полчаса то собиралась эвакуироваться, то решала остаться. В коридоре был собран «тревожный чемоданчик», если придется бежать. Рядом полная сумка круп: если придется остаться и забаррикадироваться в квартире. И еще - сумка с документами и зеленкой, если в дом попадет снаряд.

Кроме того, Веронику бесило, что мать отказывалась принимать собственную нерешительность. Звонившим подругам она, жертва материнских обязанностей, рассказывала, что истинная причина оставаться в городе - ребенок, с которым тяжело выбраться за границу. Веронику коробило от такой лжи. Какой «ребенок», если ребенку уже шестнадцать?!

Услышав очередные поперхивания sireны, Вероника взяла заранее приготовленный рюкзак с заряженным пауэрбанком и ноутбуком. Немного постояла и захватила еще кое-что в сумке, украшенной черными шелковыми лентами и вышитыми серебристой шелковой нитью черепочками. Затем спустилась вниз.

Бомбоубежищем служил провонявший мочой подвал. Кроме Вероники, в нем сидело три бабушки и раскормленная мамашка с ребенком лет трех. Бабушки с любопытством рассматривали Веронику. Вероника ждала от них желчных замечаний. Но нет; судя по выражению лиц, одетая во все черное, с пирсингом в носу, барышня бабушек скорее забавляла, чем раздражала. Так ей показалось. Хотя, на самом деле, бабушкам было все равно.

Пока длилась тревога, Вероника читала. Она открыла в «ридере» на телефоне повесть «Вампир» Полидори, и в очередной раз убедилась, что врачам лучше лечить людей, а не писать готические романы.

Сирена гыкнула, как диковинный павлин, и замолкла. Телефон Вероники пискнул: пришло сообщение в мессенджер, что тревога продолжается и отсутствие сигнала не означает ее окончания. Или электроэнергию экономят, или маскируются, чтобы по ним не попали...

Продолжать вдыхать подвальные ароматы Веронике не хотелось. Домой не хотелось тоже. Мало того, что мать обвиняет ее в невозможности покинуть город, так еще и устраивает истерики насчет пропадающих и появляющихся

в неожиданных местах предметов. Хотя теряет их сама. В «тревожной сумке», например, обнаружилась подставка для утюга и еще куча всяких, собранных в панике, вещей. Уже сил нет каждое утро наткаться на этот бардак.

Мессенджер пискнул опять. Тревогу отменили. Город выгорал в зимнем закате. Недостроенные многоэтажки на полыхающем фоне казались средневековыми замками. Людей на улицах почти не было, но транспорт еще ходил.

Вероника добралась до вокзала. Она ожидала увидеть эвакуационный переполох, как в старых фильмах, но народа было не так уж и много. Тетеньки средних лет, похожие на гардеробщиц, составляли списки. Было скучно, как в поликлинике...

По перрону ходили военные с намотанными на рукава зелеными лентами, еще какие-то люди в военной форме. Полицейские проверяли документы. Это напрягало, но, слава богам, ее вещи никто досматривать не стал. Их больше интересовали скрывающие лица молодые люди из "провожающих".

Сидя уже в эвакуационной электричке, Вероника начала дремать. Сон черным шелком холодил ей руки и ноги. Снились Веронике древние короли с усеченными революцией головами. Головы они держали в руках. Проснувшись, Вероника крепче сжала черную сумку.

Еще пару часов - и она уже возле границы. Затем придется еще немного потерпеть неудобства, и желаемое осуществится: Вероника окажется на месте...

Сумерки. На границе горели костры в железных бочках. В одеялах, на земле, с пустыми глазами сидели беженцы. В основном, женщины и дети. Ждали отправки. Что-то в громкоговорители кричали волонтеры. Тяжело было разобраться. Вероника решила отойти подальше от толпы. Уверенности в правильности решения у нее было все меньше и меньше.

Хлопнула дверца машины. Из ржавой «девятки» вылезло двое чернявых мужичков.

- Красавица, подвезти?

И уже коротенькие грубые лапы схватили ее за куртку.

Из очереди никто не вступился. Все были поглощены своей бедой. А Вероника не боялась. Она возмутилась. Своей черной сумкой-торбой отработала, как пращой, по небритым мордам. Пока тряпичная ручка не порвалась. Пока из сумки не выпала и не покатила женская голова с длинными черными волосами.

Мужички тут же спрятались в машине. Дверца закрылась. «Девятка» уехала.

Применяя знание французских ругательств на практике, Вероника подняла обрубок. Отряхнула от пыли. Держа его на весу за волосы, подождала, пока подоспевшие полицейские немного оправятся от шока.

- Это всего лишь кукла. Моя любимая готическая кукла - «Голова Марии». У девочек ведь должны быть любимые куклы? Я сама ее из пластика сделала. Куда направляюсь? В Париж. Хочу посмотреть на отсеченные головы королей в музее средневековья Клюни. Вы знаете о таком, или не в курсе? Остатки каменных скульптур там хранятся. Знает ли моя мама, где я? Есть ли у меня документы? Ну... У меня есть школьный билет и проездной.

...Дочь матери вернули. Предложили выехать им вместе в очередной раз. Мать в очередной раз отказалась. В коридоре родного дома, в «тревожном чемоданчике» возле входной двери Вероника обнаружила цветочную подставку и провод.

Двое в крепости

Телевизор в ее квартире работал круглосуточно. Даже сирена воздушной тревоги и сообщения о "прилетах" не могли вытянуть Татьяну Сергеевну в бомбоубежище. Она и стекла крест-накрест скотчем клеить не стала.

Слух Татьяны Сергеевны постепенно становился музыкальным. Абсолютным, замечающим нюансы: не примешиваются ли к звучащей на одной ноте сирене интервалы ракет и ПВО. Это ветер шатает балкон или "прилетело"? Татьяна Сергеевна уже знала из телевизионных новостей, что ракеты должны протяжно шелестеть, а "Грады" - стрелять очередями. Она была внимательна к каждому шуму, как музыкальный критик.

Время от времени раздавались телефонные звонки. Это друзья и родственники просили ее срочно уехать. На что Татьяна Сергеевна иронично улыбалась. Уехать? В неизвестность? Спасибо за советы. Это же так просто для пожилого человека - отправиться в одиночку в путь. Куда проще, чем такую ерунду советовать.

Дом Татьяны Сергеевны из хрущевки превратился в крепость. Собран возле дверей тревожный чемоданчик. Много ли нужно: документы, перевязочные материалы,

сухари. Пару легких вещей. Теплая кофточка. Вода в запечатанной бутылке. Возле опорной стены она приготовила сумку с печкой-щепочницей, консервы и крупы. Продержаться ей хватит.

Телевизор работал еще и потому, что в доме Татьяны Сергеевны, в соседних квартирах, теперь некому было шуметь. На днях умолкла стиральная машина у соседа справа, работавшая обычно по утрам. Перестали делать ремонт жильцы на съемной квартире снизу. Тишина давила страшнее ожидания бомбежек.

Как только очередной вой сирены замолк, она обошла почти всю парадную под предлогом одолжить соли. Никто так и не открыл. Понадеялась, что некоторые соседи просто спали. Татьяна Сергеевна уже и сама хотела лечь спать, как услышала завывание. Вначале робкие пробы голоса, затем все сильнее. Собака? Вой перешел в скулеж, раздражая ее больше и больше.

Прежде чем вызвать полицию, она попробовала справиться собственными силами. Вышла опять на площадку. Не переставая звонила в дверь. Но больше ничего сделать не получалось. Самой в квартиру не попасть. Могут обвинить в мародерстве.

Позвонила в полицию. Там поверили ей сразу (не первый случай, когда оставляют в квартирах животных), и очень скоро парочка молоденьких полицейских вскрыла старую дерматиновую дверь.

Хрущевская «двушка» была обставлена в стиле стариковского модерна. На гвоздях в коридоре висели венок сушеных трав и мешочки с не-пойми-чем. Из накиданных на диван и стулья вещей можно было организовать магазин «секонда». Нет, это не было похоже на брошенные впопыхах вещи. На стеклянных банках в коридоре лежал толстый слой пыли.

Вначале никто не появлялся, затем из-под кучи тряпок вылез кто-то черный, всклокоченный. Весь в паутине, лохматый такой, что породы не видно. И не гавкнет, и не мяукнет. Не пойми что.

Оно не бросилось сразу к людям. Коготками по линолеуму цокало в нерешительности: вперед-назад, вперед-назад. Или радовалось так, или сбежать пыталось. В конце концов девушка-полицейская обратилась к Татьяне Сергеевне:

- Что с ней... с ним... с этим делать?

Татьяна Сергеевна пыталась изобразить, что она свою миссию выполнила: до свиданья. Но девочка в форме так умоляюще смотрела на нее, что отказать не получилось.

В итоге лахудрочка, вся в паутине, сама вошла в квартиру-крепость. Даже и упрашивать не пришлось. Прикасаюсь к ней Татьяна Сергеевна боялась. Она налила в одно блюдо молоко, в другое положила ложку каши. Хотела понаблюдать, что выберет это существо. Оно выбрало и то, и другое.

- Всеядное. Прокормим, - обрадовалась Татьяна.

В свободное от еды время странное животное пряталось где-то в глубине квартиры, особых проблем старушке не доставляя.

Снова знакомый гул сирен. Увлеченная теленовостями, Татьяна Сергеевна краем глаза увидела, как лахудрочка выползла в коридор, а значит, разум и чувство самосохранения у нее имеется. Вдруг ударило глухим звуком по барабанным перепонкам. Секунда – и Татьяна оказалась рядом с лахудрочкой в коридоре. Ракета? Снаряд? Рычащий мотоцикл. Просто проехал по улице. Затем все стихло. Кроме сирены.

Через час на улице появились люди. Устали испытывать страх. Каждый был уверен, что его уж точно беда стороной обойдет.

Она тоже собралась в магазин. Кудлатый зверь бежал впереди, как собачонка. Он, наверно, решил, что новая хозяйка идет с ним гулять, а она надеялась, что приبلуда потеряется.

Но не потерялся... Преданно ждал ее возле магазинного пандуса. Татьяна Сергеевна даже сплюнула. Отгонять не стала, так как руки были заняты сумками.

На дворовых участках из-под снега пробивались цветы. Во дворе ее дома, в детском садике, расположился центр территориальной обороны. Обыденно так в него заходили гражданские и вооруженные люди.

Завибрировал телефон. Трубку она схватила сразу. Подруга, которой дозвониться не могла несколько дней, взалхлеб рассказывала, что они с семьей удачно пересекли границу. Все, конечно, не так просто как думалось. Но, повезло, что две машины свои, не пришлось ехать в переполненном поезде. Как бы они втроем с дочкой и зятем доехали? Да еще бы и вещи смогли провезти? Теперь на месте. Здесь такой удобный домик. Садик. Кафешечки.

Места хватит всем. «И да, дорогая Танечка, хорошо, если бы ты когда-нибудь смогла выбраться ко мне...».

- Ладно, Лида. Я за тебя, конечно, рада. За своевременное предложение спасибо. Подумаю. А сейчас мне некогда, прости.

Опять пошел весенний снег. Одессу укрыло тишиной и туманом. Татьяна Сергеевна выключила телевизор и включила бра. Зверь расположился у нее на коленях полноправным хозяином.

Пакет молока

5 марта 2022. Буча.

Вход в небольшой супермаркет был варварски разбит. На асфальте валялись осколки витрин вперемешку с какими-то кусками железа и отстрелянными гильзами. Шёл пятый день вторжения. В воздухе стоял тяжёлый запах гари и серы, вдали были слышны взрывы – бои временно сместились дальше от городка. Было страшно от этих звуков смерти, но никто на них уже не обращал особого внимания.

На смену страха смерти пришел сильный и древний страх – страх голода. Он выманил даже самых испуганных, робких и пожилых людей из домов и укрытий. К годами привычному в мирное время месту – маленькому супермаркету. Ещё несколько дней назад тут, у входа, всегда зазывно пахло свежей выпечкой, блестели рекламные щиты. И горожане неспешно выплывали с пакетами всякой всячины к своим припаркованным автомобилям, а потом привычным маршрутом - домой. Казалось, так будет всегда: разве может что-то измениться? Забыли что-то купить? Эх, досада... Ну, не беда, потом докупим...

Но это «потом» резко и неожиданно стало совершенно другим... Как и всё остальное вокруг.

Из вдребезги разбитых дверей, из черной глубины, как из пещеры, какие-то парни с жёсткими лицами ловко и быстро тащили мешки с провизией к стоящим рядом небольшим мини-грузовичкам, - «пирожкам», как зовут их в народе. Там эти мешки принимали и быстро пихали внутрь другие парни. Рядом со входом, вернее - с тем, что от него осталось, - с грозным видом стоял военный. Единственный здесь человек в форме, а значит, как думают неискушенные гражданские – какая-то власть. Но, правда, непонятно, какой армии и звания – форма без нашивок и опознавательных знаков. Чёрная форма, бронезилет, каска, рация. И ещё – очки на носу. Обычные такие очки от близорукости, как у какого-то зубрилы-отличника в мирное время. Наверное, именно по причине плохого зрения ему и велели быть на посту у продуктового магазина, держать порядок среди гражданских. А не где-нибудь на передовой

совершать героические подвиги. Не у магазина же их совершать...

Военный был крайне зол, взбешён, нервы явно на пределе. Казалось, вот-вот он достанет оружие и пальнет в воздух или очередь в несмело подступающих голодных горожан.

- Назад! – орал он. – Всем отойти назад! Не создавайте затор! Дорогу!

Имелось в виду: не мешать парням с мешками.

Кто бы знал тогда, что ещё пара дней - и несчастный супермаркет будет окончательно уничтожен. И по этому месту, усеянному грязными картонками и пластиком, будут бродить только редкие громко каркающие вороны и равнодушные бомжи, повидавшие в жизни всякое...

Несколько горожан: семейные пары, старики, подростки - нерешительно переминались невдалеке, наблюдая за происходящим и пытаясь понять, что же происходит и как действовать дальше.

- Извините!.. – решился наконец один, обращаясь к этому военному. – А можно зайти, купить?..

Презрительный взгляд военного окатил смельчака презрением и оборвал его на полуслове. Тот осёкся и замолчал. А всем остальным присутствующим стало отчетливо ясно, что прошлой жизни больше нет. Так же, как и нет больше здесь слова «купить».

Что-то явно изменилось в них, в их лицах, взглядах, позах. Что-то неуловимое внешне, но это изменение заметил близорукий военный.

- Позже может, ждите, - немного смутившись и смягчившись, буркнул он. – Так! Сначала – на спецнужды! В сторону! Не заражайте проход!

И снова в него вселился бес.

Люди послушно отступили. Парни окончили свой вынос с погрузкой по «пирожкам», и уехали.

Пара минут - и кто-то невидимый вытолкнул наружу несколько тележек. Крупа, пачки печенья, просрочка из колбас. Люди несмело стали перебирать содержимое тележек в надежде найти что-то по-настоящему нужное.

- Что вы копаетесь?! – ожил голос близорукого воина. – Что вы ищете?

- Мука есть? – стало звучать робко. – Нет?! А консервы?

– Нет и не будет! Берите, что есть; быстро! Не роемся; по одной пачке и отходим! Взяли и отошли! Не мародёрствуем!! – руководил действием военный. Как будто,

если кто-то в форме, с оружием и с зычным голосом руководит процессом, то это уже не мародёрство.

На самом деле, как выяснилось позже гражданскими: в захваченном городе, без властей, добыча еды и воды – не мародёрство ни по одному современному международному праву. Это выживание. Но откуда нам это было знать тогда? Когда мы обливались слезами над каждой пачкой крупы и просроченной банкой консервов, и считали себя самыми последними паскудами... О, эти морально-этические страдания! – сколько их ещё ждало нас впереди.

- Вам что?! – отвлёк меня уже привычный рявк того военного. Перед ним стояла бабушка в простеньком пальто и вязаной – видимо, своими руками - зимней шапочке.

- Простите, - она наконец решилась озвучить свою просьбу. – Это сейчас, наверное, сложно, я понимаю, но, видите ли... Мне бы пакет молока... Я заплачу!..

Она уже открывала свой потрёпанный от времени кошелек.

- Нет молока! И не будет!

- Я понимаю, – бабушка своим упрямством явно стала ещё больше бесить военного. – Но, видите ли... У меня дома кошка. Она после тяжёлой операции на желудке. И ветеринар сказал: ей обязательно нужно молоко... А у меня закончилось сегодня. И где взять?.. Я заплачу, вот, смотрите...

Она протягивала какие-то смятые купюры, но он даже не посмотрел на них. Просверлив старушку злым раздраженным взглядом, военный сделал кому-то невидимому внутри магазина особый жест. Секунда – и пакет молока он уже толкал в руки старушки.

- Берите и уходите!

Старушка не верила своим глазам, держа в руках пакет молока, как настоящее сокровище.

- Храни вас Бог!.. – только и смогла она вымолвить.

- Так, быстро! Не загораживаем проход! – это он уже кричал остальным несчастным.

Люди, сообразив, что к чему, стали действовать расторопнее. Хватали, кто что успел, потом отходили за угол и менялись друг с другом, что кому нужнее.

- Простите!..

Военный почувствовал, что его кто-то легонько и, как ребенок стеснительно, дергает за рукав. Он обернулся. Что за чёрт? Снова эта старуха с молоком.

- Простите меня, Бога ради, - протягивала она ему тот самый пакет молока. – Но оно слишком жирное, такого моей кошке совсем нельзя... Может, как-то найдётся там обезжиренное? Я вас очень прошу!..

Нервы военного взорвались, словно склад с боеприпасами, в который попала тлеющая спичка.

- Ты совсем рехнулась, старая? Совсем из ума выжила?! Какое обезжиренное?!. Война, понимаешь? Люди гибнут! А ты?.. Какая кошка?!

- Да-да, простите... Вы правы... - старушка вся сжалась и тихо ретировалась.

Одинокая сгорбленная фигурка обречённо брела прочь от супермаркета, которому оставалось жить считанные часы. Как и многому другому в этом городе.

Мимо пробежали люди – кто с добычей, кто с ещё пустыми пакетами. Но ей было уже почти всё равно. Озябшие руки крепко сжимали пакет молока, которое нельзя пить больной кошке. Колкий февральский ветер больно, до слёз, бил по глазам.

Неожиданно позади послышались торопливые шаги. Кто-то явно пытался догнать эту съезжившуюся фигуру в простеньком пальто и вязаной шапке. Страх тут же пронзил её насквозь. Этот бесконечно тягучий момент – время хаоса, безвластия и безвременья – самое раздолье для лихих людей всех мастей. Но какая уже, впрочем, разница?..

- Стойте! - прозвучало сзади.

Старушка обернулась и с изумлением увидела перед собой того самого военного в очках от близорукости.

- Держите! – он сунул ей в руки другой пакет молока. – Это для вашей кошки, обезжиренное.

Старушка, не веря, смотрела на него, как на волшебника. Стряхнув с себя секундное оцепенение, она открыла рот, чтобы поблагодарить его и благословить Богом. Но не успела. Он, поправив очки на переносице, уже бежал обратно на свой пост, строго крича и ругаясь на бестолковых гражданских. Ещё мгновение – и его фигура растаяла в дымке пожара наступающей войны.

Побуду богатой

Шёл день восьмой вторжения в наш городок. А может, девятый. Но кто тогда считал те дни. Всем оставшимся

здесь жителям стало окончательно понятно, что власть бросила нас всех на произвол судьбы. Произвол. Судьбы. Это банальное в принципе словосочетание приобрело вдруг другой, острый зловещий смысл. Только потому, что от него осталось одно слово: произвол.

Нет, не потому, что люди по природе своей алчные, беспринципные звери. А потому что каждый из нас, оставшихся, остро понимал две вещи. Первое – выживай, как можешь, это сейчас твоя основная задача. Второе – никогда не знаешь, сколько тебе осталось. А дальше – смотреть пункт первый.

Да, в обычной мирной сытой жизни - всё это считалось бы грабежом и мародёрством. Но в военном апокалипсисе, в городе, брошенном всеми властями – это стало нормой. Ни одного целого магазина, - ни витрин, ни охраны, ни полиции, ни хоть какой-то власти. И никто не знает, сколько это продлится и как придётся выживать дальше.

Люди, словно обезумевшие, совали в сумки, рюкзаки и карманы всё, что попадалось под руку. И даже два посиневших на улице трупа уже не смущали особо никого. Тем более танки чужой армии, вооруженные экипажи которых наблюдали за всей этой вакханалией безучастно. Видимо, не было у них никаких приказов, кроме как стоять и не вмешиваться.

Теперь в доступе было многое. Даже то, что в мирной, довоенной жизни, было многим дорого и недоступно. Кто-то тащил айфоны, скороварки, кто-то – кофе-машины. Видимо, психологическая компенсация того, что не могли позволить себе при мирной жизни. И как своеобразная месть «богатым», - тем, которые их кинули в очередной раз.

Не было самого ценного, что реально поможет выжить. Ну, или даст шанс на выживание. Свечи, спички, табак, заварка черного чая, антисептики – этот набор знаком каждому, кто хоть раз ходил в походы. Всего этого не было.

Остановились отдышаться и передохнуть от бесконечной гонки по тому, что ещё осталось от города. Повсюду битые стекла, вода, оборванные провода. Вокруг люди – разносившие по домам остатки бесполезного, но так важного им сейчас барахла. За этим безучастно наблюдали посты солдат чужой армии, с оружием, у танков. Некоторые горожане с пустыми ещё мешками, выскочив из-за угла, резко тормозили перед ними, испуганно глядя.

- Можно пройти? – спрашивал тот, кто посмелее. Те равнодушно пожимали плечами и отворачивались. Им-то какая разница... Нет приказа – стоим, курим.

Люди. Теперь все стали понимать: главная опасность – не эти юнцы с важным видом в касках. А наступающий голод, холод. И неопределенность. Город, брошенный всеми бывшими властями ещё за несколько дней до вторжения, до всех бомбёжек и боёв, не первый день жил в февральскую стужу без света, воды и отопления.

Две бабули выбирались сквозь расколотое стекло из раскуроченного магазина. Одна тащила на себе гламурную швабру. Из таких, знаете, - с приделанной тряпочной основой-структурой. Увидев соседку, такую же бабулю, улыбнулась:

- Вот еще тряпку хорошую найду полы помыть, и буду богатой.

- Та! – незлобно посмеялась соседка. – Так может до вечера разбомблять?

- Так хоть до вечера побуду богатой!

Посмеялись обе и разошлись по домам.

Шарлотка

На самом деле её звали Шарлотта. Маленькая, молоденькая рыженькая собачка, похожая на чеховскую Каштанку. Милая, добрая мордаха, ласковый характер.

У неё был один недостаток – от рождения она была полуслепа. Что-то видела, что-то нет; смелее ориентировалась по звукам и запахам. Иногда ошибалась и натыкалась на предметы и тогда как будто смущенно улыбалась: «Простите, какая же я неловкая...».

Все собачники хорошо знают, что собаки умеют улыбаться и разговаривать.

Именно из-за этой её особенности – слабого зрения – её и взяли к себе хозяева ещё щенком. Она одна была такая из всего помёта. Пожалели. Так и решили на семейном совете: кому, кроме нас, она будет ещё нужна?..

Так Шарлотта обрела любящих и заботливых хозяев, а они – неповторимую собачью любовь и преданность.

Но это, такое тихое простое счастье, перечеркнула война, одним жирным черным росчерком.

Когда взрывы артиллерии стали невыносимо громкими, и бои стали приближаться к городу, хозяева решились на

экстренную эвакуацию. Как придется бежать, куда, когда – было неясно до последней секунды. Шарлотку, для её безопасности, приняли в наш пансион. Гостиница для домашних животных «В гостях у Ганса».

Нам тогда, в первые дни войны, казалось, что всё это несерьёзно и ненадолго. Какая война в наше время? Через пару дней всё точно уляжется, - договорятся, не дураки же там сидят?.. А Шарлотка побудет пару дней на пансионе, на травке, в дружной компании. Куда хозяйева отдают питомцев на время отпуска по дальним странам.

- Вот её пуфик, она любит на нём лежать. Вот её любимые игрушки. Костюмчик её, наденьте ей, пожалуйста, если похолодает. Но самое главное – вот этот корм! Это специальный медицинский корм, ей другого нельзя! Нам ветеринар прописал. Иначе зрение продолжит ухудшаться, и она может совсем ослепнуть... - взволнованно, немного сбивчиво говорила хозяйка, с тоской, тревогой и нежностью поглядывая на свою любимицу.

- Всё сделаем, не переживайте.

Для меня как хозяйки пансиона, всё было привычно и буднично. Даже несмотря на отчетливую канонаду совсем рядом, всё равно не верилось, что может случиться что-то серьёзное и страшное. Просто ещё один постоялец на передержке, пока хозяйева в отъезде. Главное, не забыть в суматохе имя.

- Простите, напомните, как её зовут? Джульетта?

- Шарлотта! Это легко запомнить: как яблочный пирог «шарлотка».

К ночи этого же дня канонада тяжелых орудий стала ещё ближе к городу. Звуки взрывов изматывали своей упорностью, бесконечностью и непредсказуемостью.

Вот вроде стихло. Пронизывающая тишина. Пугающая, обманчивая. «Нет, это не всё...», - как будто тихо смеется сам дьявол. Он словно дожидается, чтобы все поверили, что ад закончен. Чтобы снова с наслаждением оборвать эту надежду...

Связь с хозяйевами Шарлотты была ещё пару дней. А потом оборвалась. Как и наша связь со всем миром. Город резко оказался отрезанным от новостей, звонков близких и всего прочего. Пансион: немецкая овчарка Ральф, йорк Боря, той-терьер Тотоска, клиентские Шарлотка и чихуа Патрик, плюс наш кот Григорий, - все мы принаравливались жить в новом, сошедшем с ума мире.

Оставшиеся корма теперь строго экономились. Пайки урезались вдвое. Переходили на кашу самые крепкие и стойкие желудком. Гурман в мирной жизни Патрик, признававший только вареную курочку, теперь с аппетитом ел овсянку с капелькой масла для жирности.

Выгул короткий, в темноте, все строго на поводках (вдур рванёт рядом – удержу). Кстати, при обстрелах молчали даже любители побрехать попусту. Как будто они всё поняли и негласно договорились между собой соблюдать звукомаскировку.

Но к взрывам всё-таки привыкнуть никому не удавалось. С каждым ударом всё тело непроизвольно съеживалось и подскакивало вместе с домом. А после взрыва оставалось только слушать, как стонет земля. Земля от взрывов стонет совершенно по-человечески – это я теперь абсолютно точно знаю.

Шарлотка. Она в те дни беспокоила меня своим состоянием больше всего. Она чаще просто спала калачиком на своем пуфике рядом со мной в комнате. А когда взрывы становились особенно громкими и близкими, она вставала, вскидывала голову к потолку и водила по нему удивленным, не испуганным, доверчивым взглядом.

Я видела, что она стремительно слепла. И не знала, как ей помочь. Специальный корм для зрения, последний черпачок, я скормила ей ещё вчера.

Мне это удалось: в нужном месте поймала связь и набрала Ольгу Ивановну – ветеринара из Гостомеля, ангела-хранителя многих животных, и моих в том числе. Из того самого Гостомеля, где в то время шли жестокие бои. Наш разговор был коротким. Я рассказала про Шарлотту; как быть? Связь всё время прерывалась, но она сказала мне главное. Я услышала: «Лена, сейчас задача выжить. Всё остальное потом. Корми, чем есть. Это война. Потом разберёмся, вылечим...». Дальше связь оборвалась. Но во мне уже не было апатии и обречённости. Я поняла, что мне делать. Касаясь не только собак.

После разговора с Ольгой Ивановной я отключила телефон. Экономию аккумулятором никто не отменял.

Снова ночь, снова обстрелы... Склонив голову набок, Шарлотка ловила звуки. И в доме, затаившемся во тьме, и вовне, где рвалось и тряслось всё вокруг. Уши ей всё чаще заменяли глаза.

Ещё, конечно же, нос! Во время редких коротких прогулок (между боями нужно ещё успеть угадать время), Шарлотта

с восторгом ребенка нюхает каждую травинку у дома на крохотной лужайке. Весна ведь. И улыбается. Кто из собачников не знает, что собаки умеют улыбаться?

Сколько ни прошло бы времени, и чем бы это ни закончилось, но при слове «война» перед моими глазами всегда будет вставать образ Шарлотки. Маленькой, растерянной, стремительно слепнувшей собачки, у которой заканчивается её особенный лечебный корм. И которая в бесконечную череду ночей, канонад и взрывов, смотрит на меня доверительно со своего пуфика, как на надежду, как на какого-то Спасителя. С улыбкой и нежностью, как в пустоту.

Конечно, в пустоту; ну какой из меня, к чёрту, Спаситель?..

Суровые будни Леванта

В аптеке

Молодой аптекарь заканчивал короткую пятничную смену. На халате у него красовался бейджик, где было крупно написано: «Фармацевт Йоси». Очередь не убывала.

Он уже дал клиенту несколько лекарств по рецепту. Судя по лекарствам и по виду, перед ним стоял тяжело больной человек.

– И еще, – сказал он, – мне нужен инсулин.

– Хорошо, – ответил Йоси, – давай рецепт.

– Да нет у меня рецепта, забыл взять. Пятница. Поликлиника уже закрыта.

– Без рецепта не могу, сам знаешь...

– Йоси, да как же я останусь в субботу без инсулина? Я же не выживу!

– Надо было взять рецепт. Меня ведь уволят – ты понимаешь...

– Йоси, ты молодой, здоровый, сейчас пойдешь к своей девушке, будете с ней целоваться... А я буду без инсулина!

Йоси взглянул на рецепты и сказал:

– Послушай, Ронен! Откуда я знаю, может быть, тебе инсулин совсем не нужен?

– Да что же я, сумасшедший?! – завопил Ронен. – Не нужен был бы – стал бы я перед тобой унижаться?

– Ну, я не знаю... Может, тебе только кажется? Как можно без врача давать такие серьезные лекарства?

– Йоси, ну не будь ребенком! Посмотри в своем компьютере, я уже десять лет получаю инсулин, и доза только растет!

Парень нехотя взглянул на экран. Действительно, инсулин каждый день и уже много лет...

– Смотри, Ронен, если ты кому-нибудь скажешь, я могу вообще остаться без лицензии. Я тебе дам на сегодня и на завтра. Без денег. Не могу взять деньги без рецепта – компьютер не позволяет. А в воскресенье ты с самого утра пойдешь к врачу и принесешь мне рецепт. Доволен? Ну, иди, не надо благодарить...

Ронен молча смотрел на него.

– Позови заведующего, – тихо сказал он.

Подошла начальница отделения. Ронен вынул из кармана карточку и показал ей.

– Я контролер «Суперфарма», – сказал он. – Вот этот парень, Йоси, приветливо со мной поздоровался – очко ему. Спросил, как дела – еще очко! Работал быстро и вежливо. Очко! Выяснил мой возраст и объяснил, как принимать лекарства – два очка. И дал мне инсулин без рецепта. Минус пятьдесят очков. Вот протокол проверки. Подпиши!

– Но я же видел, что ты действительно принимаешь инсулин, – пролепетал Йоси.

– Ну и что? Я диабетик! Я бы мог так набрать инсулина в десяти аптеках без рецепта и повредить своему здоровью, – кротно ответил Ронен.

Сестры

Сестер звали Амина и Лейла. У Амины был муж и трехлетняя дочь, а Лейла еще не вышла замуж. Был один парень, Халед, который посматривал на нее внимательно, но пока ничего особенного не говорил. Хотя мать его, тетя Заира, очень ласково улыбалась при встрече и угощала Лейлу фруктами из своего сада.

Сестры дружили между собой, и когда Амина страшно заболела, Лейла совсем забыла обо всем остальном, ночевала у сестры, смотрела за ребенком, стирала и работала в огороде.

Муж Амины был очень расстроен. Когда ей отрезали грудь, он не мог поверить, что такое несчастье случилось именно с ним. Он и жалел жену, и сердился, и стеснялся соседей – у всех жены нормальные, а у него калека. И еще он боялся, что она умрет, и они с ребенком останутся одни.

После операции доктор сказал, что болезнь тяжелая, и Амина все еще не вылечилась. Надо ездить в большую больницу и принимать лечение. Муж Амины пошел к своему двоюродному деду – самому уважаемому человеку в деревне – и попросил похлопотать. Двоюродный дед позвонил зятю, съездил в город, кому-то отвез коробку сигар, чьей-то жене подарил золотое кольцо с эйлатским камнем, и Амина получила разрешение на лечение в Иерусалиме.

Еще несколько дней ушли на пропуска для нее и Лейлы, и девушки первый раз поехали в дальнюю дорогу. Они

остановились у родственников на восточной окраине, передали пахлаву, испеченную их мамой, свежий овечий сыр и пряности, которые привезли с собой. И еще кое-что, довольно тяжелое, что муж Амины велел отдать двоюродному брату.

Утром они отправились в больницу. Обе не спали всю ночь. Боялись, что не найдут доктора. И что он будет очень строгий и накричит на них. И еще, что лечение будет страшным – что от него выпадут волосы и брови. И что на обратной дороге Амине будет плохо.

На следующий день они вернулись в свою деревню. Теперь каждые три недели они ездили в Иерусалим. Амину начинало тошнить, как только она садилась в автобус. На контрольном пункте их уже знали, но все равно ждать приходилось долго, и когда они добирались до Иерусалима, Амина с трудом держалась на ногах. Ее сразу укладывали на тахту, и от слабости и дурноты она не могла встать до следующего утра, когда надо было ехать в больницу.

Волосы выпали, но под платком было не видно. Зато брови приходилось рисовать карандашом. А ресниц у Амины теперь не было совсем.

Когда они ехали на пятое лечение, на пропускном пункте их проверяли особенно настырно. Копались в сумке у Лейлы, рассматривали результаты анализов. И даже открыли сумочку с лекарствами – обезболивающими и от тошноты. Там лежал пакет, который муж Амины всегда передавал своему двоюродному брату. Солдатка равнодушно разрежала целлофан, отклеила липучки, развернула бумагу и увидела содержимое. Офицер прибежал на ее крик через секунду. Лейлу и Амину уже держали за локти.

– Что это? – спросил рыжий кипастый лейтенант. – Взрывчатка?

Амина молчала. Лейла ответила:

– А ты как думаешь, идиот? Мы двенадцать раз едем из Газы в Иерусалим и не повезем взрывчатку? Просто так будем кататься туда-сюда?

Их отправили в ШАБАК на военном джипе. Лейлу ни о чем особо и не спрашивали. Проверили по компьютеру, на какой улице живут ближайшие родственники, и выехали туда на трех машинах.

А Амину повезли в больницу на курс химиотерапии.

Адвокат

Дорон Барабаш получил заказное письмо. В письме было сказано, что министерство обороны отказывает в его просьбе перенести срок резервистской службы еще на два месяца. Указывалось, что за последние шесть лет он подавал такие просьбы одиннадцать раз. Дорон хмыкнул, вынул телефон и нажал кнопку "1". Под первым номером значилась не мама и даже не жена, а совладелец его юридической фирмы Ицик Шварц.

- Слушай, Шварц, - сказал он. - Я ухожу в милуим¹ в воскресенье.

Трубка взорвалась гневными возражениями.

- Заткнись, Ицик, - сказал Дорон, - что ты разоряешься? Мы не в суде. Все равно я не могу работать - если не пойду в армию, пойду в тюрьму. Какая тебе разница? Миша и Айелет на месте. До суда еще четыре месяца. Я готовлю этот процесс по одиннадцать часов в день почти полгода.

Он немного послушал трубку и сказал:

- Если этому говнюку не подходит наша фирма, пусть выбирает другую. Кажется, в стране уже нет адвокатов, с которыми он не рассорился. Скажи ему, чтобы привез себе парочку из Швейцарии, а я ушел защищать отчизну. И не звони мне!! У меня отпуск. Вернусь через две недели, и все обсудим в конторе.

Дорон был доволен: встретится с ребятами, с которыми вместе служили. На дворе апрель, в палатках не жарко. Спать будет по восемь часов, а может, и больше. Постреляет на стрельбище... и вообще. Никакой ответственности: "Да, командир!" - и всех забот. А может, и рейд какой случится.

В воскресенье утром, в выцветшей форме резервиста и совершенно потерявших цвет ботинках, он входил в ворота родной базы.

На третий день службы прыщик в раковине правого уха разросся и стал пульсировать. Спать на правом боку Дорон не мог, да и вообще ухо сильно болело. Делать было нечего - после завтрака он пошел в санчасть.

Фельдшер глянул в ухо и сказал:

- Слушай, у тебя абсцесс. Ты не представляешь, как тебе повезло! У нас сейчас в милуиме мумхэ¹ "ухо-горло-нос". Из

¹ Резервистская служба

«Хадассы»! Чуть не профессор там. Ничего не понимает в остальном - чуть что, дает направление в больницу. Зато в своем деле - гений. Сейчас позову!

Пришел молодой врач. Отрекомендовался доктором Бергом. Посмотрел в ухо через увеличивающие очки и сказал:

- У тебя киста воспалилась. Она ведь не теперь появилась, правда?

- Всегда была, - сказал Дорон. - Я думал, это прыщик. Он с детства. Иногда краснеет, но так, как сейчас, в первый раз.

- Удалю! - сказал доктор Берг. - Тебе повезло! Так - очередь на полгода. Даже на частную операцию, и то месяц. А я тебе сейчас же за пятнадцать минут, и на всю жизнь.

Фельдшер от перспективы ассистировать на настоящей операции профессору из «Хадассы», трясся от возбуждения.

- Ты успокойся, брат, - сказал ему Дорон. - А то еще не тот инструмент подашь...

Операция действительно длилась недолго. Через полчаса Дорон вернулся в палатку с забинтованной головой и освобождением до вечера. Когда наркоз сошел, ухо больше не болело.

Однако недели через три, когда он уже работал в конторе и забыл об армейской передышке, ухо снова дало о себе знать - оно стало красным и горячим, и вообще, как бы центром всего тела. Поздно вечером, возвращаясь с работы, он заехал на станцию скорой помощи. Фельдшер только глянул и сказал:

- В больницу! Этим не шутят! Отвезти тебя?

- Да нет, - сказал Дорон. - Я сам...

Чувствовал он себя плоховато, но бросать «бентли» на улице не хотелось.

С направлением от "скорой помощи" он прошел все регистрационные круги очень быстро. В приемном покое томились сердечники, подключенные к мониторам, кого-то рвало, несколько человек громко стонали, старушка взвизгивала и, матерясь, непрерывно звала сестру. Многие вообще сидели на стульях - мест на кроватях за ширмами

¹ Мумхэ - врач-специалист после многолетнего специального обучения.

не хватало. Но с Дороном творилось что-то удивительное. Отоларинголог появился через пять минут, взглянул и немедленно послал на госпитализацию. Через полчаса Барабаш лежал в кровати в тихой благоустроенной палате на одиннадцатом этаже, а медсестра возилась с его рукой, подключая капельницу.

Около двух часов ночи появился заспанный дежурный врач, назначил антибиотик и ушел, зевая.

Утром пришел с обходом профессор. За ним шли ординаторы, простые врачи, стажеры, медсестры, студенты и прочая братия. Хвост свиты в палату не поместился.

- У тебя воспаление хряща, милый, - сказал профессор. - Тебе с ухом что-то делали? Кисту удаляли? Вот и внесли инфекцию в хрящ. Это плохо лечится, но хорошо, что начали вовремя. Если повезет, недельки через две-три будешь здоров. А кто этот портач? Чего он в хрящ полез?

- Это ваш специалист, - язвительно сказал Дорон. - Доктор Берг. А моя фамилия Барабаш. Слышали? Адвокат Барабаш. Да, тот самый, что министра защищает... Я на вашего Берга жалобу подам.

- Не надо нервничать, - ответил профессор; он был не из пугливых. - У нас нет врача по фамилии Берг.

- Как нет? - взвился Дорон. — Вот же он, в углу. Я его узнал!

- Ах, этот? - улыбнулся профессор. - Цви, давно ли ты стал специалистом? Это стажер... Он месяца три, как диплом получил. Вообще не имеет права самостоятельно оперировать. У него и страховки еще нет... Будь здоров. Я приду завтра.

Дорон закрыл глаза.

«Когда я был стажером, я бы обрадовался такому делу. Обязательно подал бы иск, и его, как миленького, лишили бы диплома. И вообще - компенсация астрономическая. Мне тогда позарез надо было чувствовать себя профессионалом. Да и с ним - то же самое. Доктор Берг... В первый раз сам! Старался, небось, изо всех сил...».

Он встал, нашарил тапочки и побрел по коридору, толкая перед собой штатив с капельницей. Берга он отыскал в комнате отдыха для родственников больных. Тот поставил стул к окну и сидел, отвернувшись от всех, глядя через пыльное стекло на поросшие лесом горы, дорогу и крыши старых корпусов. Барабаш тронул его за плечо.

- Не бойся, лейтенант, - сказал он. - Ты ведь старался. Я не буду жаловаться. Ничего плохого не случится. Еще станешь профессором.

И зашаркал назад по коридору в свою палату

По горячим следам

Таня чувствовала себя совершенно разбитой. Тяжелый день... и хамсин. Она лежала на диване, полуприкрыв глаза, и прислушивалась к боли в ногах. Глупый организм почему-то вместо мигрени реагировал на все тяготы бытия мучительной болью в ступнях, лодыжках, голенях, коленях и выше.

«Как это называется - выше колена? - вяло размышляла она. - Неужели "ляжки"? Ко всем неприятностям еще такое пакостное слово. Надо бы встать и принять аспирин... но нет сил».

Однако встать пришлось - в дверь позвонили. Запахивая халат, Таня открыла и увидела в дверном проеме двух полицейских. Она была удивлена.

- Ты крики слышала? - спросил высокий.

- Нет, - ответила Таня, - какие крики?

- Нам сообщили, что у тебя на веранде драка.

Таня смотрела на полицейских во все глаза.

- Да нет, - сказала она. - Кому здесь драться?

Полицейские были дружелюбны, но настойчивы. Они вышли на веранду, осмотрелись - там была тишина и порядок. Тот, что пониже, позвонил куда-то, послушал голос в трубке и сказал Тане:

- Именно здесь, где мы сейчас стоим, десять минут назад мужчина лет тридцати сильно ударил молодую девушку. Она закричала... И ты ничего не слышала?

- Нет, - решительно сказала Таня, которая начала оживать от этого приключения. - Из мужчин в этой квартире только мой дедушка. Ему девяносто семь лет. Можете с ним познакомиться.

Она постучала в комнату деда и открыла дверь. Полицейские заглянули. Дед выглядел не лучше, чем обычно. Вряд ли он мог с кем-нибудь драться или даже бить беззащитного.

- Ты что, живешь с дедом? - удивился высокий.

- Да, - ответила Таня. - Мы, русские, своих стариков в дома престарелых не сдаем.

- Вы молодцы, - вздохнул высокий. - А еще кто-нибудь есть дома?

- Только мы, - сказала Таня. - Хочешь посмотреть? Это моя комната, тут комната для гостей, в салоне вы были. Вот ванна, вот туалет...

Полицейские нехотя заглядывали в двери, которые она открывала.

- Послушай, - сказала Таня - а тот, кто сообщил, он, случаем, не подкуренный? Ну, или на таблетках... Я врач. У них, знаешь, какие глюки бывают... Ясно видят...

- Да, - сказал высокий (кажется, он и был главным). - Ты нам все-таки свой документ покажи, и мы пойдем к нему. Выясним, кто он и что у него с мозгами.

Они сфотографировали Танино удостоверение личности, пожелали ей приятного вечера и ушли. Тогда она заглянула на технический балкон, откинула занавеску, за которой были полки с пасхальной посудой, и твердо сказала:

- Выходите!

Они появились. Зареванная Галит с распухшей губой и заплывающим левым глазом и мрачный, как зарождающееся цунами, Бени.

- Беничка, прости меня, я же не знала, - лепетала Галит, прикладывая к лицу ледяной брикет, который мать достала из морозилки и завернула в полотенце. - Мы вместе учимся, он говорит на иврите не хуже тебя. Я думала...

- Что ты думала, дура? - прошипел Бени. - Он руководитель иерусалимского звена организации Абу Нидаля. А ты ему дала мой телефон! Ты знаешь, что им, в Газе, теперь известно?! Ты представляешь??

- Беничка, ты же сам забыл у меня телефон, - прошептала Галит, отводя глаза.

И Бени немедленно вlepил себе звонкую пощечину, от которой Галит зажмурилась, а мать поморщилась.

- Моше просто попросил посмотреть, у тебя же телефон супер-пупер. А потом мы целовались и... я не заметила, куда он делся... Положил в карман, наверно...

- Он не Моше, а Муса, - чуть охлаждаясь, ответил Бени. - Значит, не ты ему дала смартфон, а он украл... Я же должен доложить, как мой телефон попал...

Он замолчал и опять наградил себя пощечиной - теперь с левой руки.

- Ладно, Галка, не реви. Хорошо, что ты мне рассказала. А то могло быть куда хуже. Жалко только, что у мамы на балконе...

В отказе
Главы из романа

Предисловие. Свобода в неволе

Всеобщая декларация прав человека должна бы открываться параграфом «Свобода ног». Без Свободы ног все прочие положения выстраданного человечеством гуманитарного Свода правил утрачивают смысл. Сидя на цепи, гомо сапиенс не может пользоваться ни свободой передвижения, ни свободой слова, ни свободой мысли - ничем. Ограничивая Свободу ног, диктатор – будь он генсеком, премьером или президентом – запирает границы своей страны на замок, а подданных сажает на цепь.

Именно так советский султан Леонид Брежнев - сибарит, который, по словам его дочери Гали, «по полчаса вывязывал по утрам узел галстука перед зеркалом» - распорядился с евреями, заявившими о своём желании распрощаться с СССР и отправиться жить в Израиль. В начале 70-х годов прошлого столетия еврейское национальное движение за возвращение на историческую родину стало приобретать широкий размах, и это раздражило кремлёвские власти, круто отреагировавшие на дерзкий вызов: «Держать и не пущать!» Следом за горстками, сотни и сотни отважившихся вступить в противоборство с властью обивали пороги Отделов виз и регистраций МВД СССР (ОВИР), и это служило дурным примером для молчаливого еврейского большинства, внимательно наблюдавшего за развитием событий. Трудно было в то время отыскать в СССР семью евреев, где шёпотом не обсуждались бы проблемы, связанные с «еврейским вопросом». Но позиция государства оставалась незыблемой: «Евреи есть, а вопроса нет».

Таким образом, появились и понемногу множилось «подаванты» - смельчаки, подавшие просьбу о получении выездной визы в Израиль, и те, кто уже успели получить отказ на свою просьбу – «отказники». Вторых поначалу было куда больше, чем первых, и отказ мог тянуться долго – год, десять лет или пожизненно; никто не взялся бы утверждать, сколько... Запрет на выезд был тяжким ударом,

но надежда на освобождение, всё же, оставалась. Надежда, которая умирает предпоследней. А те, в ком она умерла, скоро и сами уходили вслед за нею, и мы, остающиеся в живых, хоронили ушедших на еврейском участке московского Востряковского кладбища.

Жизнь в отказе, посреди набитой людьми десятиmillionной Москвы, становилась особой формой существования. Отказники, да и подаванты тоже, объявлялись изменниками советской родины, изгоями общества, взрастившего их, вскормившего и вспоившего, а потом променявшими светлые коммунистические дали на чёрную сионистскую отраву. Стыд и позор! Неблагодарных отступников клеймили ужасно, прорабатывали на общих собраниях трудовых коллективов и выгоняли с работы.

В один прекрасный день мы становились замкнутой кастой отверженных. Круг нашего общения с вчерашними приятелями, собеседниками и сотрапезниками сужался до предела; общий язык и общие темы мы находили лишь с такими же, как мы сами, отказниками. Родная земля, о которой мы знали лишь из «Голоса Израиля», еле сочившегося сквозь гул глушилок, да по романам Фейхтвангера и Томаса Манна, виделась нам безупречным национальным раем. Одни из нас надеялись найти в том райском краю суперсовременные небоскрёбы, как в Чикаго, а другие – библейские пригорки, по которым еврейские крестьяне гоняют своих баранов и козлов. Я не относился ни к первым, ни ко вторым – не рисовал ни урбанистских, ни буколических картин, и готов был принять в объятия неведомый Израиль таким, каким он окажется в реальности. Но меня не пускали.

Замкнутые в своём кругу, на острове Отказ, мы напрочь утрачивали связь с советской жизнью. Общение с властями ограничивалось походами в ОВИР и обменом письмами, в которых мы просили – наши требования не принимались к сведению - пересмотреть очередной запрет, а «Софья Власьевна» нам в очередной раз запрещала выезд. За два года отказа я получил пять запретов. Человек, как говорится, не собака, человек ко всему привыкает – но привыкнуть к запретам было невозможно: ощущение скованности по рукам и по ногам доводило до отчаяния. Власть стала нам кровным врагом, а мы – ей; так мы и жили.

Особое, уважительное положение занимали в нашей среде отказники «со стажем» - те закалённые единицы, кто

подали документы на выезд годы назад, и будущее которых было вполне беспросветным. То были, в основном, учёные и инженеры, когда-то имевшие по работе так называемый «допуск» к производственным или научным секретам. Но не только: встречались там, от случая к случаю, и люди свободных профессий – никто из них толком не знал причину отказа, которую почему-то «Галина Борисовна» (ГБ) держала в строгой тайне и никогда подавантам не открывала. Решения, принимаемые на Лубянке и на Старой площади, носили произвольный характер и к закону не имели никакого отношения. По закону Украина или Прибалтика по собственному желанию могли выйти из состава СССР, однако это желание оставалось столь же призрачным, как красивая фата-моргана в пустыне Сахара. Какие там «допуски» первой, второй или третьей степени! Однажды на Огарёва, дом 6, в приёмной МВД – активистов отказа туда согнали, чтобы разъяснить им их бесправие – мне удалось спросить у высокопоставленного генерала, почему меня не выпускают – ведь я никогда не имел никакого допуска и секретов не знаю, и получил сногсшибательный ответ: «Неправда! Вы имели допуск к советскому образу жизни!» Таким образом, мой жизненный опыт гарантировал мне сидение на цепи до того самого дня, когда этот «советский образ жизни» сгорит и обратится в пепел под развалинами СССР. Этот светлый день казался волшебной сказкой, никто не мог его разглядеть за горизонтом, не исключая и диссидента Андрея Амальрика – автора знаменитой книжки «Просуществовать ли Советский Союз до 1984 года».

Такой гнусный расклад свёртывал время в спираль, конца которой было не видать. Тусклая советская жизнь плотно нас окружала, сковывала движения и не давала вырваться на волю. Пережив то дикое время, оглядываюсь назад из сегодняшнего дня и задаюсь вопросом: почему иные отказники, отсидевшие на большевистской цепи по десятку лет и больше, называют те годы лучшими годами своей жизни.

Переступив порог. «С чего начинается родина?»

Этот немаловажный вопрос был поставлен ребром в патриотической песне-шлягере конца 60-х годов. Шлягер создали три русских еврея – композитор Вениамин Баснер,

известный поэт Михаил Матусовский и знаменитый шансонье Марк Бернес. Советская родина, по словам создателей, начиналась с картинки в букваре, с берёзки в чистом поле, с отцовской пропылённой будёновки... Тут, надо заметить, проглядывает абберрация памяти талантливых авторов: для всех троих родина, всего скорей, начиналась в местечковом хедере.

Для отказников начала 70-х шлягер пришёлся как нельзя более кстати: петь мы его не пели, зато на музыкальный вопрос «С чего начинается родина?» отвечали с незабываемой твёрдостью: «С ОВИРа!». И так оно и было.

Отдел виз и регистраций МВД СССР (ОВИР) помещался в Колпачном переулке, в замызганном двухэтажном доме старинной постройки. Вход в него вёл из довольно-таки мрачной подворотни, тесный приёмный зал с утра до закрытия был битком набит посетителями, преимущественно еврейскими подавантами. В окошечках сидело несколько чиновниц в униформе МВД, они выдавали опросные анкеты и принимали – или не принимали – пухлые комплекты документов, необходимых для подачи просьбы на выезд. Фамилия одной из чиновных барышень казалась здесь анекдотически неуместной: лейтенант Израилова. Но, как метко говорят в русском народе, «назови хоть горшком, только в печку не сажай»... А во втором этаже старинного дома сидел в своём неприступном кабинете начальник выездной конторы полковник Смирнов.

Переступая порог ОВИРа с торчащим в дверях дежурным милиционером, подавант оставлял свой зыбкий страх в подворотне - так купальщик, бросаясь в воду, оставляет одежду на берегу.

Итак, этот истёртый порог служил строгой границей между здоровым советским обществом и пригоршней буржуазных отщепенцев, к тому же евреев. Протискиваясь в ОВИР мимо скучающего на своём посту угрюмого мента, проситель пересекал красную линию, проведённую в Кремле твёрдой рукой партийного ревнителя пролетарской идеологии. Мосты вмиг были сожжены, совки оставались на одной стороне «реки по имени Факт», а отравленные сионистской пропагандой евреи толпились в изолированном, огороженном толстыми стенами учреждения тесном зальце, управляемом Смирновым со второго этажа, Израиловой и второй барышней в

справочном окошечке, по вполне уместной здесь фамилии Акулова.

Подать этим самым барышням документы на выезд было делом непростым: десятки бумажек и справок, непременно заверенных разборчивыми подписями делопроизводителей и круглыми или треугольными печатями, составляли полный комплект для подачи. Написанная по неутверждённой форме справка или её нехватка сводила сизифов труд подаванта по поиску документов на нет: просьбу не регистрировали. А искать где только не приходилось: в разных городах, куда жизнь заносила еврея, в загсах, домоуправлениях и судах, в милицейских участках и на кладбищах. Форменное свидетельство о том, где похоронен дедушка – это почему-то нужно было непременно знать советской власти; без такой бумажки непреклонные Израилова и Акулова документы не принимали, и просителям приходилось раз за разом возвращаться в ОВИР, в Колпачный переулок. Такое переливание из пустого в порожнее становилось для нас как бы одной из составляющих нашу новую жизнь: подаванты бились за право подать просьбу о визе, отказники приходили на Колпачный для получения очередного отказа или, куда реже, разрешения.

Все эти действия, вызывающие у непосвящённого человека изрядное удивление, производились под принятым в цивилизованном мире гуманитарным прикрытием, именуемым «объединение семей». Дескать, тот или иной советский еврей желает воссоединиться с любимыми родственниками, проживающими в государстве Израиль и не готовыми ради такого семейного воссоединения бросить Святую Землю и переехать в Воронеж или Кимры на постоянное жительство. Собственно говоря, такое переселение никому и в голову не приходило без обидного смеха. Но самое интересное не в этой аксиоме заключалось. Дело было в том, что у истосковавшихся по далёким родственникам советских евреев не было в Израиле ни семей, ни неведомых троюродных племянников или двоюродных бабушек. Мифические родственные связи являлись, таким образом, хрустальной выдумкой, святой ложью, позволяющей «Софье Власьевне» подвести навязчивое стремление отдельно взятых «граждан еврейской национальности» под благородную рубрику «воссоединение семей». Об этой наивной лжи были прекрасно осведомлены – и охотно с ней

мирились – и в Москве, и в Иерусалиме: достоверность «семейных приглашений на ПМЖ», присылаемых из Израиля, формально никогда не ставилась под сомнение на Лубянке. Запретить или же позволить «тому или иному» еврею выезд в Израиль – вот это уже дело другое; тут решение нераздельно принадлежало властям, и было оно совершенно произвольно: «Как хочу, так и ворочу». А если вы, граждане евреи, хотите зваться родственниками – на здоровье, от этого никому ни холодно, ни жарко! Одной моей юной приятельнице я помогал заполнить выездную анкету для ОВИРа, и в графе «Есть ли родственники в Израиле» написал: «Да, есть. Пять миллионов сестёр и братьев». К моему большому удивлению, через три недели девушка получила разрешение и благополучно уехала. Зависть – чёрное чувство, «белой зависти» не существует в природе, но и подаванты, и отказники всей душой завидовали той девушке; иначе быть не могло.

Все мы – «завсегдатаи» ОВИРа – знали друг друга, хотя бы в лицо. Знали мы, разумеется, и Израилево с Акуловой, и мента, неподвижно, как столб, торчавшего в тесной прихожей. Некоторые из нас, протискиваясь в присутствие, кивали менту в знак приветствия, но тот оставался неподвижен и никак не реагировал на наши кивки. На своём месте, при входе, он являлся казённой принадлежностью Отдела виз и регистраций – вроде стоячей вешалки или напольных часов без боя.

Однажды один из нас, отказник Ян Эбнер, человек эмоциональный, с быстро текущей кровью, кивнул менту и, не получив ответа, молча достал из кармана малиновый леденец и протянул служивому. Мент, огорошенный фамильярным поступком Яна, выпучил глаза, взял леденец и сунул его в рот. Мы, свидетели этого происшествия, были потрясены не меньше мента. Чего угодно можно было ожидать от милиционера – начнёт орать и ругаться, откроет стрельбу – но только не то, что он примет еврейский леденец и станет его сосать на глазах у всех. К чему бы это? Может, послабление какое дадут евреям? Но Ян-то, Ян Эбнер, какой молодец и рискач! Взял и ни с того, ни с сего угостил мента малиновой конфетой...

Ян был кинорежиссёром, приятелем отказника Михаила Калика. Миша Калик пользовался заслуженным уважением в нашей среде не только как автор знаковых фильмов - авангардного «Человек идёт за солнцем», «До свидания, мальчики!», «Любовь» - но и как активист отказа,

составлявший протестные письма к властям и бесстрашно собиравший под ними подписи. Вряд ли одна лишь дружба с Каликом, успевшим до смерти Сталина получить за «еврейский национализм» десять лет лагерей и три года из них отсидеть, обрекла Яна Эбнера на отказ – тут, надо думать, была иная причина. Какой-то лубянский начальник, прочитав заключения «экспертов по еврейской линии» и получив «добро» из Отдела административных органов партийного ЦК на Старой площади, постановил людей искусства не выпускать. Запрет почему-то не затронул художников – тех выпускали капля по капле – и циркачей, выезжавших почти беспрепятственно. Как видно, на Старой площади недостаточно внимательно штудировали труды В. И. Ленина, объявившего: «Из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк». Ай да вождь пролетариата! Сказал – как припечатал...

Так или иначе, но Ян Эбнер угодил в отказ и, в отличие от закалившегося в лагерях Миши Калика, затосковал и почти утратил надежду на победу. Тоска грызла его душу, подтачивала силы и, в конце концов, свела Яна в могилу. Последние недели перед концом на него больно было смотреть: измождённый, печальный, он с трудом волочил ноги. А мы, охваченные огненной надеждой на выезд, и представить себе не могли, что спустя считанные студёные дни придём на Востряковское кладбище хоронить нашего товарища, оставлять его в чужой мёрзлой земле.

А Михаил Калик – человек твёрдый, режиссёр знаменитый – добился своего: разрешение на выезд в Израиль было получено, ОВИР был пройден и остался за спиной, а впереди зеленели холмы и апельсиновые рощи исторической родины. Это вовсе не означает, что он одержал чистую победу над Софьей Власьевной, как Давид со своей пастушьей пращой над гремящим железом Голиафом. Просто какой-то ответственный партийный лоб из выездного отдела КГБ пришёл к выводу, что неугомонный Калик, снимая кино в Израиле, причинит меньше беспокойства советской власти, чем сидя в отказе и сочиня дерзкие антисоветские письма. Проще простого было бы, конечно, упрятать мятежного режиссёра за решётку годков на пять-шесть, но это вызовет неприятную реакцию на Западе. Коллеги Калика – мировые знаменитости – подымут гвалт, требуя освобождения «узника совести», а ведь даже участковому милиционеру

известно, что выпустить человека из тюрьмы куда хлопотней, чем его туда посадить.

В международном аэропорту Шереметьево, коротким ноябрьским днём 1971 года, подошла к концу борьба Миши Калика за свою и нашу свободу: немилосердная власть, наконец-то, отстегнула цепь от ошейника кинорежиссёра. Человек двадцать друзей-отказников собрались на аэродроме проводить Калика – и удостовериться в том, что его не задержали на границе и дали беспрепятственно покинуть пределы нелюбезного отечества. Миша уезжал, а мы оставались. Глядя вслед счастливицу, я ему не завидовал, а только испытывал тупую боль в душе: а когда меня придут провожать? Наступит ли когда-нибудь такой день?

Для Калика борьба закончилась, для нас - продолжалась. Это бессонное ощущение было характерно лишь для отказников – те счастливицы, что получали разрешение с первой подачи, были обречены на тревожное ожидание, без тени гарантии на успех. После первого же отказа смиренные и терпеливые подаванты, ощутив петлю неволи на шее, превращались в борцов с режимом. Многих, проявивших стойкость и отвагу, ждала тюрьма. После тюрьмы, как правило, сидельца не задерживали в СССР – бывший арестант без проволочек получал разрешение на выезд и уезжал в Израиль. Но случались и исключения из правил... Как бы то ни было, многие отказники готовы были обменять свой безразмерный отказ на три года отсидки.

Наши отказники доставляли властям изрядную головную боль – и чем дальше, тем больше; скрутить еврейское национальное движение Красному Фараону никак не удавалось. За вялотекущее годы сидения на цепи отказники наглухо обособливались в своём замкнутом мире противостояния красной деспотии и, к досаде режима, вдобавок обрастали стойкими связями с западными гуманитарными организациями – еврейскими и христианскими, выступавшими за освобождение советских евреев и их исход из СССР. Полузадушенные глушилками «вражеские радиоголоса» - «Голос Америки», Би-Би-Си, «Свобода», «Голос Израиля», - рассказывали миллионам своих затаившихся слушателей в Советском Союзе о еврейском движении и отказниках, не прекращающих борьбу за выезд. Отказники – вчерашние рядовые инженеры, врачи, учителя, ничем не отличавшиеся от массы граждан, разве что «пятым пунктом» в паспорте –

почувствовали свою занятость и нужность. Демонстрации в их защиту проводились от Нью-Йорка до Мельбурна и собирали тысячи, если не десятки тысяч участников. Обращения с поимённой поддержкой насильно удерживаемых в Советском союзе евреев подписывали лауреаты Нобелевской премии и мировые знаменитости. Решительно настроенные парни в Штатах требовали культурного бойкота Москвы и введения экономических санкций против кремлёвского режима. Принятая в 1974 году «Поправка Джексона-Вэника», больно ударившая по торговым интересам Москвы, во многом была продиктована давлением «еврейского лобби» в Вашингтоне... Не удивительно, что жизнь в московском отказе, насыщенная каждодневной нелегальной работой, поднимала общественный вес фигурантов, прежде всего, в их собственных глазах и в глазах их коллег-отказников. А чьи ещё глаза нужны и важны для такой оценки? Лубянские? Кремлёвские? Для ощущения востребованности и твёрдости духа достаточно было и своих.

За этой довольно-таки опасной, под дерзким призывом «Фараон, отпусти мой народ!», работой – организацией запрещённых демонстраций и митингов на Центральном телеграфе, связью с отказниками по всей стране, протестными письмами, политическими голодовками и контактами с иностранными корреспондентами – маячила тень тюрьмы или, в лучшем случае, высылка на 101-й километр от Москвы. Именно эта реальная опасность добавляла остроты к нашему существованию, такому пресному до пересечения порога ОВИРа, подачи документов на выезд и получения отказа. Возврат в прежнюю, «совковую» жизнь представлялся нам невозможным.

Затянутые извивами судьбы и волею обстоятельств в омут схватки с Красным Фараоном, многолетние отказники шаг за шагом привыкали к новой декорации жизни и своей роли на шаткой сцене. Голодная смерть им не грозила – отказ распоряжался своей, строго законспирированной казней, пополнявшейся из различных источников. Понятно, что казначею, выйди госбезопасность на его след, грозила расправа страшная, вплоть до расстрела. Но – не выходила...

Отказ, таким образом, походил на закрытый для чужих глаз орден, если угодно, рыцарский. Принадлежность к

ордену, укрепившемуся в чужеродной агрессивной среде, доставляло отказникам чувство высокой обособленности, счастливого предназначения. До подачи такое ни с чем несопоставимое, странное секретное счастье никому из них и не снилось.

С концом отказа этому драгоценному чувству наступал конец. На исторической родине действительность оказывалась несколько иной, чем она представлялась многим из чужого, враждебного далека. Отказникам предстояло обустроиваться в новой жизни, полной житейских забот. Шумиха в прессе по поводу их приезда быстро рассеивалась, журналисты больше им не названивали, а зарубежные друзья не проявляли повышенного интереса к их материальному положению. Сокровенные лучезарные проекты – культурные, социальные и военные, заботливо выношенные ими в отказе – оборачивались пустыми прожектами. Это было горько, это было неотвратимо.

Отказ теперь брезжил в глубине прошлого, течение времени постепенно стачивало его бритвенные углы, которые могли искалечить, а могли и убить.

А что же Калик? Миша Калик был встречен в Израиле с подобающими почестями, ему была дана возможность снять своё кино – так, как он этого хотел, сидя в отказе. К сожалению, его фильм «Трое и одна» не принёс коммерческого успеха в прокате, и это печальное обстоятельство, эта ядовитая метка обусловила творческое молчание Мастера до конца его дней: денег на новую постановку так и не нашлось. Такое случается в жизни художников. Нечто подобное произошло у нас, на нашей финиковой земле, и с великолепным Юрием Любимовым.

Начало конца

Всё на свете, имеющее начало, раньше или позже приходит к своему концу. Всё, кроме самой Бесконечности, о сущности которой мы имеем размытое представление.

Начало конца советской власти наступило 25 октября 1917 – в день большевистского переворота, приведшего к власти Владимира Ульянова-Ленина. В последующие годы эта власть подвергалась неоднократным смертельным опасностям, но сохраняла живучесть и выходила сухой из воды. Ну, почти сухой.

Гарантией сохранения большевистского режима служила полная изоляция серого советского народонаселения от многокрасочного, как монпансье, внешнего мира. «Железный занавес», возникший после Второй мировой войны, способствовал этой дикой задаче.

Вскоре после того, как мартовской ночью 1953 на подмосковной Ближней даче Иосиф Сталин упал на пол и умер, после короткой, но кровавой кремлёвской схватки под ковром, на дворе наступила «оттепель», иззябшими гражданами по ошибке принятая за весну. Сталинский «культ личности» всенародно обругали, из тюрем, лагерей и ссылок выпустили сотни тысяч чудом уцелевших политзаключённых – над необъятной страной возшла «эпоха позднего реабилитанса». На обновлённые времена с недоверием пялила глаза советская публика: вчерашние фронтовые солдаты, которые, по словам Бродского, «...смело входили в чужие столицы, /но возвращались в страхе в свою», много чего на своём веку повидавшие пенсионеры и молодёжь, во всякие дни желающая перемен. Кто-то на самом высоком партийном верху придумал развернуть молодёжь с её незрелыми желаниями лицом к себе – провести в Москве грандиозный Всемирный фестиваль молодёжи и студентов из всех что ни на есть обитаемых стран Земли. Устроить праздник демократической молодёжи, социально близкой нашему трудовому народу, неустанно строящему коммунизм. Вперёд, заре навстречу!

В жарком июле 1957 в Белокаменную должны были нахлынуть со всех концов света тридцать пять тысяч молодых, но вполне половозрелых заграничных гостей - белых, жёлтых и совершенно чёрных, о каких московские девушки в лучшем случае читали в приключенческих книжках. Тут невредно отметить, что до дня открытия Фестиваля советские юноши и барышни, помимо специально отобранных и профессионально проинструктированных особей, были лишены возможности общаться с иностранцами – контакт с ними без какой-либо веской причины расценивался надзорными органами как подозрительное поведение и был, строго говоря, под запретом. Так да здравствует же запретный плод, сдвинувший историю с мёртвой точки! Да здравствует любознательная Ева, чудесно вылупившаяся из Адамова ребра! Наконец-то, и у нас «С «нет» /Снят крепкозапястной рукою запрет». Контакт и мир! Летите, голуби, летите!

И кто бы мог предположить, что две недели почти бесконтрольных международных гулянок и контактов можно будет задним числом уподобить удару западного колуна по берёзовому полену! Дружеский контакт привёл к идеологической трещине. В Москве появились и шибко поползли по стране такие чуждые советскому человеку, враждебные явления, как рок-н-ролл, джинсы, американский джаз на дисках-гигантах, фарцовка и даже торговля валютой. Коротко говоря, низкопоклонство перед Западом! Тут впору кричать «караул»... И это уже не говоря о том, что за две недели дружбы биологическая активность общества невиданно возросла, и девять месяцев спустя количество матерей-одиночек увеличилось скачкообразно. Молодо-зелено, тем более летом!

Всю весну 57-го в Москве только и было разговоров, что о приближающемся Фестивале. Мне было 19 лет, по возрасту я подходил к празднику и нетерпеливо ждал его прихода: израильская делегация должна была приехать, и я всеми правдами и неправдами намеревался пообщаться с «живыми», а не «книжными» израильтянами. Вернувшись из ссылки, из кишлака Кармакчи, огрубевшим подростком, я твёрдо знал, что жить в России не стану – доберусь до Израиля. Я строил дерзкие планы побега через границу, один другого фантастичней, и сочинял слабые стихи: «Ну, а если погибну в пути, /Упаду головою вперёд - /Хоть на шаг буду ближе к тебе, /О, Израиль!» Я понимал, что израильтяне не увезут меня с собой на родину в чемодане – однако встретиться с ними, увидеть их своими глазами стало для меня сверхзадачей.

Но... Такое «но», не всякий раз попадая под колесо, встречается, тем не менее, не реже и не чаще, чем предназначено. За две недели до открытия Фестиваля я получил телеграмму из Грузии: меня приглашали срочно приехать в Тбилиси переводить стихи грузинских поэтов на русский язык - начиналась подготовка к Декаде грузинской литературы и искусства в Москве. Это было более чем серьёзно, это стало бы второй важной работой в моей жизни – первой была игра на музыкальных тарелках в кладбищенском оркестрике, в ссылке. Нетрудно догадаться, что та игра была продиктована не любовью к музыке, а пропитания ради... Теперь, четыре года спустя, я обязан был принять решение: остаться в Москве и искать встречи с израильтянами – или ехать в Грузию, работать. Я выбрал, скрипя зубами: ехать. Пожалуй, я был прав: та поездка и та

работа, во многом, определили мою дальнейшую литературную жизнь. Там, в лавровой Грузии, впервые в моей жизни я сочинил рассказец «На горе» - шаткий, как молочный зуб в ребячьей десне. К счастью, рассказец этот потом где-то затерялся и пропал.

Второе важное решение было напрямую связано с отказом. 22 мая 1972 в Москву должен был прибыть с официальным визитом президент США Ричард Никсон, и мы надеялись, что Брежнев сделает дорогому гостю «подарок» - выпустит на свободу нескольких отказников, о которых просили известные американские общественные деятели. В глубине души мы тупо надеялись, что, может, и нас самих не обойдёт «монаршая милость», и мы вырвемся на волю.

Но – опять это «но»! – за неделю до приезда Никсона семеро из нас получили мобилизационные повестки из военкомата, куда мы должны были явиться немедленно. Евреев призывного возраста среди нас не значилось – мне было уже за 30, к тому же я подлежал призыву только в военное время, к тому же война тоже, вроде бы, не грозила нашему государству рабочих и крестьян – значит, нас решили «забрить», чтобы мы ничего не устроили во время пребывания американского президента в Москве для привлечения его внимания: демонстрацию с плакатом, пикет или голодовку.

Мы, все семеро, перезвонились и встретились, чтобы обсудить ситуацию. Никто из нас являться в военкомат даже и не думал – один день в армии мог означать секретный допуск и последующий трёхгодичный запрет на выезд из СССР. О гуманитарном «подарке» высокому гостю можно было с горечью забыть. Оставалось думать о том, как спастись.

Строго говоря, в отказе мы только то и делали, что спасались от Софьи Власьевны: старались держаться от неё чем подальше и особо не высовываться, а она копила на нас обиду за наше своевольное поведение и хотела обязательно с нами расправиться: посадить, например, за изучение иврита в домашнем кружке без налогового разрешения или, ещё лучше, по организованной случайности вообще сжить со свету. Мы такие перспективы не упускали из вида и предохранялись, как могли... Но история с американским гостем выбивалась из привычных рамок. Едва открыв армейскую повестку, я решил бесповоротно: из Москвы скрыться. Этот вариант – а других

у меня и не возникало – я предложил на нашей экстренной встрече шестерым моим товарищам, которых, как и меня, так недоставало в рядах советской армии. Не все со мной согласились: один хотел публично сжечь повестку перед военкоматом, другой звал нас выйти на коллективный протест на Красную площадь, третий готов был сесть за решётку, чтобы демонстративно соблюдать там религиозные законы: по субботам не работать, кормиться только кошерным. Два еврея – три мнения... Я стоял на своём: ложусь на дно. Своё я уже отсидел, больше не хочу.

Сам не знаю, почему выбрал Вышний Волочёк – может, оттого, что название понравилось. Я отправлялся в «побег» без всякого подъёма – не любовь к странствиям меня гнала взащей, а мерзкие обстоятельства. Цель моя была ясна, как надраенный пятак: укрыться от «ярого ока» власти, переждать в глуши визит американца.

В сыскных возможностях Софьи Власьевны я ничуть не сомневался: не какой-то там ревизор едет к нам, а Ричард Никсон, и еврейских антисоветчиков могли выследить и поймать на аэродроме, на вокзале или хоть в речном порту Химки. Поэтому ноги надо было уносить незаметно, не оставляя следов. Из Москвы я выбрался на переполненном пригородном автобусе – подмосковные жители возвращались по домам, нагруженные добытой в столице варёной колбасой и белым хлебом. В пригороде я пересел на другой автобус, доехал до железной дороги, ночью сел в пассажирский поезд и туманным утром вышел на станции Вышний Волочёк.

Волочёк оказался заштатным одноэтажным городишкой, милым своей живой тишиной. Сходство с «Русской Венецией» тут нигде не проглядывало, зато привокзальное отделение милиции функционировало исправно. Это обстоятельство настораживало – раз открыто на путях, значит, есть и в городе - и я, долго не думая, зашагал лёгким шагом на автовокзал, сел в раздолбанный на просёлочных дорогах автобус и поехал, куда глаза глядят. Минут через сорок удалой тряски за окошком открылась высланная глинистой пылью деревенская площадь, редко обставленная приземистыми бревенчатыми избушками, крытыми шифером, а то и почерневшей соломой. На краю площади стояла порожняя телега, запряжённая лошадьёю. В передке телеги помещался, сгорбившись, мужик средних лет, в серой телогрейке – то ли ждал кого, то ли отдыхал на

солнышке. На подъехавший автобус он не обратил внимания.

Безмятежность отдыхающего мне пришлось по вкусу: сразу видно, мужик этот основательный и сам по себе; на окружающий мир он плевать хотел. Побольше бы таких на советской Руси, и никакой Никсон тут бы нипочём... Подхватив свою клеёнчатую сумочку с самым необходимым в бегах, я сошёл с автобуса и, никуда не спеша, зашагал по площади упругим вольным шагом – мимо мужика в телеге и древесного деревенского жилья, увязшего в лопухах, репье и другой подсобной траве. Улочка была сказочно безлюдна, только однажды её перешла тётка с кривым коромыслом через плечо; тяжёлые вёдра покачивались под ним, как серебристые бутоны. Ощущение безопасности господствовало между застиранным северным небом и зелёной землёй.

На окраине деревни, у опушки леса, я набрёл на заасфальтированную танцплощадку. Из репродуктора на столбе выкатывались волны музыки, две краснорозие молодухи, не вполне трезвые, обхватив друг дружку, кружились в вальсе по серому кругу. К музыкальному столбу было приколочено уведомление: «Для отдыхающих профсоюзного д/о «Трамвайщик». Значит, эти двое из профсоюзного дома отдыха. Клёвое местечко, лучше не придумаешь! Все пьяные! Ну и правильно... Там, если укрыться, сам чёрт не найдёт.

- Девчата! – позвал я, не входя в круг. – В дом отдыха как пройти?

- А ты к нам? – девушки остановились, глядели дружелюбно. – Тут рядом! Вон по тропке иди через лесок, сам увидишь.

Тропка вела через березняк, взбегала на пологий взлобок. Сверху открывался вид, от которого захватывало дух. В неширокой долине под пригорком, в песчаных берегах, лежало на спине озерцо, словно бы обтянутое синей маслянистой кожей. Густой ельник обступал смиренные берега озера, на дальней стороне которого выглядывал из-за ёлок белый домик с дымком над крышей. На фоне тёмной хвойной зелени домик казался ёлочной игрушкой, опущенной с неба на серебряном шнурке печного дыма. И благословенная тишь царила в мире... Стоя на пригорке, со своей беженской сумкой в руке, я вдруг почувствовал себя природной частью этого русского пейзажа, как будто здесь явился я на Божий свет, и нет нигде Москвы, и

никакого Никсона нет, и советской армии, куда меня обязательно хотят забрать, нет и в помине. А есть озерцо в долине, домик и лес, и моя странная принадлежность к этой писаной русской красоте. Со своего места на взлобке, будто с деревянной дачной веранды, я всматривался в неё повлажневшими глазами и, к изумлению своему, ощущал вкус вишнёвого варенья на губах.

Кто это заметил: «Ничто в мире не исчезает и не возникает вновь. Всё видоизменяется»? Вот и этот вид с холма, отпечатавшись в моей памяти, много-много лет спустя видоизменился и нашёл своё место в рассказе «Белая жара»: «Озеро лежало в ногах дачной времянки. С рассветом, к пяти, сонные птицы начинали свои переговоры, а поверхность озера под пробным порывом ветра приходила в зыбкое движение: мелкие волны бежали строем в затылок друг другу и, добравшись до берега, ложились в песок. Другой берег, неблизкий, но хорошо различимый, густо зарос сосняком; деревья подступали к самой воде, игольчатые круглые кроны сплетались в чёрный навес.

Озеро, лес, времянка со счастливой начинкой. Клава Фёфёлкина ещё спала на дощатом топчане, а Лёва, поднявшись первым, вышел на волю и, глядя через озеро на лес, вспоминал добрую ночь. Ему не хотелось думать о Москве, да и лень было; жирок лени опушал события последних дней. Новый день народился сейчас на его глазах, день другого времени: не нужно было никуда ехать, не нужно было озираться по сторонам и прятать лицо за газетой. Всё это осталось в старом времени, в Москве; а здесь нет ни троллейбуса, ни газеты. Озеро здесь есть, лес и времяночка, тёмно-пёстрая, как перепелиное яичко. И славная простецкая Клава с яблочным дыханием, долготерпеливая и почему-то благодарная».

За бутылку коньяка «Арарат» меня без лишних слов пустили пожить в дом отдыха трамвайщиков - поселили в восьмиместную палату, полную храпа и похмельного бормотанья. Выждав два дня после триумфального отъезда Никсона, я вернулся в Москву; никто меня там не ждал и не ловил, армия утратила ко мне всякий интерес.

Судьба моих семерых товарищей по отказу сложилась иначе. Один, действительно, сжёг повестку и пошёл под суд за порчу государственных документов, другого посадили в дурдом на четыре месяца. Мой приятель Женя, пытавшийся скрыться на собственных «жигулях», был

задержан на выезде из города, отправлен в воинскую часть на Крайний Север, а после увольнения получил, по всем правилам, три года секретности. Но это ещё, можно сказать, был подарок: после службы на ракетодроме Байконур демобилизованный солдатик становился невыездным аж на пятнадцать лет.

Публикации Архива русско-израильской литературы
Бар-Иланского университета

Михаил Юдсон

«Остатки»

Составление и примечания Романа Кацмана

Мы продолжаем публикацию фрагментов, сохранившихся в архиве Михаила Исааковича Юдсона (1956-2019) в конверте под названием «Остатки». Предыдущие публикации см. в №№ 14-20.

*

А Тройка-Русь всё к топору несется! Амень. Печально-с. Далее — молчанье.

*

Добрый плантатор Обама и комолая корова Европа подведут нас всех под минарет! Хотя некоторые любят минаретовку...

-

У физика-философа Эдика Бормашенко ханукия со свечами стоит на томах «Математической физики» и «Физической энциклопедии».

*

У Лескова в «Очарованном страннике» дивно сказано про ностальгию по России: «Глубине тоски дна нет».

-

У Пилата ума палата, а Иешуа не ушел далеко от своего И-а.

-

Про Хераскова: «Правильное производство слов, пристойное их сочетание и употребление в высоком слоге».

-

Как Хераскова хвалили: «Богатство мыслей и обилие уподоблений».

*

Эти их игрища-судилища, штуки! Воланд, Коровьев, Пилат (Бегемот) — ВКП (б)...

-

Чалдонская вежливость, изысканность кержака, джентельменский набор: «А чо, бывает!..»

-

2/3 территории России — вечная мерзлота.

-

Курил одну лишь травку и с музами дружил.

*

«В России два проводника: язык до Киева, перо до Шлиссельбурга» (М. Лунин, декабрист).

-

Астроном-эмигрант Тихо Браге говаривал: «Мое отечество всюду, где видны звезды». Шестиконечные!..

-

Как декабрист Михаил Лунин скучал в Сибири: «Здесь нет опасности. В челноке переплываю Ангару; но волны ее спокойны. В лесах встречаю разбойников; они просят подаяния».

*

«Нецах Исраэль» — вечность Израиля. А ведь в немцах пожили, и в русских — и сохранились! Наособе, избранно...

-

И у Стругацких в «Трудно быть богом» начальное влюбленное «О, Анка!», а дальше образуется дона Окана. Всё бабы!..

-

Пришли на день рождения поэта Голкова. Пришли — а стол пустой, шаром покати (таков Голков!). Хозяин сидел, сидел и воскликнул: «А хорошо, что нет еды!».

А хорошо, что нет еды —
Так говорят у нас жида
В свой день рожденья,
Но любят выпить-закусить,
А между делом и сложить
Стихотворенье.

*

Был такой Авраам Высоцкий — писал по-русски романы в Тель-Авиве 20-х годов. У него есть «завертевшийся человек».

-

В Танахе сказано, что жизнь — уходящая тень, но не от дерева или башни, а от летящей птицы — и тень исчезнет, птица улетит — ничего не останется.

-

Это у Чехова в письмах (про Плещеева): «Молятся как на икону, которая стара и висела когда-то рядом с чудотворными». Как писал один корнеплод с желтыми цветками...

*

«Лучше будь чужой добрый, неже свой непотребный», — писал Петр Первый царевичу Алексею, лишая того наследства.

-

«Я нищ наблюдательностью текущего и несколько общ» (Чехов — Лейкину).

-

Если все время вариться в собственном соку, то станешь студнем.

-

Все эти дурацкие штучки, котобегемотные коровьевы лепешки...

*

«Эмиграция отчасти похожа на собственные похороны, — писал Аксенов. — Правда, после похорон вегетативная нервная система все-таки успокаивается».

-

Все израильские политические дразги и потуги — это переставления, как говорится, шезлонгов на палубе «Титаника».

-

Когда-то Маньчжурию (Харбин) называли Желтороссия. Русский язык везде выживет!..

-

«Сильно окошкодохлилась» (Чехов, письма). Про женское старение...

*

В Торе сказано о семействе Израилевом, сошедшем в Египет: «...и сыны Берии: Хевер и Малкиэль».

-
Мой дядя самых честных правил, передо мной явился ты
и уважать себя заставил, как гений чистой красоты.

-
Был такой в Петербурге в конце XIX в. еврейский журнал
на русском языке «Восход» (25 лет выходил!). Назывался
журнал: «Учено-литературный и политический». Сионисты
начальные! Мечты, мечты! Халат—диван—Израиль!

*
«В августе 44-го» («Момент истины») Богомолова — это
блестящая книга про войну (как Симонов сказал — «это не
про контрразведку, это про военную бюрократическую
машину»), но по мне это — «Иван-2». В «Иване» мальчик-
разведчик, боевая машина, заряженная ненавистью. И
Иван Григорьевич Мищенко, в 14 лет (в 1919 г.) увезенный
папой-есаулом в Маньчжурию — это выросший Иван, тот
же совершенный боевой механизм, «заряженный
ненавистью».

*
Оскар Уайльд про свою поэму «Сфинкс» — «доступное
избранным». Он хотел отпечатать всего три экземпляра:
«один для себя, один для Британского музея и один — для
улады Небес». Правда по поводу Британского музея у него
все же были сомнения...

-
У Дэна Симмонса в «Гиперионе» космолет садится
«плавно, как пивная кружка по мокрой стойке».
Американская фантастика!..

*
Джеймс Джойс о «Поминках по Финнегану»: это текст «для
идеального читателя с идеальной бессонницей».

-
Цветаева из эмиграции (Берлин, 1922 г.) пишет
Пастернаку: «Здесь очень хорошо жить... Можно совсем
без людей. Немножко как на том свете...»

Актриса

В августе шестьдесят восьмого советские танки подошли к границе Чехословакии. Грохот гусениц мы слышали тихой закарпатской ночью в пионерском лагере посёлка Свалява. Но разве нам было до этого? Было нам по пятнадцать, и это оказалось летом влюбленностей под шепот шоколадных крыльев бабочек, одурманивающих запахов хвои, прозрачных ягод белой черешни и конфет «Чернослив в шоколаде».

Там я и приобрела Наташку. Это была любовь с первого взгляда. Она стояла высоко на балконе, в расклешенных джинсах-самострок, которые на ней выглядели как фирменные, и в синей штапельной с высоким воротом блузке в редкую белую полоску. Хриповатым своим голосом с милым малоросским акцентом она приветствовала новеньких, и повязанный у ворота модный галстук из той же блузочной ткани кивал, покачиваясь на ветру. Смуглая матовая кожа загадочно отсвечивала чем-то розовым, горели на закате густые волосы и белели не очень ровные зубы.

На ночь она надела атласную пижаму, утром переделалась в замечательно-заграничный короткий комбинезон, и в пять, после ужина я уже следила за ней неотрывно, боясь пропустить новое перевоплощение. Всё было сшито по последней моде из польских, чешских журналов, или куплено на львовском толчке. Так в Москве вообще никто не одевался, даже мои одноклассники, дети выездной номенклатуры.

Всё в Наташке было особенное: и то, что она чистила зубы зубным порошком с содой, и то, что полоскала волосы каким-то специальным раствором, после чего долго пахла лавандой и укропом, и то, что всё время улыбалась без причины. После моих московских одноклассниц — смурных и потливых, закованных в коричневые формы с чёрными фартуками — она казалась мне заграничной штучкой, свободной певчей птицей с бирюзовыми переливчатыми перьями. Нет, петь она не пела, вернее, горланила как бы в шутку только одну украинскую песню «на камені ноги мию...», зато тараторила без конца, рассказывая

невероятные истории. Все истории сводились к тому, что ей суждено стать актрисой.

«Все Волынские были певцы и актёры. Куда же от этого денешься...», — громко и театрально вздыхала она. Так обычно заканчивался рассказ про папашу, который был изгнан бабушкой из семьи из-за распутного образа жизни и низкого заработка. Наташка постоянно рассказывала папину историю и всегда романтизировала, каждый следующий раз добавляла все новые детали, пришептывала, закатывала глаза, сворачивала губы дудочкой.

Старший Волынский был, как теперь говорят, плейбоем, и служил каким-то младшим офицером в танковой дивизии. Там он руководил хором, играл на аккордеоне и пел. Его знали многие женщины Львова. Когда наша вожатая, желеобразная ленивая тётка, узнала, что Наташка - дочка того самого Волынского, то плотоядно улыбнулась и почему-то стала рассказывать нам, девчонкам, как у кого-то там обнаружили в том самом месте какие-то мандавошки.

Борис Волынский родился в Польше на границе с Чехословакией, в семье богатых евреев. Его дядья были оперными певцами, многие в семье музицировали, пели и играли в театрах. Когда пришли немцы, четырнадцатилетнему Борису, единственному из всей семьи, удалось скрыться. Он как-то добрался до советских и остался с ними — сначала отступал, потом наступал. Сыном полка, запевалой, а потом и сержантом. Добрался до Львова, бывшего польского Лемберга, и там понял, что в Чехословакию ему возвращаться незачем. Ничего не осталось, никого нет.

От непутевого красавца папаши получила Наташа свою красоту и чёткое осознание своего предназначения — она обязательно будет актрисой, в этом ни у кого не было сомнений. Особенно у бабушки Ядвиги, суровой, немногословной женщины с военной выправкой. У бабушки, которая стала одновременно и дедушкой, и папой, и воспитательницей и домоправительницей, было трое «детей» — хрупкая Наташка, прозрачный брат ее, Сережа, и их ангелоподобная мама Эльвина. Мамино имя прямо в точку — она была похожа на Мальвину из сказки, и как будто всё время ждала, чтобы кто-нибудь её спас.

Мужеподобная бабушка зорко следила за здоровьем, диетой и внешним видом членов семьи, всех своих

«детей», в число которых до изгнания входил и папаша. Она даже скопила немалую сумму на преподавателя вокала для него, но он не оправдал её надежд. Теперь все чаяния были направлены на Наташеньку. Самодельные натуральные кремы, полоскание волос, отбеливание зубов и регулярное взвешивание, - всё для того, чтобы придать ей наилучший товарный вид при поступлении в московский театральный вуз. Она спала на жестком, то есть на досках. Говорили, что у неё очень серьезное искривление позвоночника, и вообще, такая практика необходима для хорошей осанки.

Время расцвести ещё было — до поступления оставалось два года. И все эти два года мы с ней были неразлучны: десятки писем с нарисованными цветочками и сердечками, телефонные звонки, даже телеграммы «привет тчк приезжай тчк жду тчк». Я хранила её письма десять лет. Даже сейчас могу представить её почерк. Она писала мне, кто на неё посмотрел и что подарил, что сказала бабушка, чем болеет брат Серёжа, и сетовала, что опять нет горячей воды. И, конечно же, мы делились переживаниями, которые тогда казались драмами и даже трагедиями, посвящали друг друга в тайны первых влюблённостей. Каждое её письмо заканчивалось пожеланием поскорее приехать в Москву и стать актрисой, а также непременно тремя жирными восклицательными знаками.

Был ли у нее талант? Она-то сама была в этом уверена. Не сомневался в этом и руководитель самодеятельного театра, то ли Фишер, то ли Гольдберг, влюблённый в неё по уши. Он думал, что Наташе прямой путь в театральный институт, там она превратится в большую актрису. Она, конечно, забудет Фишера/Гольдберга, но зато его будет греть мысль, что это он её открыл. Может, когда-нибудь знаменитая актриса Наталья Волынская упомянет львовский самодеятельный театр и его, режиссёра.

Два года подготовки к поступлению бабушка выказывала чудеса экономии и копила деньги с особым рвением. Девочку надо было одеть как следует, чтобы ни в чем не нуждалась и не попала бы в плохую компанию. По поводу того, что необходимо беречь «девичью честь», бабушка твердила с малолетства, и для Наташи это была главная заповедь.

И вот сидит моя подруга на моей кухне и тараторит — рассказывает, кто курил с ней во дворе Щукинского, как одна старуха в приемной комиссии смотрела на её ноги, как

она впала в ступор и забыла конец басни, и как это было мило — строгие экзаменаторы улыбались, и что все в курилке говорят, она уж точно поступит.

А потом, когда никто не оценил её таланта и красоты, ей пришлось снять комнату где-то на выселках. Ну, точь-в-точь как в знаменитом фильме — подработка на почте, уроки сценической речи, зима в лёгких «львовских» ботинках, ангины с осложнениями и потерей голоса, простуды с отвратительными лихорадками на губе, борьба за роли в полуподвальной театральной студии очередного непризнанного гения. Иногда она подолгу жила у меня дома, и бабушка звонила из Львова каждую неделю, несмотря на их скромные бюджеты — гордую нищету. Бабушка просила приглядеть за Наташенькой, и мы всей семьей приглядывали, пока она не находила очередную подругу-мошеницу, поклонницу муз, и та её обязательно обставляла. Я с нетерпением ждала еженедельные сводки о её московских приключениях, сочувствовала, радовалась, отогревала. Особенно любопытны были мне, в мои шестнадцать лет, рассказы о том, как она в очередной раз ускользнула от домогательств очередного влюблённого — ведь она по бабушкиному наказу берегла «девичью честь».

В ту субботу мы собирали Наташку на важное свидание с настоящим актёром. Я с гордостью надела на неё свой кулон — золотая ажурная ракушка, а внутри маленькая жемчужина. На ней был выходной шелковый блузон цвета чайной розы, она благоухала духами «Жди меня», светлая перламутровая помада зазывно блестела на обветренных губах. По Наташкиным словам, тот актёр оценил талант и фактуру львовской девушки-красавицы и обещал познакомиться с нужными людьми.

Около двенадцати хлопнула дверь подъезда, потом тишина. Я побежала открывать, предвкушая ночь увлекательных рассказов, а после — волшебных снов. Наташка стояла, облокотившись о косяк двери — без пальто, розовый блузон разорван наискосок от ворота-стойки до груди, в одной ладони она сжимала цепочку с кулоном-ракушкой, в другой — маленькую жемчужину. Наутро она тихо ушла. Без рассказов, без слёз, без обещаний.

После долгих скитаний по московским углам, череды сомнительных связей и нескольких тщетных попыток поступить в театральный (любой - от «Щуки» до «Щепки») Наташка, подавленная, обманутая и обворованная такими

же неудачницами, как она, только гораздо более ушлыми и бессовестными, вернулась во Львов. У бабушки и мамы она отогрелась, отъелась, и некоторое время питала душу воспоминаниями о том, как любила актера Хмельницкого, как однажды он обратил на нее внимание, когда мы с ней ждали его у актерского подъезда после спектакля Театра на Таганке.

Место рядом с Фишером-Гинзбургом было уже занято её подружкой, и Наташка вышла за кадрового военного, которых во Львове водилось много. Мужа послали в Египет, он был из «этих», так называемых, военных консультантов. Вот так — мечтала в Москву, в театр, а получилось: в пустыню, в гарнизон. Оттуда она написала мне длинное письмо, что сил нет, пол каменный, холодный, для её здоровья непригодный, жизнь заграничная ничем, кроме покупки нескольких золотых колец и цепочек, не балует. По приезде из заморской командировки семья поселилась в отдельной квартире; родили сына, и Наташка с военным развелась.

Перед моим отъездом из России она специально приехала в Москву прощаться - была непривычно скована и виновато улыбалась. Она протянула мне коробку конфет «Чернослив в шоколаде» и прижалась влажной тёплой щекой.

В начале девяностых мне позвонила приятельница из Еврейского Агентства. Она поведала, что к ней на прием приходила будущая репатриантка, назвалась моей близкой подругой, и очень скоро прибудет в Израиль. И вот Наташка с мамой и с сыном в Иерусалиме. Вместо роскошных, блестящих каштановых волос — дешевые пергидрольные кудряшки, точно такие же, как у мамы. Профессия — мать-одиночка. Работать даже не пыталась. Всё болела, болела... Какими-то загадочными болезнями. Причём каждый раз чем-то разным. Схodu подцепила какого-то худого дядьку турецкого происхождения, довольно солидного возраста, - но не тут то было. Не знала она наших местных евреев. У него жена, дети и дюжина родных и двоюродных. Через две недели она сообщила мне конфиденциальным хриплым голосом, что вместе с турком подцепила какую-то гадость, типа хламидий. Дальше хуже. Наташенька лежала в постели в маленькой комнатке с холодильником и плитой, в хостеле для социальных случаев. Изредка она вылезала, накручивала жёлтые волосы на бигуди и выходила в свет с очередным

ухажёром. Мама заняла место бабушки — бегала по уборкам, вела всё хозяйство, приносила Наташеньке свежие овощи и фрукты с базара. Сын рос в хостеле, среди таких же обездоленных, непристроенных матерей-одиночек, их детей и вечно ворчащих пенсионеров.

А потом случилась большая неприятность — их разоблачили. Готовясь к отъезду, Наташка купила липовые документы — мол, папаша Волынский помер, а мама как вдова имеет право на репатриацию. Денег у них и там совсем не было, вот и купили что-то очень плохого качества. Прошло несколько лет, пока мама смогла получить все права, а я совсем потеряла их из виду. Один раз я позвонила, узнала, что все живы, получили государственную квартиру, сдают одну комнату студентам — «без этого не прожить, ведь я не работаю, болею»; у сына всё хорошо, «отмазался» от армии.

Лет через десять Наташка увидела меня по телевизору и решила, что я важный человек, и пришло время у меня чего-нибудь попросить. Она просила вернуть ватные одеяла, которые ей торжественно выдали в качестве подарка от американских евреев при вселении во временное социальное жильё, а она тогда отдала мне их на хранение. Одеял не было — они долго лежали в моем подвале, подгнили, и я их выбросила. На том и расстались.

Искатели приключений, точнее, искатели новых источников дохода, мы прожили пятнадцать лет в Америке, а перед возвращением решили съездить на традиционное развлечение бывших советских — слёт бардовской песни, который я обозвала «пионерским лагерем». Мачтовые сосны вперемежку с колючим кустарником стерегли зацветшее, почти превратившееся в болото, озеро, редкие стайки комаров, очумевшие от репеллентов разных мастей, нестройные голоса доморощенных менестрелей. Поздно вечером на ярко освещённой сцене появилась смуглая красивая девушка в вышиванке и хрипловатым голосом затянула украинское танго. «Гуцулка Ксеню, я тобі на трембіті...». Я невольно замурлыкала под нос эти слова припева, единственные, которые знала из всей песни. И вдруг поняла, что Наташка поселилась во мне давно и навсегда, что она никогда никуда не уходила, ей было хорошо и спокойно со мной, а мне — радостно и уютно с ней.

«На камені ноги мию», - громко поёт по радио звонкий женский голос. Это в Израиле-то! Наверное, по заявкам

радиослушателей, как говорили раньше; у нас теперь много радиослушателей с очень разными предпочтениями. Я паркую машину на щербатой грязной площадке возле кладбища. Местный опытный попрошайка не решается сразу подойти, заслышав такую музыку. Уже полгода как мы вернулись из Америки, и я ещё не была на папиной могиле. Я всегда смеюсь — надо же, какой папе достался «домик» с видом: высоко на горе, крайний, фронтальный ряд, и оттуда открывается роскошный вид на иерусалимские горы. Справа лежит какая-то Лилечка, одетая в чёрный мрамор, с выгравированной лилией и длинной эпитафией в стихах. А слева, на самом простом стандартном памятнике написано только одно слово «Наташа» и две даты. В стороне от пыльных камней с красными прожилками валяется засохший букетик, перевязанный розовой ленточкой. И ещё цветная фотография, вот удивительно — это у нас уж совсем не принято. Болезненный румянец на смуглой коже, белые- пребелые кривоватые зубы. Улыбается — вот она, я, актриса!

Как я люблю вас, мои денежки

Краков – большой и богатый город. Много в нем обширных площадей, широких улиц, роскошных домов, лавочек, переполненных тем, чего душа пожелает и к чему брюхо льнет. А где богатые, там и бедные. Толкуются перед храмами, снуют по рынку, вымаливают милостыню на каждом углу. Солидному человеку шагу не ступить без того, чтобы чья-нибудь перепачканная рука не ухватила его за полу камзола или сюртука.

В Казимеже, еврейском квартале Кракова, нищих не меньше. Только судьба их куда горче и обиднее польских, украинских и русских оборванцев. Кому подаст поляк, выйдя из костела? Ну, не жиду же? И украинский крестьянин, расторговавшись на рынке, перед тем как зайти в шинок, бросит монету-другую горемыке с крестом на груди, а не с бородой и пейсами.

Поэтому раввины и управление еврейской общины давно обложили дополнительным налогом всех зажиточных людей Казимежа. Каждый был обязан выложить некую сумму, а с общего сбора община покупала продукты, одежду, дрова, лекарства и распределяла среди бедняков. Худо-бедно, но на это воспомоществование можно было протянуть.

Раскошелиться мало кто любит, однако если совет общины решил, деваться некуда. Богачи Казимежа скрипели, но платили, все, кроме одного, весьма и весьма состоятельного купца Шимона.

– Я сам буду решать, кому и за что платить, – решительно отказывался он, выслушивая увещевания членов правления.

– Всевышний посылает тебе деньги для того, чтобы ты делился, – солидно объясняли раввины.

– Всевышний посылает деньги мне, и мне же объясняет, с кем и как делиться, – отвечал Шимон. – Если бы Он захотел дать их вам, не стал бы делать меня посредником.

Увещевания длились не один год, пока вода терпения не испарилась и сосуд лопнул. Шимона вызвали на совет общины и предупредили:

– Если ты не начнешь помогать беднякам, то после смерти «Хевра Кадиша» похоронит тебя на самом бросовом месте кладбища, возле забора. А на твоём могильном камне будет написано: «Тут лежит Шимон-скряга».

– Отлично! – вскричал купец. – Меня это устраивает. Делайте так, как решили.

Пришло время, и скупец вернул душу Всевышнему, так и не опустив в общественную кассу ни одной медной монетки. Наглый ответ раввинам и беспредельное скупердядство сделали его имя нарицательным. И когда у забора появился могильный камень с надписью «тут лежит скряга Шимон», многие сочли это правильным и даже справедливым.

Прошла неделя, другая, минул месяц, и члены совета с величайшим недоумением заметили, что в налаженном механизме общественной помощи беднякам что-то разладилось. Стали искать в чем дело, пошли по цепочке. Первым наткнулись на мясника, он стал жертвовать втрое меньше мяса, чем раньше.

– Что произошло? – спросили члены совета. – С тобой все в порядке?

– Со мной все в полном порядке, – ответил мясник, – просто я больше не могу столько жертвовать.

Такие же слова произнесли и пекарь, и зеленщик, и продавец одежды, и даже дровосек. Правда, будучи человеком простым и неискушенным, дровосек обмолвился, что дал клятву и поэтому обязан молчать.

В темноте непонимания забрезжил тонкий лучик света. На следующий день дровосека вызвали в раввинский суд. Возглавлял его главный раввин Кракова Гершон-Шауль Хеллер, автор знаменитого комментария к Мишне под названием «Тосефет Йом-Тов».

При виде множества раввинов и самого автора «Тосефет Йом-Тов», дровосек смутился и оробел. Услышав постановление суда, что из-за общественной важности дела он полностью освобождается от соблюдения клятвы, он тут же все рассказал.

Выяснилось, что многие-многие годы за дрова для бедняков, которые он жертвовал от своего имени, платил скряга Шимон. С самого начала он потребовал никому не рассказывать об этом, а незадолго до смерти взял с дровосека клятву.

Картина начала проясняться. В суд одного за другим стали приглашать продавца одежды, зеленщика, пекаря, мясника, - и те, будучи освобожденными от клятвы хранить тайну, один за другим слово в слово повторили то, что уже рассказал судьям дровосек.

– Реб Шимон не захотел воспользоваться в этом мире даже крошкой заслуги выполнения заповеди, – подвел итог «Тосефет Йом-Тов», – а предпочел все перенести в мир будущей. Потому решение похоронить его у забора и написать на могильном камне «Шимон-скряга» вполне его устроило. Но как же мы можем показать людям, что он вовсе не скряга, а большой праведник, чьи поступки достойны хвалы и подражания?

Если мы перенесем его прах на самое почетное место кладбища и поставим памятник, подобающий его праведности, тем самым нарушим его волю и перенесем в наш мир часть вознаграждения, чего ребе Шимон не хотел делать. Как же поступить?

Были предложены разные варианты, но, в конце концов «Тосефет Йом-Тов» решил следующим образом:

– Сегодня перед лицом суда я завещаю: когда придет срок, похоронить меня рядом с реб Шимоном. У этого человека огромные заслуги, и лежать рядом с ним большой почет.

Так и поступили. Настал час, и когда «Тосефет Йом-Тов» перешел в мир иной, его похоронили рядом с Шимоном-скрягой. С тех пор, уже почти две сотни лет, все, кто приходит молиться на могиле знаменитого праведника и мудреца, молятся также и за Шимона-скрягу, историю которого рассказывают наряду с деяниями самых больших чудотворцев.

Они до сих пор лежат на старом еврейском кладбище в самом сердце Кракова. И если вы удостоитесь там побывать, не забудьте отыскать место возле забора, где покоятся рядом два великих человека.

После похорон Шимона-скряги прошло пятьдесят или семьдесят лет, уже никто не помнит точной цифры, да она и не важна. История, которую мы сейчас расскажем, внешне никак не связана с этим событием. Но только лишь внешне.

По Широкой, главной улице Казимежа, в полном смятении брел нищий. Вообще-то мало кто ожидает от голодного оборванца хладнокровия и присутствия духа. Обычно такие качества – привилегия благополучных людей,

уверенных в будущем. Но даже для нищего, постоянного пребывающего в растрепанных чувствах, этот был взъерошен по-особенному.

Навстречу ему попался другой нищий, который сразу заподозрил неладное.

– Эй, Хаим, что случилось? На тебе лица нет.

– Ох, Йоси, Йоси, скоро на мне не будет не только лица, а вообще ничего. Я серьезно заболел.

– Всевышний дал врачам право лечить. Иди к ним.

– Был, и даже получил рецепт на микстуру. Врач сказал, очень сильное средство, должно помочь.

– Ну, вот и славно, пей лекарство и будь здоров!

– Все, да не все. Лекарство стоит двенадцать злотых, а у меня только девять. И те не мои, наскреб со всех знакомых, в ногах валялся, слезы горькие лил, чтобы пожалели и дали. Больше просить не у кого, а на лекарство все равно не хватает!

В кармане у Йоси лежали как раз три злотых. Деньги, для нормального человека небольшие, но для нищего вполне приличная сумма. Как и где он их раздобыл история умалчивает, но, услышав жалобу Хаима, Йоси без долгих раздумий сунул руку в карман и отдал деньги товарищу.

Рассказывать о своем поступке он не стал, подумаешь, три злотых, кого удивит таким пожертвованием?! Да и пожертвованием, честно говоря, назвать трудно, в глазах большинства людей уж больно незначительная цифра. Йоси просто промолчал, выкрутился как-то из образовавшейся денежной нехватки, и зажил дальше, забыв о случившемся. Хаим купил лекарство, вовремя принял его и полностью вылечился.

Вот, собственно, и конец истории. Никто бы не вспомнил о незначительном поступке мелкого жертвования, если бы он не получил неожиданного продолжения.

Спустя несколько лет заболел один из мудрецов Казимежа. Уважаемый раввин, наставник многих, человек скромный и скрупулезный. Надо ли объяснять, что подобного рода качества никак не сочетаются с материальным достатком. Вопрос, который действительно хочется задать: почему болеют такие люди? Но кому его задашь, и кто вообще способен дать исчерпывающий ответ - кроме Того, Кто Сам и посылает эти хворобы?

Спасти мудреца могла только очень сложная операция. В Краковском университете преподавал медицину многоопытный и умелый лекарь, который делал такие операции. Брал он дорого, весьма дорого, триста злотых. У мудреца не было и десятой части этой суммы, поэтому евреи

Казимежа решили помочь. Попросили двух самых красноречивых шнореров – собирателей пожертвований – пройти по богачам квартала и уговорить каждого дать немного для спасения жизни мудреца.

Шнореры взялись за дело. К величайшему их удивлению первый же богач, некий реб Лейб, живший на Широкой напротив синагоги Рамо, то есть в месте уже говорящем о достатке и благополучии, сказал им:

– Я сэкономлю вам труды. Сколько стоит операция? Триста злотых? Что такое триста злотых против жизни святого раввина? Вот вам деньги, и пусть он поспешит начать лечение.

Операция прошла успешно, мудрец выздоровел и еще много лет служил Всевышнему, наставляя Его народ. А весь Казимеж несколько дней говорил о щедрости реб Лейба, широте его души, и его великой заслуге спасения жизни человеческой. Но потом и это забылось, стихло, стерлось в памяти, потихоньку погружаясь в мягкую тину забвения.

Спустя год после тех событий приснился реб Лейбу сон. Явственный, четкий, словно и не сон, а явь, причем более реальная, чем настоящая жизнь.

Во сне поднялся реб Лейб на Небеса и оказался у врат в Ган-Эден, рай. Перед воротами стоял серебряный стол, на нем лежала золотая книга. Белый, точно вылепленный из снега ангел перелистывал книгу, то и дело слюнявя указательный палец.

– Что это за книга, – спросил реб Лейб, – и почему она золотая?

Ангел не удивился ни вопросу, ни самому появлению на Небесах реб Лейба, а спокойно ответил:

– Сюда вписаны имена тех, кто удостоился своими руками или с помощью своего имущества спасти жизнь другого человека. Для них врата в Ган-Эден открываются сами собой, без моего вмешательства.

– А можно поглядеть, нет ли в этой книге моего имени? – робко спросил реб Лейб.

– Разумеется, можно, – ответил ангел, сплюнул на палец и принялся быстро перелистывать страницы.

«Вот незадача, я же забыл сказать, как меня зовут», – подумал реб Лейб.

– Вы на Небесах, дорогой реб Лейб, – не поднимая головы, произнес ангел. – Помните об этом.

«Вот черт, то есть Бог, – дернулся реб Лейб. – Действительно, зачем ангелу мои подсказки?»

– Нашел! – воскликнул ангел. – Полюбуйтесь.

Он повернул книгу и жестом пригласил подойти ближе. Реб Лейб осторожно придвинулся почти вплотную к столу – ах годы, ох глаза! – и с трепетом посмотрел.

На золотой странице крупным ровным почерком дорогого сойфера-писца были выведены в столбик имена. Буквы самого верхнего имени светились так, словно были написаны не чернилами, а огнем. Свое имя Лейб нашел в середине столбика и с облегчением перевел дух.

– А кто этот, самый первый? – спросил он, указывая на светящиеся буквы.

– Это нищий реб Йоси. Он пожертвовал другому нищему Хаиму три злотых, которых тому не хватало для покупки лекарства. Хаим купил микстуру, выпил и выздоровел.

– М-м-м, – в недоумении промычал реб Лейб. – Вы позволите задать еще один вопрос?

– Да сколько угодно, – ответил ангел. – Я вижу, сегодня ваше любопытство пребывает в неплохой форме.

– Почему имя этого реб Йоси светится, ведь он пожертвовал всего лишь три злотых.

– Вы хотите спросить, – уточнил ангел, – почему не светится ваше имя? Вы ведь тоже спасли человека, но пожертвовали в десять раз больше.

– Ну-у-у, в общем-то, да, именно это я и хотел спросить, – признался реб Лейб.

– Поступок реб Йоси остался в неизвестности, а о вашем говорил весь Казимеж. И вам это было очень приятно, и грело ваше самолюбие, и тешило вашу гордость.

– Совсе нет, я совсем...

– Вы на Небесах, уважаемый, – оборвал его ангел. – Помните об этом.

Реб Лейб сник, понурился, опустил голову долу.

– Жаловаться не на что, – продолжил ангел. – Большую часть награды за свой поступок вы уже получили.

– Но я ведь не предполагал, я не думал...



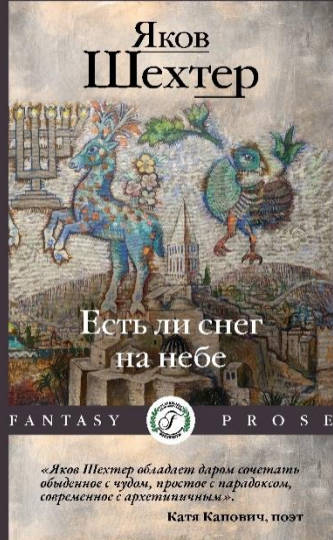
– Если бы вы подумали, то попросили бы шнореров сохранить все в тайне. Это первое. А второе: триста злотых для вас пустяк, безделица. Зато для реб Йоси три злотых были все его деньги на тот момент. Деньги, на которые он должен был поесть сам и принести еду домой. И тем не менее, он их отдал, да еще ни слова не промолвил. Поэтому его имя первое в списке и сияет Божественным светом, а ваше только в середине.

Реб Лейб тяжело вздохнул.

– Не вздыхайте, не вздыхайте уважаемый, – произнес ангел. – Сколько людей отдали бы все на свете, чтобы оказаться даже в самом конце этого списка. А вы уже там, вписаны на

золотую страницу, и вычеркнуть ваше имя из неё никому не под силу.

Реб Лейб проснулся в холодном поту. Долго не мог прийти в себя, постился до вечера, пожертвовал большую сумму на сиротский дом, сделав это в полной тайне, через подставных лиц. А на следующий день, успокоившись, решил записать эту историю. Чтоб послужила она наставлением не только его детям и внукам, но и многим другим людям.

	<p>Яков Шехтер родился в Одессе, окончил два института в Сибири, с 1987 живет в Израиле. Главный редактор литературного журнала «Артиски», член международного Шеп-клуба. Шехтер занимал различные места в интернет-доказательных форумах «Гейбл», «Сетевой дождь», стал лауреатом премии нон-Ю. На Ближнем Востоке Шехтер обладает непревзойденным талантом рассказчика. Его часто называют израильским Пирландом Антониониным. Чем чаще приглашается рассказывать, тем чаще приходит мысль писать. Прежде всего тем, что это вымышленные истории. Но главное – в каждой из них есть происшествие за пологом, раздвинутой действительностью и скрытому, скрывающей чудесный механизм управления миром.</p>	<p>Яков Шехтер</p> <p>Есть ли снег на небе</p> 	 <p>Яков Шехтер</p> <p>Есть ли снег на небе</p> <p>FANTASY PROSE</p> <p>«Яков Шехтер обладает даром сочетать обыденное с чудом, простое с парадоксом, современное с архетипичным.»</p> <p>Кати Капович, поэт</p>
<p>«За два десятилетия собралась фольклора мне до сих пор услышать множество удивительных историй. Я хранила их, точно скреси, собирая и златые монеты, ведь сюжетны, сюжетные жизни, иногда приходящие самой страшной аидеикой.</p> <p>Чудные, удивительные, странные происшествия, случившиеся с праведниками и разбойниками, богачами, и бедняками, учеными и неучеными, которыми все ширину света достоятели — от жидов, являясь любовником до абсолютной правды. Есть странные документальные истории с уникальными конкретными имен и точными географическими подробностями, есть мало значительные, есть притчи, и мемуары, и анекдоты.</p> <p>Подобно скучному рыцарю, я далеко не мог с вами расстаться, люблю в одиночестве при свете переплетенного фактала их дневным биском, но после давних каменных востраки ретинья распахнуто сундуку и выпалить символические сокровища на всеобщее обозрение».</p> <p>Яков Шехтер</p>			

В импринте «FLAUBERIUM» в серии «FANTASY PROSE» вышла книга Якова Шехтера «Есть ли снег на небе». Ее составили рассказы про чудеса, случившиеся с праведниками и разбойниками, богачами и бедняками, учеными и неучеными в России, Белоруссии, Украине, Польше, Америке, на Святой Земле. Два десятилетия писатель собирал еврейский фольклор, ему довелось услышать такие истории, в которых, помимо занимательности, есть проникновение в тайную сторону жизни, скрывающую чудесный механизм управления миром. Поэтому рассказы Я. Шехтера отражают не только философский, этнографический и житейский опыт, но и мистические грани нашей реальности.

ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ СЕГОДНЯ

Раве Саги

В автобусе

Ты очень устал, добравшись до центральной автостанции, а нужно ещё дождаться автобуса, чтобы поехать повидать дочек. Так устал, что мечтаешь только об одном – чтобы автобус уже подъехал, ты бы уселся у окна, прислонил голову к стеклу и часок поспал, но это вряд ли удастся: салон, как обычно, наполнен гремящей музыкой и громкими разговорами. Всё – в мире больше нет места для уединения. Тебя кажется странным, что окружающие тебя в автобусе люди держат в руках аппараты сотовой связи, стоимость которых выше цены той машины, что была у тебя, над которой всё время смеялись дочери, той старой, в которой не было даже кондиционера, и которую ты клял про себя, но вслух ничего не говорил, чтобы не проговориться, что и эту развалюху ты более не можешь содержать.

Ты голоден. Густые запахи жарящейся снеди из кафешек в здании автостанции заставляют желудок выделять сок, однако денег у тебя в кармане только на билет в один конец. Деньги на дорогу обратно ты думаешь попросить у бывшей жены или опять взять из жестяной баночки, что возле кровати дочери. Но себе ты, конечно, клянёшься, что вернёшь их при первой же возможности, сразу, как только сможешь. Хорошо, что дочка не знает, сколько у неё там точно этих шекелей, а если вдруг нехватка обнаружится, то, скорее всего, вину возложат не на тебя, а на приходящую уборщицу.

Когда автобус наконец подходит, ты оказываешься затёрт в очереди между солдатами, молодыми туристами и такими же как ты сам жалкими неудачниками, и ты пахнешь как они – проигравшие сражение с жизнью.

Войдя в автобус, ты ищешь место, и тут она зовёт тебя, машет рукой из конца салона. Твоя мать. Она едет в центр города и случайно заняла для тебя место, а ведь по

четвергам этот маршрут всегда переполнен, и многие стоят в проходе всю дорогу. Ты проталкиваешься к ней, и она говорит: «Смотри, как получилось – уже месяца два я не вижу и не слышу тебя, и вот ты вдруг здесь, я едва узнала тебя, то есть, смотрю – кто-то знакомый, но сначала не могла поверить, что это ты».

Ты устраиваешься поудобнее на сидении между её сумками и пакетами. Она спрашивает, не голоден ли ты, и вдруг что-то внутри тебя расслабляется, тебе более не нужно защищаться от окружающего мира. Она достаёт для тебя бутерброд с маргарином, сыром и помидорами, и увидев, как моментально ты его сжевал, даёт ещё яблоко и конфету. Ну вот, тебе снова пять, шесть или семь лет. Она берёт твою руку в свои ладони. Ты оглядываешься на окружающих - когда-то ты стеснялся её, а теперь – только себя.

Она говорит, что из еды больше ничего нет, а ты начинаешь бормотать, что нужно было рано встать на работу, а потом сразу мчаться на автовокзал, чтобы успеть на автобус...

Пейзаж за окном меняется на глазах, стоит послеобеденная жара. Её телефон начинает звонить, она суетливо вытаскивает его, три раза почти кричит в него «Алло» перед тем, как решает отключиться. Затем, волнуясь, набирает сообщение подруге, что случайно встретила тебя в автобусе – «Прямо как в кино!». Ты прикидываешь, мог бы быть героем фильма, но понимаешь, что вряд ли, в лучшем случае – персонажем второго плана где-нибудь на заднем фоне...

Ты достаешь книгу, и когда уже было устроился, чтобы почитать, вдруг видишь, что она задремала, по-прежнему сжимая твою руку, как бы забыв про неё. Ты смотришь на спящую и не забираешь свою руку, опасаясь разбудить мать, затем наклоняешься к ней и кладешь голову на её плечо.

Ты знаешь, они же из Абу-Гош...

В прошлый четверг я пошел с моим двоюродным братом Амиром на море. Говорят, что это одно из преимуществ жизни в Яффо: никогда не ездят к морю, а идут, в прямом смысле этого слова, пешком.

Наш путь пересекает шумный из-за движения транспорта Иерусалимский бульвар, там мы останавливаемся купить соленого домашнего сыра и горячих пит, между шаткими прилавками блошиного рынка, где, несмотря на жару, мы задерживаемся, чтобы полюбоваться персидскими коврами, покупать которые не собираемся. У нас конкретная цель – пустынный отрезок берега за старой башней с городскими часами, расположенный в считанных метрах от холма Андромеды и начала улицы Яфет.

Мы спускались по асфальтовой дорожке к прибрежной полосе и еще до того, как увидели море, почувствовали идущий от него запах сточных вод, которые в этом районе Яффо, очевидно, все еще продолжают сбрасывать в море. Мы остановились, глядя на коричневые волны, и громко выругались. Затем, опустив головы, пошли дальше, на север, в сторону набережной. В отличие от естественного в выходные дни обилия людей, сейчас тель-авивское побережье было почти совершенно пустым, и хотя волны, бившиеся о берег там, были волнами того же моря, что и в Яффо, они были гораздо чище. Расстроенные этим открытием, мы уселись под одним из навесов, недалеко от девушки нашего возраста, которая лежала на песке с закрытыми глазами, одна, и уже издали привлекла наше внимание.

Амир расстелил свое белое полотенце на разумном расстоянии – не слишком далеко и достаточно близко, чтобы пофлиртовать, и с этого момента обращался ко мне только на иврите. У молодых яффских арабов есть твердое правило: чтобы произвести впечатление на девушку, а ведь большинство стоящих девушек - еврейки, нельзя при них говорить по-арабски. Слово владение ивритом дает нам какое-то право участвовать в том, чего мы не заслуживаем.

Когда Амир заметил, что девушка на него не реагирует, хотя он говорил намеренно громко, он придвинулся ко мне и зашептал по-арабски, чтобы я взглянул на ее фигуру. Я взглянул, одобрительно ухмыльнулся ему в ответ и уселся возле него на полотенце. Когда мы доставали из сумок бутылки с водой, прибежали трое похожих друг на друга и ужасно шумных детей, которые по-арабски обратились к нашей соседке, захватила ли она что-нибудь поесть. Амир повернул ко мне растерянное лицо:

- Они разговаривали с ней по...

- Я думаю, да... - смутился я.

- Не может быть.

- Что, тебе кажется, что она арабка? – спросил я, а когда повернулся к девушке, увидел, что она улыбается.

Амир обратился к ней, его щеки порозовели:

- Ты арабка?

Она кивнула.

- Мы были уверены, что ты еврейка... - он попытался рассмеяться.

- Я? – удивилась она. – Но это вы говорили на иврите.

Амир промолчал.

- Откуда вы? – спросил я.

- Из Абу-Гош, - ответила она и выпрямилась. Дети, окружившие ее, начали копаться в пакетах, лежавших у ног девушки, и она прикрикнула на малышей, чтобы они прекратили.

- Хотите есть? – спросил Амир и протянул руку к своей сумке. - У нас полно всего. Мы взяли слишком много.

- Нет, нет. Чего это вдруг? – ее лицо вспыхнуло. – Все в порядке, мы сейчас возвращаемся домой.

- В этом нет ничего стыдного, правда, - настаивал он. – Мы – арабы, такие же, как и вы. Если уж не у нас вы возьмете, то у кого?

- У нас действительно все в порядке, - девушка казалась обиженной.

Мы улеглись на своих полотенцах и постарались не глядеть в ее сторону. Она поднялась, поручила одному из детей присмотреть за сумками, сгребла в охапку двух других и направилась в сторону киоска.

Амир заложил руки за голову и сказал, что надеется, что она не слышала, как мы обсуждали ее фигуру. Я рассмеялся и ответил, что это маловероятно, - она ведь была достаточно приветлива с нами, и что в любом случае ему не о чем беспокоиться, поскольку она из Абу-Гош, и

мне трудно предположить, что она готова уйти с моря вместе с ним.

Тем временем перед нами по пляжу прошли продавцы мороженого, которые предлагали и ломтики холодного арбуза, сочные и сладкие. Мы купили пару и снова уселись, чтобы съесть их. Амир взглянул на море и сказал, что здесь чего-то не хватает. Посмотрев южнее в направлении яффского порта и увидев на причале торчавшие старые ржавые прутья арматуры, я понял, что он имеет в виду. На их фоне в ярком полуденном свете сверкали огромные алюминиевые щиты, возвещавшие о "ремонтных работах в Тель-Авиве - Яффо". Под щитами, на камнях, отделявших автостоянку от входа на пляж, кто-то написал черной краской: "Рав Кахане был прав". Я снова посмотрел на Амира и откусил от арбузного ломтя.

- Пошли, окунемся, - он поднялся и двумя руками потянул меня за собой.

Когда мы уже шли по горячему песку к воде, у нас за спиной послышался незнакомый голос, который был явно обращен к нам: "Эй, там, возле навеса!" Мы обернулись.

Издали я увидел, что худой человек в потемневшей от пота форме охранника одной рукой тащит за собой нашу девушку, а другой рукой пытается удержать двоих детей. "Знаете эту девушку? – спросил он и толкнул ее по направлению к нам. – Битый час я пытаюсь разобраться с ней, но не понимаю ничего из того, что она говорит. Мы задержали ее здесь, в киоске".

- Задержали ее?.. – Амир выглядел испуганным.

- Говорю вам, она не знает иврита. У нее нет ни удостоверения личности, ничего. В конце концов она показала сюда, на вас. Знаете вы ее или нет?

- Конечно, конечно мы ее знаем, - ответил Амир раздраженно. – Она пришла с нами. Отпусти ее, ненормальный, что с тобой?

- Ненормальный? – человек презрительно взглянул на него. – Тебе нужно как следует подумать, с кем ты общаешься. Мы поймали ее, когда она пыталась украсть сэндвичи из буфета, - выкрикнул он и резко толкнул к нам троих своих пленников, отпуская их.

Долгую минуту она стояла неподвижно, испуганно уставившись на нас, затем подхватила обоих детей и побежала назад к навесу. Амир смотрел на них, пока они не сели на песок, и лишь потом мы снова стали заходить в воду.

- Ты видел? – он прикусил нижнюю губу. – Как он ее тащил, а? Словно террористку.

- Но она пыталась украсть еду в буфете.

- И что? Думаешь, он вел бы себя так же с еврейкой?

Я пожал плечами.

- Кстати, мой бумажник у тебя? Я хочу, чтобы мы зашли на рынок на обратном пути.

- Да, - ответил я. – В сумке.

- Скажи, тебе не кажется, что они могут там что-нибудь взять?

- Кто? Девушка и эти дети?

- Там у меня удостоверение личности и кредитная карточка...

- Не думаю... Это ведь ты сказал, что они точно такие же арабы, как и мы.

- Да-да, я помню, но все-таки... - Амир погрузил голову в воду, а когда поднял ее, выглядел встревоженным уже не на шутку. – Ты знаешь, они же из Абу-Гош...

Дороти

Когда он сказал ей: «Скройся с глаз моих!», это означало, что он всего лишь рассердился. Однако Дороти была птичкой, поэтому она улетела, действительно скрылась. Она уселась в тридцати метрах от того места, на красном почтовом ящике, убедилась, что он не может её видеть, и улеглась на спинку.

Она закрыла глаза и попыталась представить что-нибудь приятное: крошки от шабатной халы, альбатроса с широкими крыльями, большой водоём в центре Негева... Однако её глаза сами наполнились слезами, а когда плачут, хорошо быть рядом с мамой.

- Я не понимаю, что он имел в виду, - рыдала Дороти. – Он что, вообще не хочет видеть меня или только сегодня? Он хочет, чтобы я улетела далеко или была где-то поблизости? Я просто не знаю, что мне делать.

Мама легонько погладила её и сказала, что всегда говорят мамы-птицы:

- Семья важнее всего. Нельзя разрушать многолетний союз из-за мимолётной ссоры. Побудь где-нибудь поблизости, а когда он успокоится, он тебя обязательно найдёт.

Сестра Дороти, Гали, не считала, что это будет правильно. Она была экстравертом, любила чистить пёрышки и выставлять свою гузочку.

- Отправляйся домой, держись красиво, гордо и независимо, а на него – ноль внимания. Увидишь – он быстро сдастся, - сказала она с шаловливой улыбкой.

«Сестра у меня сумасшедшая, а мама чуть пристрастная, - думала Дороти. - Я должна поговорить с Сани».

Сани, вечная холостячка этого квартала и лучшая подруга Дороти, была белой трясогузкой пятнадцати месяцев отроду, которая эмигрировала в Израиль из Калифорнии, постоянно курила, прикуривая одну сигарету от другой, и крутила романы с воробьями и славками.

- Улети куда-нибудь подальше и не оглядывайся, - категорично высказалась Сани.

Дороти отправилась в магазин канцтоваров черепахи Мошика, купила пузырёк чернил, вытащила у себя одно из лучших перьев и написала Милошу короткое письмо. Затем отослала его с голубиной почтой и пустилась в путь.

Милош получил письмо в разгар еженедельной партии в покер с приятелями. На этот раз они играли в пещере у летучей мыши, которая хотя, вроде бы и не должна была ничего видеть, очень неплохо читала карты у всех играющих. Французский воробей выиграл тысячу, песчаная ласточка – восемьсот, а все остальные, исключая Милоша, – приблизительно по паре сотен. Понятно, что все выигрыши шли из кармана Милоша – карта ему не шла, настроение было паршивое, в общем – словно это Сани ему начирикала. И вот, когда Милош в пятидесятый раз заглядывал в полученные карты и увидел, что у него «двойка» и «семёрка» - худший набор, какой только может быть в покере, вдруг ввалилась Долка – почтовая голубка нашего квартала – и вручила ему письмо. Текст был короткий и деловой: «Я лечу в Италию. Надеюсь, это то, чего ты хотел».

- Это что ещё означает? – не очень понимая происходящее, обратился Милош к компании подвыпивших пернатых, сидящих вокруг стола.

- А это, по ходу, означает, что она рванула в Италию, - изрёк французский воробей, который, хотя и был отличным игроком в покер, не отличался изысканным стилем речи. Остальные пацаны тоже не могли прояснить ситуацию, и только жаворонок Пинто произнёс с мрачным пафосом:

- Похоже, она тебя больше не любит.

Милош, который уже принял на грудь восемь рюмочек водки, не очень понял, о чём ему толкует малыш Пинто, однако сразу впал в тоску и отправился домой спать. Дороти была любовью всей его жизни, и он не представлял, как сможет существовать далее без неё.

...Когда Дороти прибыла в Италию, она обнаружила, что беременна.

Она свила гнёздышко напротив собора Сан-Пезаро, надеясь, что это место положительно повлияет на потомство, и принялась высидывать яйца. Через двенадцать дней из них вылупились четверо очаровательных птенчиков, и Дороти отправила Милошу ещё одно письмо следующего содержания: «У меня сейчас четверо птенцов, хочешь нас навестить?».

По правде говоря, она вообще-то хотела использовать глагол «присоединиться», а не «навестить», но Изабель, кудрявая официантка из кафе, сказала, что в этой формулировке он не почувствует нажима и, возможно, приедет.

- Кому понравится, что его вдруг делают отцом нескольких детей? Уж поверь моему опыту, - вздохнула она и грустно улыбнулась...

Когда Милош получил письмо, он затрепетал: ведь, когда он был ещё совсем молодым, уже представлял себя отцом. Представлял, как будет учить малышей летать, как будет защищать их от хищных птиц, как будет прививать им то, во что верит сам.

- Она пишет мне, что это мои дети, чтобы я вернулся к ней, или теперь она мстит мне, намекая, что у неё был кто-то другой? – спрашивал он своего красавчика-брата, который работал барменом в «Птички Руты».

- Я не могу знать – твои это дети или нет, но я лично на такие штучки не ведусь. Если она хочет вернуться – пусть возвращается. Ты в Италию не поедешь. Точка.

Однако Милош не успокоился. Однажды утром он объявился у матери Дороти и спросил:

- Рохи, не знаешь ли ты – это мои дети? Я должен знать.

Внутри Рохи вся кипела, словно бульон, который забыли на газу, но она улыбнулась своей синтетической улыбкой и ответила, что уже давно не получала известий от Дороти. «Как он смеет хулить мою девочку, - думала она. – Если он так о ней думает, я предпочитаю, чтобы она воспитывала детей одна».

...На склоне лет Милош достал из платяного шкафа свой самый представительный лётный комбинезон и отправился в Италию. Он не был уверен, что его организм выдержит такой перелёт, но терять уже было нечего. Он летел над цветущими полями, голубыми реками и заснеженными вершинами, подобно которым никогда не видел. Когда он пересекал границу Италии, то запел. Он запел ту песню, которая много лет назад заставила Дороти влюбиться в него, и которая сейчас зазвучала в небе Италии. Милош надеялся, что кое-кому его песня будет знакома...

Целых две недели летал он под небом Италии и пел. Птицы улыбались ему, от его пения трепетали сердца, но Дороти он так и не нашёл.

Он сделался таким печальным, совсем поник, что даже не заметил, как к нему медленно приблизилась некая птичка, и

когда она коснулась его клюва, вскрикнул от неожиданности.

- Я не намеревалась пугать вас, - произнесла маленькая симпатичная трясогузка, - но мне кажется, что вы ищете мою маму.

Не говоря ни слова, они расправили крылья и полетели в направлении Сан-Рамоне, живописного прибрежного городка. Они пролетали над домами с красными черепичными крышами, улицами, мощёнными камнем и, наконец, достигли небольшого соснового бора. Там они пробрались между завалами крупных камней и остановились перед совсем маленькой надгробной плитой с маленьким зелёным изумрудом в форме шестиугольника.

- Два месяца назад она собрала нас всех и сказала, что, если когда-нибудь мы услышим в небесах ангельскую трель, мы должны отправиться встречать нашего папу. После этого она сомкнула веки...

Из глаз Милоша потекли слёзы, и он попросил молодую трясогузку на несколько минут оставить его одного. Он обнял надгробный камень, попросил у Дороти прощения и подумал, как замечательно цвет изумруда подходит к её глазам. Когда он поднялся и уже собрался уходить, вдруг заметил в уголке надгробной плиты надпись маленькими чёрными буквами: «Даже уходя, я продолжаю любить вас. Дороти».

Милош не совсем понял, кого имела ввиду Дороти, написав «вас», но спросить было уже не у кого.

Перевёл Александр Крюков

ПОЭЗИЯ

Ирина Евса

Из братской бездны

80-е

И нервный, тонкокожий Авербах,
и песня про лихого уркагана,
и мальчики, в задраенных гробах
плывущие из душного Афгана,
и дружб неразведенные мосты,
и происки писательских шарашек,
и первый самиздат, которым ты
не столько счастлив был, сколь ошарашен;
и неуменье мыслить на заказ,
и строчек разудалая незрячесть,
и шпик, что целый год беспечных нас
отслеживал, за спинами не прячась;
дробленье судеб и мельчанье зла,
зато деталь очистилась от плевел:
вот гусеница грузно проползла,
вот под углом пчела ввинтилась в клевер;
и мы, как рыбы тусклые текли
в полуистлевшем золоте распада,
и наспех нерестились на мели,
не помня с кем, не ведая, как надо,
в недвижный воздух тычась, как в стекло,
не чуя дна, не веря тем, кто сзади;
и, Боже правый, сорок лет прошло,
а трещина все та же на фасаде,
и городская блеклая сирень
колеблется, своей стесняясь тени,
и снова на растяжке, как Сорель
стендалевский, душа в нестойком теле,
и гласные в затверженных азах
бессильны без наличия согласных,

и мальчики кровавые в глазах
пожизненно коней купают
красных.

Путь, обескровленный, как
«forever», из магазина «Дигма»
к дому, где каждый теперь –
фонема, Немо или энигма.
По Чернышевской, по
Маяковской – спринтерскими
рывками,
спевшись одежкой своей неброской
с прочими ходоками,
сбившись на роль рядовой
литоты, немолодой хористки, -
лишь бы тебя не заметил тот, кто
хор подвергает чистке.
Вправду ли были азарт, застолья,
читки, гулянья Невским,
если, у самого края стоя, за руки
взяться не с кем?
Если, взбираясь к себе на пятый,
слышишь не перебранку
там, где привычно сосед
поддатый стряхивал пепел в банку,
не переключку пилы и дрели, не
дрожжевого теста
вдох предпасхальный, не дрожь
апреля в мокрой листве, но вместо
лепета, клекота птиц небесных –
этих господних бомжей –
хор несогласных из братской
бездны, что не боится больше.

Ты, дробящий толпу на взводы и
на бригады,
изучающий алчно карту моих
дорог,
мы с тобой не по разны стороны
баррикады

потому, что и баррикада есть
диалог.

Я, представь, не любила с
детства урчання, рыка,
этих «смир-рно!», «р-равняйсь!»,
раскатов двойного «эр».
И картавость моя — лишь
косвенная улика
внутривенного неприятия
крайних мер.

Безразлична к твоим указам моя
держава —
обесточенная провинция, for
example, —
южный двор, где лучом
закатным подсвечен справа,
над верандой завис сирени
прощальный залп;

где легко шепоток о Шнитке или
Башмете
разрастается в гул вечернего
кутежа,
и, как пуля, от стенки треснувшей
срикошетив,
майский жук на тарелку
шлёпается, жужжа.

...Иногда из набухшей тучи звучит
валторна,
И в ответ верещат
встревоженные сверчки.
Но мятеж принимает форму
ночного шторма,
что смывает к утру прибрежные
кабаки.

Всякий стяг на твоих просторах
мне фиолетов,
демонстрация власти,
переговоры, блиц-
интервью... И меня мутит от

любых декретов,
как порою мутит от жизни
самоубийц.

С генералами сил ошую и
одесную
ты спешишь завершить
батальное полотно.
Но, как только твои войска
подойдут вплотную,
эта малая атлантида уйдет на
дно.

И трофейный пейзаж, что,
впрочем, не столь заманчив,
диковато сверкнет в голодном
твоем зрачке:
на лазоревом — белый
пластиковый стаканчик
с полумёртвым сверчком на
выпуклом ободке.

Юность одержима, как мятеж.
Всё в пандан - бандана,
балаклава,
всё зачтется, чем себя ни тешь:
свергнутый родительный падеж,
смертью перекормленная слава,
бытие, обернутое в трэш.

Пуля - дура. Комп с разбитым
ртом.
Врассыпную - треть клавиатуры.
Шрам зарубцевался на плече.
Под штормовкой - маечка с
принтом
Че Гевары или Че Петлюры -
не имеет, собственно, значе...

Что трясешься? Хватит - о тепле.
Я вчера - пошарь, короче, в сумке -
стырил в супермаркете коньяк.

Мяч у нас. Оле-оле-оле!
Если окружили эти суки,
есть, чем отстреляться, на крайняк.

Нам придется встать спиной к спине.
С тылом в этот раз не подфартило.
Гребаный не сбился Голливуд.
Ты чего, чувак, повис на мне?
Как всегда, патронов не хватило.
Хоть узнать бы, как тебя зовут.

"Если смерти, то
мгновенной..." Хрена! Из "котла" -
с перетянутою веной, чтоб не
вытекла
юшка, - выкрутив сорочку,
Господу грубя,
пьяный кореш в одиночку
вынесет тебя,
чтоб очнулся ты, фартовый
вытащив билет,
шевелить рукой, которой третьи
сутки нет,
и, водя глазами, в коих –
безнадега тьмы,
различать больничных коек
хриплые псалмы.
- Где ты, слева или справа
топчешься? - ответь,
с голым черепом шалава,
обещала ведь!
Где коса твоя, где жало, худшая
из баб?
Сука, в муках не рожала, - так
добей хотя б.
Драя пол, стуча в запарке
створками окна,
басом Шурки санитарки говорит она:
"Мы с тобой теперя в паре. Мы
теперя - дно.
Привыкай скорее, паря, целиться в судно".

Что ты видишь из долготы окопа
за минуту, две? -
огород в зеленом пуху укропа,
в кружевной ботве;

пыльный плющ, которым забор оклеен,
старой сливы ствол;
под бельем забрызганный мылом клевер,
табуретку, стол.

Засаекаешь облачко над халупой,
наблюдаешь, хмур,
за двором, где пес, молодой и глупый,
разгоняет кур,

бестолково лает, кусает щетку,
учинив разгром;
вот его и жаль, а не эту тетку,
что бредет с ведром

поливать с утра огурцы и маки.
Не успеет, не:
ровно год, как ты без своей собаки
по ее вине.

Шествие

Если тебе велят - влево, а ты
направо
топаешь в аккурат, -
не сомневайся, брат, это еще не
слава
и не свобода, брат.

Правду ори свою рэпом или
былинным
слогом, но посмотри:
ты все равно в строю,
непоправимо длинном,
ровного рва внутри.

Вот и гадай, как лох: пафос, а
может, лепет?
Прятаться или сметь?
Гиппиус или Блок? Быков или
Прилепин?
Родина или смерть?

Вверить спешат толпу ратники и
сиротки -
всяк своему божку.
Хуже всего тому, кто семенит в
середке,
в плечи втянув башку.

С кем ты, - спеша, скользя? – мне
за тебя тревожно.
В тот ли вписался ряд?
Притормозить нельзя.
Выбраться невозможно.
Разве что - в небо, брат.

Молодое светило вылезло на
вершок.
Пять утра. Ни морщинки на
посветлевшем шёлке.
Пляж безлюден. Лишь две
синюшные шалашовки
собирают бутылки в
пластиковый мешок.
То ли это мотель на трассе, то ли
сераль:
бирюзовая вязь, понтовая
позолота,
в запотевший цветник
распахнутые ворота
и коровьей лепёшки спёкшаяся
спираль.

Справа — старый погост, где
розы крадёт жульё, —
на бетонной ограде красным:
«Сдаю жильё»;

снизу — чёрным — приписка:
«Дорого и навеки».
Неопознанный птичик боком
торчит на ветке
запылённой софоры и верещит
своё.
Слева клуб, от невзгод не
спасший свою корму.
Но фасад уцелел и плиты ещё не
спёрты.
Перед ним — постамент, мужик в
пиджаке. Кому
этот памятник? Вроде, Киров, но
буквы стёрты.

Куришь, в масляный воздух дым
выпуская злой,
пятернёю вода нелепо, как бы
смывая
этот верхний, сиротский,
праздно-лубочный слой.
И фрагментами проявляется
вдруг живая
виноградная волость, каменная
страна,
всякий раз при угрозе
вражеского секвестра
уплывающая из рук полотном
Сильвестра
Щедрина.

Непрожитый июнь

Непрожитый июнь развевается знаменем лета.
Как прожить мне его, как пройти мне его без потерь?
Я ступаю с опаской, в прозрачное платье одета,
Затворив за собою весеннюю дверь.

В этом странном июне всё чаще меня не хватает
На короткие ночи, и морок, и ветер. Во сне
Собираю мороку, как будто морошку, с куста я.
То ли жду не того, то ли просто грущу о весне.

Всё случается быстро в забытом дождями июне,
Возвращается тот, кого ждать больше не было сил.
Мне принёс его ветер, что рвал и метал накануне,
Вместе с бурей песчаной, которой никто не просил.

Кто же знал, как хитро и причудливо здешнее лето!
То туман, то ветра, нет покоя от их череды!
Я ждала не того, но теперь я не помню об этом.
Ухожу, а прожитый июнь замечает следы...

Наедине с войной

Поселилась во мне война.
Потеснила меня во мне.
Я - одна, и война - одна.
Мы с войною - наедине.

Так живём мы который день
в вечных спорах - кто друг, кто враг.
Я - кремень, и война - кремень,
но и порознь нам никак.

Так, глядишь, проживём и век,
Я - с войною, война - со мной.
Для того ли я - человек,
Чтобы век коротать с войной?

Только где же мой светлый мир?
Только где же мой мирный свет?
Мне с войною и свет не мил,

Да и мира в помине нет.
Не укрыться, не убежать
В тихий край и в чужие сны.
Даже в бешенстве не разжать
Мёртвой хватки своей войны.

Страшен мир, где война вокруг.
Для меня же страшной вдвойне
цепь из намертво сжатых рук,
заклучивших войну во мне.
Поселилась во мне война...

Я думаю на русском языке.
Мне никуда от этого не деться.
От первых снов осознанного детства
и до сегодня. В маленьком мирке,
что по старинке назову душой,
я думаю знакомыми словами
о вечности, о глупостях, о маме,
о сыновьях, о каждой небольшой
своей удаче, если не спугну.
И о любви. А если вдруг заплачу,
по-русски буду плакать, не иначе,
и проклинать бесовскую войну,
где мой язык, жлобами взятый в плен,
ещё вчера великий и могучий,
поруган, изнасилован, замучен.
Но не убит. Под воплями сирен
он онемел от злобы без границ,
зияющей на знамени позорном,
от буквы z, последней, подзаборной,
чужого алфавита - для убийц.

Но если мой родной язык в плену,
не мне ли вызволять его словами
о вечности, о глупостях, о маме,
о сыновьях.
И проклинать войну.

Так бывает

Так бывает, твой мир вдруг свивается в кокон,
очень маленький, тесный, шершавый внутри.
Ни открытых дверей, ни распахнутых окон.
Ни Лазурного моря. Ни садов Тюльери.

Ты пытаешься втиснуться в новую кожу,
и принять, что другого уже не дано, -
только мир-понарошку, на кокон похожий,
только мизерный домик, слепое окно...

Там внутри, в темноте, все становится тише,
даже шорохи сердца и дробь позвонков.
И кричи - не кричи, всё равно не услышат.
То ли стены - глухие, то ли голос - таков.

Так бывает, что в теле, как в маленькой печке,
прогорают дрова. И подкинуть - невмочь.
И бессмыслен мирок, заключённый в аптечке.
И бессмысленным утром кончается ночь.

Ты твердишь: «Не бывает, чтоб так беспросветно!»
Обживаешь свой кокон, меняешь прикид.
Даже в зеркало смотришь и еле заметно
улыбаешься сердцем, в котором болит.

Да, болит. Но когда-нибудь надо решиться,
Распрямиться, чтоб стало совсем невтерпёж.
И расколется кокон на камни - крупицы...
Ничего. Были б камни. Ты их соберёшь.

На полуслове

Мой любимый умер на полуслове.

Он ещё говорил, у него ещё наготове
были фразы. И он ничего не заметил,
говорил. Смотрел, как курчавится ветер
в моих волосах. Как меняется небо
у меня за спиной. А мне в тишине бы
посмотреть на него и, быть может, заплакать,
развести эту глупую, бабскую слякоть...

Вот тогда бы он понял, наверно, что умер.
Не исчез, не скурвился, не обезумел.
Просто стал утраченной каплей крови.

...Мой любимый умер. На полуслове.

Когда не пишутся стихи

Когда не пишутся стихи -
Пишите прозу.
А если проза не с руки -
Так баба с возу.

Читайте авторов других
Неторопливо
И критикуйте бедных их
И в хвост и в гриву.

- Ах, эта рифма так проста,
и вся – в глаголе!
- А вот инверсия, и та
Кривая, что ли!

- Ни новых форм, ни точных слов –
Сплошные штампы,
А из любви струится кровь,
Как... свет из лампы.

И что ни автор – норовит
Увековечить,
Как на развалинах любви
Сгорают свечи.

И капля воска, как слеза,
(Что характерно),
Бежит по сердцу прямо за
Тоской безмерной...

Зимой, конечно, холода,
А в небе – птицы.
А если дождик, то всегда
В окно стучится.

Весна – красна, а ночь – темна,
А жизнь – прекрасна,
И о любви поёт струна.
Одна. Но страстно...

Прочтешь немного и поймешь,
Как откровенье,
Всё то, что сказано, - не ложь,
А... сочиненья.

Но муки творчества глухи
К напрасной прыти.
Когда не пишутся стихи –
...И не пишете.

Наша рана, родня, руина...

Как огарочек, догорает день...
Неужели мы превратимся в тень?
Из какого явилась сна я?
Жизнь пройдёт, и тогда узнаю.

«О закройте, закройте глаза газет»,
зомбоящика чище любой клозет.
Занавесьте лицо экрана –
он уже как живая рана.

Это то, что родиною звалось,
а теперь вдруг надвое порвалось.
Вы не верьте словам, не верьте,
вы в жерло загляните смерти.

Догорают дни, вся в крови заря.
Наши мальчики погибают зря.
И Помпеей горит Украина.
Наша рана, родня, руина...

*Миллионы убитых задёшево
Притоптали траву в пустоте,
Доброй ночи, всего им хорошего
От лица земляных крепостей...
Наливаются кровью арты,
И звучит по рядам шепотком:
— Я рождён в девяносто четвёртом,
Я рождён в девяносто втором...
О. Мандельштам*

Как назвать, я не знаю, драму ту,
что стряслась в конце февраля.
Это то, что за гранью грамоты,
за пределами букваря.

Эту боль наш язык не выразит
и не выдержит нотный стан,
но в душе своей каждый выносит,

ведь другим теперь каждый стал.

Это было двадцать четвёртого...
Это было в двадцать втором.
И теперь эту дату чёртову
нам не вырубить топором.

Здравствуй, Кафка, Замятин, Оруэлл,
ваше будущее сбылось.
Человечьи опоры порваны,
там, где тонко – и порвалось.

Может, мы ошиблись эпохою?
Что-то там напорточил Бог?
Снова Сталин глядит живёхонек,
Гитлер целится: «Хенде хох!»

Кто же здесь после нас останется?
Кто мы? Орки? Скоты? Рабы?
Скоро, скоро уже потянутся
заколоченные гробы.

Разгоняет народ полиция.
Знай же место своё, холоп!
Снова грабли целуют лица нам,
как покойников – прямо в лоб.

Не выйдет никто из войны без урона, –
слова мудреца Лао-Цзы.
Плывёт молчаливая лодка Харона,
а в ней мертвецы, мертвецы...

Ах нет, это старый речной пароходик,
наш «Омик», везущий на пляж...
Ведь время – оно никуда не уходит,
пусть тешит любимая блажь.

О жизнь моя, парус вдали одинокий,
не надо мне бурь и штормов!
Тебя различаю едва ли в бинокль,
в развалинах мёртвых домов.

Как тонущий мячик у плачущих Танек,
идёт беспощадно ко дну
наш некогда мощный прогнивший «Титаник»,
пригрев у руля сатану.

Корабль сумасшедших, несущийся в бездну,
от крови и бешенства пьян...
Частица отчизны, я честно исчезну,
безумием мир обуюн.

Слова, что из сердца, замажет цензура,
смешались, кто враг и кто брат.
Мы смотрим сквозь окон и глаз амбразуру
и видим лишь чёрный квадрат.

Весна – красна... Весна – ясна...
Искала рифмы неизбитой.
Но жизнь сама нашла: война.
Она слилась с бедой, с обидой.

Весна – грозна. Весна – грязна.
Она безжалостна, сурова.
Она лицом черна, весна
две тысячи двадцать второго.

А говорили, что красна...
Она красна теперь от крови,
и от стыда красна она,
что терпим с тупостью коровьей.

Хотят ли русские войны?
Вы скажете, вопрос дурацкий?
Спросите тех, кто до весны
не дожил, пав от пули братской.

Мелькает снег, слепой, напрасный –
ему не жить уже весной.
Но чистый свет его прекрасный
всегда во мне, всегда со мной.
Земные раны скроют травы,
но след любви моей больной

то розоватый, то кровавый,
всегда во мне, всегда со мной.

А ты далёко и глубоко —
в своей обители иной,
но как за пазухой у Бога —
всегда во мне, всегда со мной.

Снег — словно белые одежды...
Мой дом, мой мир, моя семья,
любовь, и вера, и надежда,
вы все во мне, но где же я?

Я имярек в пространстве некоем,
а то, что прежде было мной,
погребено под вечным снегом,
смешавшись с болью и виной.

Мы все повязаны друг с другом,
ничто на свете не случайно.
По жизни ходим как по кругу,
в толпе касаемся плечами.

Чужую жизнь от нашей кровной
не отделить, как бриз от ветра.
Как будто единоутробны
все наши потайные недра.

Привязан к лону солнца зайчик,
а к электромагниту — герцы.
Ты где-то там порезал пальчик,
а у меня кольнуло сердце.

Нет никого по одиночке,
все в пласт спрессованы единый,
с рассветом венчанная ночка,
гимн утру с песней лебединой.

О как мы мучаемся люто,
и это нас сближает кровней.
Мы лишь гарнир к большому блюду,
что в вышней жарится жаровне.

Это ласка вселенская, а не тоска,
это грёзы и сны, а не грусть.
Мальчик-с-пальчик по камушкам дом отыскал.
Я по звёздам к тебе доберусь.

Я увижу тебя и тебя обниму
в этом млечном сердечном тепле.
И увижу, быть может, сквозь вечную тьму,
что не видела здесь на земле.

Это будет со мною, не может не быть,
пусть ещё через тысячи лет.
А пока я тебя продолжаю любить
и ловить каждый лучик и след.

Каждый детскою сказкой по жизни ведом,
эту даль ощущая как близь,
где нас ждёт поднебесный несбыточный дом,
где любимые нас заждались.

Триалог

Это не моя война - слезы душат,
на душе - камень.
Это не моя война - мороз по коже,
жутко и странно.
Больно, когда: - эй, старик, мы же вместе,
из одного крана,
Из одной тарелки, что на двоих,
- тебе что, отшибло память?
Что ж ты стоишь и в мое лицо
тычешь смерть, а тебе не страшно,
Что и в тебя ё...., и в твое крыльцо
бросят ненависть автоматом, врукопашную?
Когда только птичий треск,
Когда воздух пьян от счастья,
Когда весной кричит весь лес
И ни с кем, никогда, не готов прощаться.
Эта война - не твоя вина,
И не моя, но родственно дышим.
У тебя, знаю, Родина одна,
Но и у меня одна Родина - слышишь?
И я слышу сквозь вой сирен,
Через моря расстояний слышу
Родной русско-украинский сленг,
Снегом войны морозящий душу.

Кран времени

Кран времени над головой -
Не успеваешь - облаков тучи
Мерной, временной чередой
Через твои уши, душу.

Душно - это не слово, не понимание
Не лечит.
Время – капЕль из кАпель слов -
Капаешь и легче.

Там нежность и там все -
Стороны и страны света,

Здесь - чертовое колесо
Изо дня в день, из осени в лето.

Крутится, вертится, чечетку бьет,
Дразнит, бранится, песни горланит.
То ласковой кошкою льнет,
То больно тебя ранит.

Ранит походя, впопыхах,
И дальше спешит, на тебя не глядя -
По небу плывут и плывут облака,
Скользя по земле равнодушным взглядом.

Это не о войне

Это не о войне - это о тебе и обо мне,
О том, что такое зло,
Оно для тебя и меня одно?
Если плачет мать и дочь
Ты ударом хочешь помочь?
И закрывая глаза на боль
Из слез сапогом взбиваешь соль
Себе на раны, если живой -
Выйдешь - все это возьмешь с собой.

Тебе говорят - люби страну,
Верно - всегда тебе одному
И сотням и тысячам, как один
Стеною - за запах своих осин,
Своих детей беззаботный смех,
за то, что учили - один за всех,
за всех, но только в честном бою,
за правду, за веру, за землю свою.
Свою - это слово и есть ответ
Тебе, которому разницы нет.

Время фейков

Время фейков и время лжи,
А на солнце пятна.
Крепче вожжи жизни держи -
Середина марта.
И коты все сошли с ума

И скворцы в свирелях,
И так хочется просто «на...»
Все послать не медля.

Как скукожился мир за два
Года, как за десять,
И кругом полыхает «За»,
Словно нету смерти,
Словно катится снежный ком
Через всю планету
И неважно, кому потом
Оставаться в этом.

А на море сегодня гладь,
И хамсина жало
Продолжает собой сжигать...
И ему все мало....

Море пахнет васильками

Море пахнет васильками,
А кругом песок, пальмы.
Синий цвет, синее море -
С этим можно спорить?
Можно, а нужно ли - все относительно,
Хочешь - море спасительно,
Нервов закрученных в плотный узел
Расплетает спасательной музой,
Золотою рыбкою, хочешь -
Прыгает в руке, хохочет
Над всеми мировыми проблемами,
Потому, что только время хозяин вселенной,
Все остальное - временно...
Мерно волны стирают следы,
Ты собою меряешь дни -
Одни по росту, у других порван рукав,
Значит что-то не так, и ты не знаешь как,
И строишь, строишь -
Сегодня мимо, завтра историю.
Спорно, страшно, смешно,
А небо надо всеми одно.
То плачет январями, то смеется хамсинами -

Жадными, жаркими, солеными, длинными.
Длиною в день, в жизнь,
А ты держись
Руками за этот день, за этот век держись -
Это твоя жизнь.
Которую строишь...
Море пахнет васильками -
И это твоя история.

Земля

Уже не хочется беречь
того, что до Йерусалима.
Москва и детство — мимо, мимо,
туда же — и родная речь:

не одарит меня рублем,
зато печатью помечает,
так и пускай уже отчалит
вслед за российским кораблем.

В какую яму нас загнали!
Ребята, не Москва ль за нами?
Да нет, за нами не Москва —

за нами болдинская осень,
затем Марина, Анна, Осип,
за нами буквы и слова.

Йерусалим - Краков

1.

В шумную пасть Кащея,
В черную ночь и мглу,
поезд входит в пещеру,
поезд идет в галут.

Не покидайте Город,
вечность его и сплин,
не покидайте горы
ради любых долин.

Быль увозя и небыль,
сказки, холмы, леса,
поезд уходит в небо
где-то за полчаса,

пали миров затворы,
где уж тут устоять.

Не покидайте Город.
Не покидайте явь.

2.

В Казимеже,
в некошерном еврейском ресторане,
играет тихая музыка
и свечи на каждом столе.
Прежде, когда он был кошерным,
в нем собирались заранее,
чтоб место занять и послушать ребе
у керосинки, в тепле.

В Казимеже, в ресторане
играет тихая музыка,
но ребе ее не слышит,
как и его сыновья,
как и другие хасиды.
Как им теперь зимуется,
какие арфы висят на деревьях
в неведомых их краях?

В Кракове горн задушенный
будит рассвет расколотый,
дракон, извергающий пламя у Вислы,
туристам просто смешон.
Когда он стал огнедышащим
и пролетел над городом,
каждый, сидевший здесь, в ресторане,
встал и куда-то ушел...

3.

Над старым Казимежем месяц ущербный,
в домах — ни души, ни звезды,
но ночью волшебной заходят в пещеру
животные из агады.

Известен им путь под землю короткий
к прекрасной и мирной стране,
и светится шерстка у козочки кроткой,
оттенком подобна луне,

и ослик сияет, он белый, исконный,
а всадник его знаменит —

в нем души всех тех, кто убили дракона,
который пещеру хранит.
От белого снега — да к ясному зною
пройдут они, белы, как снег,
под гнетом времен, под землей, под войною
и выйдут к воротам в стене.

Подвешены арфы на ивах и вязах,
но вот повернула река —
и пали ворота, и ослик привязан,
и трапеза ждет седока.

Колумб 2021

1.

Очень гордо, медленно, не безрассудно,
выверяя крыльев неподвижных взмах,
подплывает к городу большое судно,
пробуждая ангелов в его домах.

Вот таким увидела ты мир когда-то,
направляя аиста живой полет,
накануне той почти случайной даты,
что с тех пор справляешь ты который год.

Потому что путникам таким бродячим,
что всегда в скитаниях и на весу,
каждый город новую несет задачу
и удачу ангелы ему несут.

2.

Прямо по курсу мигает маяк.
Всходят созвездья главы Бытия.
В рыбную высь,
в звёздную глубь
судно свое направляет Колумб.

Воды от суши не отделены,
неотличима зима от весны,
бездна грохочет, победно кричит,
бедный Колумб заблудился в ночи.

Солнца и луны едины пока,
но различим огонек маяка.
Времени кванты в море бегут.
Мир воплощается на берегу...

3.

Так
выглядят
города:
в них
огромные башни.
Лишь одна
над ними звезда
день освещает
вчерашний.

Так
выглядят
небеса
сверху над облаками:
ледяные растут леса,
ввысь
закат утекает.

Так
выглядят
корабли:
крылья у них огромны,
на берегах
далекой земли —
пристани-аэродромы.

Так выглядит
с корабля
твой долгожданный берег,
так звучит
твой возглас:
«Земля!»
у берегов Америк.

Судьбу копия

Когда-нибудь, возможно, если —
случайно этот файл сотру:
в нём бабушка спала на кресле,
поджав колени к животу.

В нём точно был херсон, таврида,
где ночь — темнее от костра,
а рядом спали: тётя лида,
чуть дальше — танечка, сестра.

Здесь жил барон, его убили
большевики, неся добро,
чтоб люди в туалет ходили —
семьёй — в помойное ведро.

Чтоб особняк, служивший домом
для четверых дворянских рыл,
назло физическим законам —
рабочим двери отворил.

Для новой эры многосложной,
где сковородка и тажин,
для громкой музыки тревожной
и для любви под скрип пружин.

Сотру и буду помнить где-то,
сгорая между двух огней,
как мир потрескивал от света —
во всей убогости своей.

Я признаю моё участие
в борьбе за родину труда,
но верю, что такое счастье —
не повторится никогда.

Андрею Макаревичу

Давай, просыпайся скорей,
родное добро с кулаками:
воскрес макаревич андрей
и я пробудился с сурками.

Ну что там: приволье вора́м,
ухмылка на каторжной ро́же,
убийство, разрушенный храм —
всё те же, мой милый, всё то же.

Дымится гудок заводской,
как память о стиксе и лете,
и нас отпоют под москвой —
затем, похоронят в планшете.

Ну что там: инфекция, яд,
ковид, лихорадка эбола,
привитые женщины спят
с начальством обоего пола.

В каюту овальная дверь,
за ней — чернокожие боги
америки, кто им теперь —
целует озябшие ноги?

А где-то растёт кугуар,
купаясь в ночном листопаде,
с таинственным кодом-кьюар
в том месте, которое сзади.

И всё же, прекрасней земли —
не знают, судьбу копиастя:
мы поздно в бою полегли,
мы рано проснулись для счастья.

Руками ловили угрей,
и сердце о сердце стучалось,
скажи мне, апостол андрей
ты помнишь, как всё начиналось?

Когда нас боги отражают —
в собаках, в кошках, в лошадях,
тогда нас бабы нарожают —
в окопах и на площадях.

Мы будем новые, живые,
и вспомним прошлые дела:

деревьев клетки столовые
и всех животных — зеркала.

Как выбегали из-под тента —
в лес, что построен без гвоздя:
на запах секунд-хэппи-энда,
на вкус грибов и цвет дождя.

Когда мы были беглецами —
я, перед сном, тебя листал,
теперь мы стали мертвецами,
мы — файлы, сжатые в кристалл.

Избавлены от вечной спешки,
и с нами — босх иероним,
теперь мы знаем, люди — флешки:
мы этот мир — в себе храним.

Ну, а покуда: лёд и жженье,
песок небесный и вода,
и ты во мне, как утешенье:
зачем мне музыка тогда?

Вот вырасту и стану первым —
во всех значительных вещах:
я был признателен консервам,
взрослел на ранних овощах.

Мечтал о звёздах под херсоном,
но парня встретила бахча —
в плаще с тяжелым капюшоном,
под руководством ильича.

И служба в армии по нервам
прошлась, с оглядкой на журфак,
и каждый был — немножко первым,
распространяя этот мрак.

Сквозь запах оружейной смазки,
сквозь беловежский геморрой —
я чудом выскочил из сказки,
как любознательный герой.

Чужими книгами запаслив,
меняя профиль на анфас:
и кем я — был, а был я — счастлив,
вот так, примерно, как сейчас.

Плетусь, по щиколотки в новом,
вдоль нескончаемой стены,
и голосую каждым словом —
за прекращение войны.

Деля сложенье вычитаньем,
смотрю и вижу прежний мрак,
и купол церкви, очертаньем,
похож на свёклу и буряк.

И улицы, в пучок моркови —
собрались с видом на закат,
здесь каждый вечер — вкуса крови,
такая вот петрушка, брат

Здесь ливень: то с рыбацкой сетью,
а то с авоськой держит путь,
и двадцать первому столетию
опять приходится свернуть —

Туда, где вьется теплотрасса
и окружает детский дом,
туда, где пушечное мясо —
живет в наборе борщевом.

Александр Ройтбурду

Я связан музыкой судеб,
и в настоящем мне — не место:
я чувствую, как пахнет хлеб,
как зреет будущее тесто.

И нарекается вино —
вином, а небо, после стирок —
бескрайнее глазное дно,
и сыр — сопит в двенадцать дырок.

Вся боль ушла на пробу сил,
в невесты к холоду и мраку,

и кто-то бога воскресил,
как безнадежную собаку.

Я благодарен тем, кто жил —
со мной, деля восторг и скуку,
тому, кто камень положил
в мою протянутую руку.

Я помню брошенных в распыл,
чью кровь смывала ваша мама,
и то, что этот камень был —
от вновь разрушенного храма.

Илье Шехтеру

Если музыка — азбука брайля,
значит, я — безнадежно ослеп,
и блуждаю пустыней израиля,
разделенный, как рыба и хлеб.

Ветер треплет афишу заката,
уголок приподнимешь, а там:
наше небо в четыре обхвата,
наша радуга в помощь котам.

Старый, крафтовый мир декаданса,
где живут, после смерти, до ста,
если азбука — музыка брамса —
я её прочитаю с листа.

Опечатки подхватит пустыня
и к тебе принесет на обмен:
— что за жёлтое слово "гордыня"?,
— это дыня из города N.

Там, где с грохотом дальнего грома,
упадёт треугольный пюпитр,
это запах цыганского рома,
это песни проспороженный литр

Это русско-еврейского бога —
всемогущий, рассеянный свет:
я не верю, когда его — много,
и скучаю, когда его — нет.

Вместе с обожжённой глиной
мы сварганили уху:
воскресенье — воск пчелиный,
постоянно на слуху.

И привязанные к мачте
наши детские мечты:
вы не смейтесь, вы не плачьте,
вы не бойтесь чистоты.

Мы плывём за одиссеем
девяносто дней войны,
мы стареем, мы лысеем,
и кому теперь нужны?

Я несчастных окликаю
и сигналию кораблю:
мне нужны, степному краю,
родине, я вас люблю!

Солнце — огненной заплатой
во хрустальных небесах,
здесь, под материнской платой,
в грязных тогах и трусах —

Вы нужны, как киноплёнка,
доказательство вины,
на войне — мечты ребёнка —
это — пво страны.

Это — клык морского волка,
хвост данайского коня,
вы нужны, живите долго,
чтоб оплакивать меня.

Ветер нам доносит пенье:
это наш еврейский брат —
поминает воскресенье
и приветствует шабат.

Проснусь и побуду собою,
прощаясь, мой милый с тобой,

лицо, перед казнью, умою —
святой туалетной водой.

Как много по-прежнему живо,
считая военные дни,
armani, которое — gio,
пока не пришло армани.

Был раньше — ведомый, послушный,
красивый, пока — молодой,
а нынче, я — дедушка душный,
задиристый, страшный, седой.

Смотрю обречённо, поддато,
сквозь ржавый прицел от ружья:
быть может, такого, когда-то —
возьмут, после смерти, в мужья.

Как быстро, смешно, бестолково
остался без денег и слов,
и разве, когда-то, такого —
любили бахыт и цветков?

Смотри на меня, дорогая,
как птицы над нимбом поют,
на вечную казнь провожая —
туда, где не курят - не пьют.
И женщин, их ласки нагие,
их крылья, хвосты и клыки —
уже разобрали другие,
такие, как я — старики.

Всё то, что может быть стихами:
из света — брошено во мрак,
лежит и не гниёт веками,
как мясо с ядом для собак.

Здесь скорость света — нулевая,
а скорость мрака — будь здоров,
и взывал поэт, околевая —
отведавший чужих даров.

И еле слышен в этом вое —
раскаиванья жалкий звук:
мой бог, зачем я съел чужое,
с земли, а раньше — ел из рук?

И можно перепутать с тостом —
его унылую мольбу,
и вот он, смешанный с компостом,
вращается в своём гробу.

И сад в степи, и город в море —
науки явственная прыть,
и в женском смехе, впавшем в горе —
какой-то вывод должен быть.

К примеру, кносский дом на крите,
весь новодел кустов и рощ,
весь козий сыр с вином — берите,
империи былую мощь —

Берите всё: поджопник, ляпас,
прощенье в розовом говне,
но эту кровь и этот пафос,
и вашу смерть — оставьте мне.

Этим Городом нет передоза

Танго с Городом

Этим Городом нет передоза, он тебя превращает в иное,
в этом Городе каждая поза так забавна, поскольку нелепа,
в этом Городе ходишь по краю, в позолоте, в пыли, в
паранойе,
в этом Городе ты - одиночка, что ступает отважно и слепо.
Ты один, в узких улицах нет для тебя диалога -
спутник твой не поместится рядом, вот и беседуй о главном,
то ль с собой говори, то ли с небом, землей или Богом,
но как с равным -
вот что главное в Городе этом, моём золотом-поднебесном,
полном праха, скелетов, помоек, ступеней и лестниц,
этот пульс, он включает тебя в кровоток, и бессонно
ты шагаешь, плывёшь, содрогаешься в улицах тронных.
Ты танцуешь листочком на тёмной крови тех соблазнов,
о которых уже и не помнит никто из сограждан,
танго с Городом это, токсично оно и заразно,
Город голоден, опытен, гибок, танцует он каждого.

Шир а-маалот (песнь восхождения)

“На золотом крыльце сидели...”

... Мы долго шли, сначала в никуда,
ориентируясь немножечко по вере,
немножечко — куда течёт вода.
Путь в этот Город был весьма тяжёл.
Мы вместе шли, но шли поодиночке.
А как-то ночью лучшая из жён
пропела в полусне такие строчки:
- Ерусалим, мой город золотой,
найди его, познай его, присвой!
Царь засмеялся, слушая её,
король сказал, что строчки адекватны,
царевич сплюнул: «Всё одно — враньё»,
а королевич верил только фактам.

Сапожник заработал хорошо -
он для паломников работал и работал,
но как-то раз поднялся и ушёл

в своих удобных недошитых ботах,
и тоже оказался на крыльце,
и в общий хор добавил свой фальцет.

Давид Портной умел немножко шить
и так шутил привычно и устало:
- Он потому был вечный — Вечный Жид,
что скроен из святого матерьяла,
а я весь из синтетики пошит,
и потому удел мой — вечный шит.

- Ах-ха-ха-ха! - смеялся громко ты
в ночи иерусалимской чистой, хрупкой,
и содрогался в страхе немоты
и с чувством саранчи в пустом желудке,
и снова заикался на крыльце,
желая рассказать, но не умея.
А город, словно бабочка в пыльце,
кружил вокруг дошедшего еврея.

В Иерусалиме жить легко —
здесь нежить лучше.
Здесь даже бесы чтут Закон —
в шабат не мучают.
Здесь тонкий голос тишины
пронзает горло,
и нет ни мужа, ни жены,
лишь боль и Город.
Ты станешь камешком его,
приляжешь сбоку,
и будет так тебе светло,
как одиноко.

В этот год не жди наград, они ничтожны.
В этот год не верь возницам — завезут.
В этом городе будь очень осторожна —
реагируй на предчувствие и звук.

В этот час найди себе объект для взгляда
и исчезни, не меняя ничего.
В этом времени уютиться как-то надо.
С кем-то нужно коротанье вечеров.

Видно, почерк у судьбы психопатичный —
не читаются намеки и упреки.

Переписка будет слишком личной.
Героиня — слишком одинокой.

Хочешь, выйди на обзорную площадку —
посмотреть на хаос и величие
Иерусалима. Божья грядка
отражает лень и безразличие.

Хамсин в Иерусалиме

Вот мятая рука больного дня.
Возьми, сожми и отправляйся в Город.
Здесь все такие – дети остря.

Вот свет рябит. У городской слюды
одна забава – уловить предметы.
А в небе раздувается волдырь.

Вот у него – сосуды и зрачок.
Вот у тебя – сосуды и ожоги.
Здоров сегодня только дурачок.
Но он давно и признанно убогий.

Вот ты петляешь, чтобы скрыть тропу.
Но за тобой охота не ведётся.
Нет, не ведётся. Не охота. Труп
асфальта сер и чуть потёк от солнца.

Прижми ладонь к расплавленной земле
и обменяйся пульсом еле слышным.
И это всё, что может сделать пришлый.

Иерусалим, декабрь

Нашу зиму надо ловить на осенний жмых.
Эта тряпичная кукла, озябшая, озверев,
будет жаться к полудню, к солнцу потянется хнык,
будет бродить голодная, холодная. На заре
набухнет от серого трепета, от тумана так оплывёт,
что еле двигаясь, станет следить за тобой из щелей,
в улыбке кривится сжатый, зажатый улыбкой рот,
и осень мелкими листьями вибрирует вместе с ней.
Эта зима особая, это зима-идиот,
не думает, не охотится, просто дышит и ест.

У серой зимы бездумной есть такой собирательный кот -
этот и жрёт, и спасается, и даже не падок на лесть,
это такой специальный зверь для сохранности сил,
его и кормят, и поят, и гонят, и травят, а он
смотрит из подворотен на тех, у кого просил,
и улыбается молча, как сжатый аккордеон.

Маршрут

Тазик наплачем, пусть отражается небо.
В небо заглянем, пусть отразятся глаза.
Это ведь ты, человеке, немного манерно
тарачишься в душу, думая, что в небеса.
Шагом нетвердым, слегка запинаясь на сгибах
судьбы в неотглаженной робе, идем и идем,
а в тазике нашем плавает снулая рыба
её мы несем в водоем.
Нет водоемов в Городе нашем небесном,
наша вода проливается мимо и прочь.
Рыба, ты тварь несчастливая и бессловесная,
в тазике тварью словесной несомая в ночь.

Иерусалимский романс

А вот и напишу о марте в Иудее.
Пусть корчится любовь, картинно умирая,
забуду. Видишь холм, других холмов холмее —
на нем Иерусалим, врата Небес и рая.

По кромке ремесла и творчества ступая,
не удержать в руках хронической неволи.
О, Иерусалим! Врата Небес и рая!
Сейчас она умрет — так выпало по роли.

Но к марту! Ё-мое! Как истерична зелень!
Цветение ее свершается, вбирая
агонию любви и будущее бездны...
О, Иерусалим! Моя квартира с краю,

за ней игривый март щекочет пасть Кидрона,
брезгливо улыбается невнятный спящий рот.
О, Иерусалим! Врата небесной зоны!
Любовь почти мертва. Сейчас она умрет.

Дождь в Иерусалиме

Под каплями дождя чугун лоснился —
купание коня в пустынном сквере
в остекленевшем, уходящем свете.
В чугунной шкуре отразились лица:
мое — украдкой, змейкой, мотыльком,
вполоборота, на излете встречи.
Твое — усердно, жестко, как клеймо.
Вчekanен в круп остолбеневшей вечности.

На улицах, совсем не торопясь,
гуляли ненормальные с зонтами.
Одни тихонько трогали ногами
святую воду и святую грязь,
другие, закрутив зонты волчком,
и головы задрав, играли с небом
в игру азартную, и требовали, требовали,
и в грудь свою стучали кулаком.
А третьи, торопливо и легко,
меняя траекторию движения,
метались за своим изображением,
как стайка раззадоренных мальков.

Хроническое иерусалимское

Плакаты твоего настроения.
Веселье твоего одиночества.
Дефекты воспитания и зрения.
Жить хочется -
существовать опротивело.
Лает собака соседская,
визжит. Она некрасивая,
непородистая, истеричная, детская,
дети ее, правда, забросили,
гуляет с ней - нечасто - старушка,
артефакт затянувшейся осени,
сучья игрушка.
Ветер поднимается лишь вечером,
задает порывами - ритм.
Это не то, что бы лечит -
бодрит.

Концентрация кукол, Всевышний, цветущий миндаль,
что-то тикает, кто-то взрывает, взрывается.
Те, кому не везло на дорогах валяются,
собой представляя и рок, и урок, и деталь.
Пейзаж, изменяясь все время, на деле - застыл,
раз отразившись в глазах молодых и пустых,
два отразившись в глазах умудренных и тихих,
три отразившись во всех, от мала до велика.
Город, веселый вчера, веселится натужно,
хихикая нервно в сплетении каменных кружев,
депрессия делает то, что считает приличным,
давние ссуды свои возвращает наличными.
Длань распростерта над городом. Хамса. Ладонь.
Дуля. Обилие жестов. Обилие смыслов.
Водоворот, общежитие, бегство, огонь.
Идите от нашей воды со своим коромыслом!

Весна в Иерусалиме

Тепло! Тепло! Мне удалось дожить
до всплесков зелени, эмоций и заката,
когда над тканью неба так дрожит
вишневый рот весны придурковатой,
что хочется подыскивать слова,
дарить их гроздьями, чтоб сок стекал по коже,
чтобы шептать: "О, Господи мой боже"
и знать, что ты грешна и не права.
Но все-таки — как удалось дожить?
Я улыбаюсь длинно и маняще,
так, верно, улыбался ангел падший
звездой, за огородами, во ржи.
Взмахнув рукой, плесну вина туда,
где гаснет солнце — зачеркну потерю.
И ужаснется первая звезда,
и усмехнется Арлекин над нею.
Струись, восточной ночи домино
по всем семи холмам Иерусалима,
пусть в темных складках темное вино
проявит тайный запах львиной гривы.
И мутной взвесью пыли и любви
полны глаза животного владыки.
Сырого счастья вырезку — лови!
А проглотив, ласкайся и мурлыкай.

Дни покаяния

Конус белого света во тьме был похожим
на свисавший со звёзд электрический колокол.
Бил в глаза, рассыпался мерцающим оловом,
и удары над площадью медленно множил.

Созывал на служенье. Входили чужие,
повторяли беззвучно: Отец, услышь голос мой.
Шевелились на талесах гибкие полосы.
Купол судного неба, и в нём литургия.

Храм без стен, где пространство молитвы на время
отделило своих, над землёй поднимается.
Там внутри во всю душу поют, надрываются.
Каждый сам по себе. Ты один, и со всеми.

Ключья блеска плывут: птиц трепещущих стая,
как сквозящее тело распластанной женщины,
появилась во храме. Сияньем изменчивым
наполняет весь купол от края до края.

Это в женской и зримой Его ипостаси
видно стало воочью присутствие Божие.
Там, где десять во Имя, - они уже ожили.
Вместе соединились, в их пенье со-гласье.

Облачённые в белое люди чужие.
Пульс распева, единое сердцебиение.
Всё известно о каждом Тому, чьё решение.
Даже волосы на головах сочтены их.

Ночь отмены всех клятв, расторженья обетов,
утоления жажды духовной и голода.
Блеск мерцающих крыльев ложится на головы,
на затылках сжимается в обручи света.
Ты Закон и спасенье, Отец наш Всевышний.
Арамейские фразы становятся вязкими.
Трудно вы-говорить, рты залеплены масками,
не хватает дыханья. Услышь нас, услышь нас.
К трибуналу небес пре-возносят моления

души старых людей. Просьбы их о вписании в свиток постановлений, где жизнь без страдания хоть на год, но продлится. Авину, Малкейну¹.

Голос трётся о воздух сгустившийся, робко в гимн вплетается ниточкой слов покаяния. И не мысль, но внезапное напоминание, как удар изнутри в черепную коробку:

ведь и после тебя в ту же ночь, те же люди... Но пока ещё тут, каждый вдох – «Аллилуйя». Воздух жизни в израненных лёгких ликует. Ты священник себе самому. Будь, что будет.

Над свечкой зажжённой качаясь, суббота бормочет невнятное благословенье на древнем наречьи. Кому-то вверху улыбается. Узкие плечи и крылья, прижатые к платью, укутаны ночью.

Плывут в потолке теней медленных круговороты, огромным цветком распускается пальма. Под нею за длинным столом двое в белом, встречают субботу. Светящимся потом во тьме истекают их шеи.

Друг к другу повернуты лица. Слова вылетают из губ неподвижных и вьются, толкаются между двумя головами, как бабочки. Плотная стая порхающих маленьких слов облепляет одежды,

стучится в глаза, забивается в уши и в глотки... Но сквозь бормотанье над ними, совсем уже низко, субботний огонь с темным стержнем внутри, словно лодка с пылающей мачтой, всплывает. И сыплются искры.

¹ «Авину, Малкейну» – первые слова главной еврейской молитвы, которую читают десять дней покаяния между Рош Ашана (Новый Год) и Йом Кипур (Судный День).

Кесария. Концерт

Амфитеатр. Камни, пот, окурки.
Вдоль горизонта движется песок.
Среди камней – поющая фигурка.
И это – самый Ближний мне Восток.
На связках тормозя голосовых,
выруливали круглые рулады,
и, набухая от нескромных взглядов,
кружились роем возле головы.

Заполнила пространство и застыла
покрытая испариною трель.
Темнеет воздух словно акварель,
в которую добавили чернила.
Две сотни тел, преодолев усталость,
сквозь трель летели в акварельной мгле.
И женщина поющая казалась
последней остановкой на Земле.

Уставший, как корабль

Отключи ночь, поспим,
Я устал, как корабль.
Отключи звук воды, капающей на кухне.
Отключи запоздалый автобус на улице.
Отключи голодную кошку в момент ее броска
На дикого голубя, спящего на крыше.
Отключи обувь на пороге,
Книги на полке, книжных героев
И геройства,
Отключи пальто на вешалке,
Похожее на безголовую женщину,
Отключи свои ноги и грудь,
Отключи себя, поспим,
Я устал, как корабль.

Почему ты меня позабыла?
Если бы я был богом,
Заповеди лучше, более праведные,
более правильные
Послал бы через пророков своих,
Велел хотя бы:
Сказать женщинам, что грех забывать человека!

Почему ты меня позабыла?
Ведь человек, будучи забытым, меняется,
Например,
Забытая женщина становится шлюхой,
Забытый мужчина убийцей, мерзавцем, скитальцем.

Сломанная лапа волка
Больное место степи.
Воем своим волк утешает степь.
С топотом конских копыт
На степь надвигается тьма,
Возглас «хо-хо!» не даст ослабнуть конским ногам.
«Хо-хо!» изнанка «ох-ох»,
Сидя на коне, не вздыхают!

Со склонов гор мы вскочили на спины коней,
На конском языке поговорили с ними.
Грива коня - наше знамя...

Самая лучшая женщина

В этом сером городе, где мы живем,
Каждый день находят труп неизвестной женщины,
Каждую ночь неизвестные мужчины убивают
Неизвестных женщин.
Неизвестно за какие грехи...

Женское тело не хранит следов мужских рук,
Чистым выходит из ночи белое тело,
Женское тело не предаст любимого мужчину!

Фотографируясь, человек продлевает себе жизнь,
В каждый миг фотографирования
Жизнь на мгновение застывает.
На мгновение все медлит с концом,
Вот секрет долголетия...
Белая пустота на обороте –
Это жизненный путь, пройденный фотографией.
В этом сером городе, где мы живем,
И женщины как фотографии.
Фотография, белая на обороте,
Пройденный жизненный путь не показывают никому.

Бедность – вид заразной болезни, в этом городе
Один за другим заражаются люди,
Но среди них есть прекрасные люди,
Например, за мужчину, на войне потерявшего ноги,
Вышла замуж
Та молчаливая женщина, что носит теперь
Мужа своего на руках.

Перевод с азербайджанского Ниджат Мамедов

Личный выбор

Доцент Данила Брадобреев
(до брака – Даник Пиксельман)
в войне арабов и евреев
внезапно был за мусульман.

В его лимбической системе
такой сложился образ умм,
что он за них бодался с теми,
кто изобрёл «Фейсбук» и «Зум».

Неотличимый в арафатке,
болел истошно за «Ахмат»
и думал, что к последней схватке
нашёл спасительный формат.

Но умерев, попал в полымя
к другим предателям плохим.
Ведь как не исковеркай Имя,
в оригинале – Элоким.

С добрым утром

С добрым утром, сектор Газа,
здравствуй, тихий мирный житель.
что несёшь ты из магазина?
чай? прокладки? освежитель?

- Нет, - Али ответил гордо, -
у меня внутри пакета
шнур какого-то Бикфорда
и железная ракета,

я иду путём шахида,
помолился на ковре я,
ублажил овцой либидо
и хочу убить еврея.

эти самые евреи
отобрали наши рощи
санузлы и батареи
оскорбили наши мощи

надругались над Кораном
побеждают в каждом споре
уничтожить их пора нам
смыть волной народной в море

счастье обрету, воюя
стану молнией и бурей
и очнусь уже в раю я
в окруженьи юных гурий...

- Что ж, Али, - сказал бесстрастно
бессердечный беспилотник -
ты не избежал соблазна,
ты не доктор и не плотник

ты стал жертвой глупых басен,
вроде злобного питбуля
ты безумен и опасен
вот тебе в лобешник пуля.

....
выстрел, кровь, мозги, инферно
по сети гуляют фотки
и рыдают лицемерно
пожилые евротётки

ведь мужья, устав от говн их
к пи**расам жить ушли,
и они утех любовных
очень ждали от Али.

Дед

мой дед, Израиль Абович Трёмбовлер,
после войны заведовал торговлей
любил гулянки, ненавидел быт
и бабушкой был изгнан и забыт

мы встретились в мои примерно десять
и он повёл меня покурлесить -
Сокольники, мороженое, горки -
и не пытал про двойки и пятёрки

я дома у него гостил нечасто,
боялась мать житейского контраста -
он дул коньяк, дымил как паровоз
и матерно смешил людей до слёз

в тринадцать мы распили "ркацители"
его ботинки празднично блестели
не понимал он в книгах или пьесах
но объяснил мне, что такое Песах

всегда был бодр, вальяжен и не кроток -
в моём архиве не осталось фоток
есть две у мамы в Иерусалиме -
не поделюсь неоцифрованными ими.

Там на одной подросток тощий, ловкий
с огромной допотопною винтовкой
и сверху надпись зубьями короны
"боец еврейской самообороны"

а на другой, уже не очень ржавой
год сорок пятый, где-то под Варшавой
катушка провода, медалька, финский нож...

как будто я стою - до родинки похож.

Еврейский муж

явился вечером с букетом.
колдует ужин над плитой.
спросил - куда поедем летом?
подружки в ауте - святой!

гулял с детьми в субботу в парке
купил без повода браслет
а уж насколько ночи жарки -
об этом слов приличных нет

и даже тёща - королева!
и с тестем что-то там басят...

а то, что ходит он налево -
так парню ж только пятьдесят...

Еврейский ответ

Мы похожи с тобой как Кореи,
Как Флорида и Остров Свободы,
генетически оба - евреи
а во всем остальном - антиподы

я фанат фаршированной рыбы
ты привычен к джахнуну и питаю
я твоей не добился сестры бы
да и ты для моей не воспитан

не знакомы тебе ни Мацуев
ни Пелевин, ни «Воля и Разум»
и мы оба на Песах, мацу ев,
даже Богу молились о разном

так какого же собственно хрена
нашу связь не способен порвать я
почему, когда воет сирена,
мы становимся ближе чем братья

что-то есть в этом странное, точно -
как сказал один старенький ребе
наши вечные корни не в почве
а сплетаются где-то на небе.

(обжориада)

Один еврей любил еду -
форшмак, оладьи на меду,
и суп фобо, и курагу
манты, селёдочку, рагу...

Кричат - "обед!" и он - "иду!!!!"
Зовут - "фуршет! и он - "бегу!!!!"

Бывало, всадит вилку в кус
и аж урчит, входя во вкус,
и, невзирая на кашрут,
хомячил то, что гой жрут,
вот эту мразь - бекон, угрей...
Короче, вкусно ел еврей.

И, запивая снедь вином,
неплох был, кстати, и в ином.

Его брались лечить врачи -
"тебя же в гроб сведут харчи!
в них жир, крахмал, холестерол
а нужно - спорт и рокенролл.
Вот список правильных диет!

Но наш не слушал надоед
и весил больше ста кило -
ничто ему не помогло.
Итог - давление, диабет
не до свершений и побед -
лежит, и всё вокруг в тумане...

А виноваты мусульмане.

Тунику лёгкую задрав

«Природа тот же Рим...»

О.Э.М.

Быка любившая матрона, браво!
О бабью стать твою и дышащую справно
Тугую плоть – я, грезящий во тьме
Своих времён – оттачиваю жало,
И Рима обмелевшая держава,
Как некий пласт, раскинулась в уме.

Мужчина – минибук. Но бук-то уж навряд ли
Мужчина (это ведь не важно, что рога
Есть украшеньё общее)... Строга
Наука логика, хотя не дорога, -
Лишь были б внутренние органы в порядке.
А встречи, надо думать, были сладки.

И ты, тунику лёгкую задрав
До крепкой белой шеи и склонившись,
Была по своему права, с природой слившись,
И бук – природа был не меньше прав.

И семенем накаченная туго,
Патрицианочка, бычачьих чресл супруга,
Глотай бодрящую горячую струю,
Покуда для тебя не вылепили друга,
Что душу даст тебе и выжжет плоть твою.

Покуда нежный зверь, собой объявши древо
И свесившись с ветвей, не скажет: «Где ты, Ева?
- Вот яблоко тебе»
- «А это вкусно?»
- «Да».

И, друга повстречав, с ним яблоко разделит.
И Рай в последний раз для них постель постелит,
И выведет из врат и отошлёт в стада.

На смерть Цицерона

Марк Туллий! Корень зла - сей воздух ядовит,
но речь идет о том, что Рим гниет, Марк Туллий.
Равно заражены сенаторы, сады,
и бабы жирные, и греки гувернеры,
и в доме Януса воинственный, привычный сквозняк...
Клянусь Судьбой - прискорбный вид, Марк Туллий!
Стекает мозг в прибрежные пески.
Невыразимо сух приборя сыр овечий...
Что в Городе тебе? - бродяги, кабаки,
изысканных матрон любовники быки,
да к небу кулаки - азы плебейской речи.
Что в Городе тебе?
Замкни губастый рот:
Дежурный триумвир охвачен честной жаждой -
Он Фульвии своей преподнесет однажды
Твой череп.

Sic transit...

Конвойный, грубый скот,
вольноотпущенник - он карьерист, мерзавец!
Три довода мечом неотразимы.
В том
Порукой Фульвия. И опустевший дом.
И македонский брег.

Но неужели зависть
В ораторе такой мог вызвать аргумент:
Испанский острый меч?
Как воздух густо-бел!
Твой гордый Рим гниет, как старый сифилитик.
Ты недорассчитал, блистательный политик.
Недоучёл, писатель, проглядел.
Втекает мозг в прибрежные пески.
Густеет немота сенаторской конюшни.
Наглеют всадники. В провинциях разврат.
Дежурный триумвир томится жаждой власти,
И он не пощадит.
несчастный мой язык, проколотый иглой нет шпилькой
злойной бабы
и правая рука, прибитая к трибуне на площади
Так
Я, Марк Тулий Цицерон,
сим объявил в веках смерть города-героя:
Республика Меча рождает Трон,

могилу собственную роя.
Страх слушает себя и глушит плеск реки
Во тьму набухшую распаханной аорты.
Но высыхает мозг и с неба звуки стёрты,
И вечность сонная ложится на пески.

Александр Кушнеру

...а нам не тень собой кормить,
Но эту мёрзлую землицу
В берёзах басенных, в татарских тополях,
В осенних пустошах, в расслабленных полях,
Где всё погост – куда ни ляг,
И бездорожный свет заглядывает в лица.

Здесь шеи и дома рубили топором,
И реки сонные краснели от Завета.
Каким такой земле заплатишь серебром?
Скрипит меж берегов несмазанный паром,
Нет никого, и не найдёшь ответа.

Спокойно спи! Здесь небо и земля
Давно ли вспаханы? – а поросли бурьяном...
Какого ни на есть варяга-короля!
Спит, бедная, соски и бельма оголя.
Так тихо... И звезда чуть плещет за туманом.

Остановка на ночлег

Я остаюсь гостям на зависть
Другим, которым не даны
Ни кофе, крепкий, точно завязь,
Ни ночь с местечком у стены.
(паркет качается сначала,
хозяйка стройная пьяна
и как стрела внутри колчана
торчит природа из окна)
Я остаюсь. - Довольно склоки
С асфальтом ночи ножевой,
Когда на улицах широких
Он бьется плотью неживой.
И по зиме уносит пьяниц
В насквозь раскрытые гроба,

И для последних покаяниц
Одни сугробы нагребал!
(а ночь венчается за шторой,
и пьяной женщины плечо
горит, и длится век, который
нас изуродует еще!)
Пусть нам приснятся как живые,
На нашу бросившись постель,
Асфальта зори ножевые
И дождевая канитель.
Чтоб, в эту бестолочь зажатый,
Я видеть мог, как наяву,
Иконостаса лик дощатый
И олимпийскую траву.
Любви бездомная морока!
Больного города тоска!
О, время – спящее в берлогах.
Пульсирующее в висках!
(уже звезда густеет в кроне,
и растворяются кусты)
О, тот колокол вороний,
Пугающий до тошноты!
Я жил в тоске. Зверел от злости.
Я даль разменивал на близь.
Который час? - Вернитесь, гости!
Подруга спящая, проснись!

М. Г.

Яблоко осени желто-зеленой
Падает вверх, вопреки
Доле своей и землице влюбленной...
Если бы нам в мотыльки!

Как я любил это пламя сухое
С добрым сердечком во рту,
Ежевечерний туман над рекою,
Вещего зренья тщету!

Кто разбудил эту синюю крону -
Скажешь, а я повторю.
Над колокольней, где ласточки тонут,
Светлую вижу зарю.
Сонное озеро плещется в чаще,

Нежит в закатной крови...
Не говори мне о доле пропащей,
Если она по любви.

Разве не так же тоскует о Боге
Маленьких племя свечей,
Как человек, обреченный тревоге?
Как бы я выжил - ничей?!

... В тоненьких крылышках, в лапках прижатых
Утлое тело неся,
Падают яблоки - ни удержать их,
Ни задержать их нельзя.

Обухово

Обухово, на кладбищах твоих
Я буду ждать суда, покоя, мира.

Кресты и звёзды, точно души мёртвых,
Разделены дорожным полотном,
И в небе правит полукровка ворон –
Два гноя в нём текут, он сыт и пьян.

В чужих гробах лежит моя душа
И сквозь гнилые доски прорастает.
Её глаза – кресты, берёзы, липы,
Простой цветок и драгоценный мрамор –
Безмолвный или с надписью короткой
На клинописном языке иврит.

Два кладбища лежат в душе моей,
Уже не разделённые дорогой.
И нет уже «направо» и «налево»,
Не существует чисел, направлений,
А только почва... Почва и судьба.

Как просто жить на свете фаталистам,
Как в самом деле просто, Боже мой!
Сойти вот так однажды с электрички
И пристально взглянув по сторонам,
Вдруг осознать – легко и беспощадно –
Что ничего другого не осталось,

Как только ждать суда, покоя, мира,
Обухово, на кладбищах твоих.

Я очнулся. Но несколько суток,
Проведенных во сне и в бреде,
Представляли собой промежуток
Нежитья - и не шли в поводу.

Но казалось болезненно важным
Удержать на губах и в горсти
Полумрак и талончик багажный
На проверенный хлеб взаперти,

Перепевы мои, переходы,
Голос крови, работу в крови,
Неизбежную тяжесть породы
И бессрочную старость любви.

Я любил нелюбезных красавиц,
Но в золе предпоследнего дня
Вождь-отец - козопас и мерзавец -
Разделил меня на два меня.

Узнавай меня, мучай поденно,
Унижай, не плати серебра
За живые слова-веретена
Над губительной темой добра.

И поднявшись над собственной зыбкой,
Я их проклял - и сбросил крыло!
Но глядело судебной ошибкой
То, второе мое ремесло.

Стихи войны, мира и не только...

Незванный гость

Мой дед, милиционер,
Выселял, например,
Крымских татар.
Он ходил по крымским дворам,
Вооруженный автоматом и матом,
И кричал: «Давай, а не то подожжём!»
Его пырнули ножом.

Так вот: он помер через год.
А тот, кто его пырнул,
Вернее – та, что пырнула –
«Десятку» свою тянула.
Но малость не дотянула –
Осталась на Колыме.
Так вы объясните мне,
Где справедливость?

Дед выполнял приказ.
Значит, не виноват!
И что – что не в первый раз?
Приказ - и в Москве приказ.
Москву же нельзя ножом.
И выселять – не смей.
И нет, говорят, пока
Такого АК, матюка,
Чтоб ей угрожать: «Подожжём»!

И в лагерь на Колыму
Рожать татарских детей
Москве идти ни к чему.
А почему?

А просто – приходит гость,
Незванный, конечно, гость,
Душевный, как в горле кость –
И говорит, поигрывая АК,
Акая и икая:

– Пословица есть такая,
Мудрая, как оружие:
«Гость с “калашом” – хуже...»

Грустная песня

Написано в апреле 2014 года

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой...
Милый снайпер, зоркая Катюша,
Присмотрись, ну разве я такой?
У меня на вышитой сорочке
Нет ни звезд, ни свастика, ни ракет...
Среднерусской полосы цветочки,
Украинский простенький букет...
Слева – мак, непоправимо-алый,
Справа васильков голубизна.
На любовь бабуся вышивала –
На коханья мама берегла...
Неужели за мое желанье
Жить по совести и выбирать пути,
Ты готова, задержав дыханье,
Ты готова, Господи прости?..
Целишь в сердце, полное любви.
Я другого сердца не припас...
Не своди на переносье брови,
И не щурь с обидой левый глаз.
Сквозь прицел глаза не наглядятся...
Верю я – рассеется туман,
И такие груши уродятся
На кордонах дружественных стран.
Мы пойдем по киевскому маю
Соловейку слушать у реки...
Не забудь, пожалуйста, родная:
Слева мак, а справа васильки.

Моим друзьям и их джипам

Полвека работал, трудился как надо:
И джип есть, и дачка. И есть на валютных счетах.
Не буду скрывать – на четыре снаряда
Для гаубиц.

Если в валюте считать.
Есть пара квартир, но,
 як брокери кажуть – наразі не варто...
Наразі. А от запрацює ембарго,
То я хоч кому, хоч Орбану¹ продам -
Пильнуй за рекламою, пане Орбан.

И будет ещё на четыре снаряда...
Российская вдовушка, что ж ты не рада?
Спасёт пусть не тело, а душу солдата.
Молись, чтобы он не погряз безвозвратно
И в бучах свой каинов грех не умножил...
Молись, и снаряд мой поможет, быть может...

Полвека работал – что старому надо:
Кефир да овсянка,
Четыре снаряда...
А что ли, травичку косить не спеша,
аккуратно, как Шольц¹, на газоне?!
...Джипок мой при деле - бегаёт в теробороне.

Из «Ковида»

1

И пару слов касательно любви...
Что старику полуслепому – речи,
Когда и ноги все, и руки, плечи,
Когда слова больны и не слышны, –
Прикосновение – вот человечье...

Растирочка, какой-нибудь массаж,
Похлопайте, ладошку подержите,
И спинку почешите,
Поглаживая,
 – можно каждый раз,
Не бойтесь патронажных, – покормите.
А можно, измеряя сатураж:
«Хотя бы – девяносто...» – умоляя,
Не возвращая долг сыновний наш, –
Коснитесь пальчика, любовь переливая.

¹ Шольц и Орбан – правители Германии и Венгрии

Заветный дар – всевышняя жалель –
Не покидай меня на свете белом,
Звучи во мне, сияй моя капелла...
...Не это ли хотел сказать Микель –
хранитель наш по имени Анджело...

2

- Кажется, пошло на улучшение... -
Шепотом, тихонько, никому...
- Кажется, пошло...
Во всем дому
Шепотов и шорохов смешение.
- Кажется, - и Старший Домовой
Говорит Стиральному: – Потише!
Пусть поспит. Глубокий сон дневной
Старикам болеющим прописан.
- Форточку?
- Не надо! Сквозняки!
- Нешто Сквозняки не понимают?
- Молодые... Ветер в голове...
Дверь прикройте. Я понавеваю
Сны... Пусть спит...
- А кто это шуршит?
- Луч ползёт, - а этого нельзя, -
Замечает из щели усатый, -
Может разбудить.
А ну, ребята!
Тараканам старики - друзья.
Ну-ка, штору, дружно, ну-ка... А-а!
- Ты гляди, а сдвинули, однако...
- Тише, тише!
- Выключи отжим!
Тихий час – есть лучшее лечение...

Кажется, пошло на улучшение...
Уповаем, молим, ворожим...

Когда окончится война,
Когда настанет мир,
купив некрымского вина
я созову на пир
соседей, кроме одного,
который на Майдан

боялся выйти, клял его
и, не прощая ничего,
свободой был не пьян.

- За что, - кричал он, - лили кровь?
Его не одолеть.
Всё зря, и зло вернется вновь,
Оно – в народе... Где любовь?
Где чистота? Ответ!

Я убеждать его не стал.
Я невлюбил его...
Себя я тоже не позвал
На это торжество.

Брелок

Я таскаю с собой, как брелок,
Город-случай и город-предлог
С этим «шо», с этим «г» фрикативным,
Этот край с населением и гимном
На каком-то наречье чудном –
На медовом, степном, водяном,
На дорожном, крутом и пологом,
И твержу об одном, об одном
Под любым пустяковым предлогом,
Что отсюда вовек не уйду,
«Шо» и «г» заключая в узду.

Этот город со мной налегке,
Весь в кармане моем, на брелке,
И душа его неуследима,
Словно я до сих пор еще здесь,
Пью дворов его морось и взвесь
С острым привкусом счастья и дыма,
И восход его весь, и закат,
И отзвучья его аффрикат
Замирают и тянутся мимо.

Почва

Мимо ключа, что почти заглох,
По тропочкам травяным
Ползет живой муравьиный мох,
Значит, и мы за ним –
По солнцу, в зените его, в дымке
От почвы, пыльцы, грибниц –
Готовы стайкой взмыть налегке
И вовсе пластаться ниц.

На зное за нами зудит комар,
Кузнечик всюду снует,
Медянка варит крапивный взвар
И пчелка готовит мед.
А тому ключу скоро триста лет,
И столько же нужно ждать,

Чтоб сошел сюда галилейский свет,
Разлилась его благодать.

Но того и хватит, что нас левой –
Камыш, осока, вода,
Сетчатка гнезд, глухота ветвей,
И, кажется, навсегда.
Триста лет назад, триста лет вперед
И триста шагов окрест.
Это в нас не выстынет, не замрет –
Мы сами из здешних мест.

Младенцу

Не ходи: там тебя убьют.
Не смотри туда.
Там песок раскален, как трут,
И горит вода.

Там торчат остриями вверх
Камни да кусты.
И меж ними – собачий брех,
Вой до хрипоты.

Там заброшенный стадион,
Жестяная ржавь
Добредут до конца времен
Посуху и вплавь.

И земля там разделена
На дворы и рвы,
И затаптывает стена
Стебельки травы.

За стеною той – еще три,
А над ними – жесь.
Дом такой, как наш – посмотри.
Даже люди есть.

Каждый взял себе по стене,
Распахнул окно.
А во рву, на песчаном дне –
Глухо и темно.
Там живут, кто найти не смог

Ни стены, ни окна.
Им не нужен ни ты, ни Бог,
Чтоб глядеть со дна

На лопух, лебеду, вьюнок,
На жестяной уют –
Туда, где выживешь, мой сынок,
Или тебя убьют.

Эпитафия

Вот живет себе человек,
Одинокий, как человек.
Никуда его не зовут,
Не берут его никуда.
– Вот я тут...
– А зачем ты тут?
– Тут мой стол,
Табурет,
Еда.

– Ты зачем, человек, живешь,
Ходишь мимо нас, человек?
– Чем же я вам так нехорош?
– Просто ты живешь, человек.
Просто ходишь ты мимо нас
Или рядом в лифте стоишь.
Лишний свет берешь,
Лишний газ,
По паркету скребешь, какмышь...

– Ну простите – я виноват,
Столько зим прошло,
Столько лет.
Никому я ни сват, ни брат.
Я живой еще или нет?
Просто я ходил мимо вас,
Долго-долго, видать, ходил,
Никого от себя не спас
Да конфоркой пустой чадил.
Позабудьте мой рост и вес,
Не зовите меня никак.
Я на самом краю небес
Усмиряю мышиный шаг.

Женитьба

Листая старый календарь,
махнешь стакан и повторяешь:
меня любила секретарь
районного суда - товарищ
Голобородько. Ничего
с ней не срослось у нас, и все же
по этой части о-го-го
была, - ну и зарплата тоже.
Папаша - шишка в краевом
ГБ, - волчара из помятых.
Сам без пяти минут шпион
израильский - в пятидесятых,
когда своих вгоняли в план,
гребя по сосенке с окраин, -
уже маячил Магадан,
да в Мавзолей сыграл Хозяин.
С тех пор товарищ при штанах
с лампасами – куда уж выше
взлетел о новых временах,
да и к Москве, того, поближе...
А я босяк - ни дать ни взять;
как перст - где сядешь там и слезешь.
Не стоило и залезать
(как тесть обмолвился) а мне лишь
костюм пошить - пускай трепло
с образованием в два класса,
но вот же, думаю, свезло -
в родню к начальству затесался.
Теперь одна дорога - в загс,
хоть по залету да на "Волге".
А там пожалуйста в кабак-с:
официант - свинья в ермолке;
то се, и музыка живьем,
форель на блюде как живая.
Ну все, подумалось, живем.
А гости! - мама дорогая.

Гляжу: кого тут только нет.
Чинов и званий - как в солянке.

Меж ними зрится и главред
журнала "Труженик Лубянки",
и колченогий организм
на костылях, в прикиде мятом,
введение в канныализм
преподававший при усатом.
Рябит от кителей и лиц.
И каждый трудится, ежовых
не покладая рукавиц:
иные - в лагерях мордовых,
а эти в городе родном
ночей не спят в полуподвале, -
все нынче за одним столом
стаканы за любовь подняли.

Ну, "горько" крикнули: жуют,
а мне и вправду загорчило:
сплошной духовный неуют,
как у Л. Н. Толстого было.
Рвануть бы тоже из семьи
в свою пивнушку на привозе,
хоть поутру да на свои,
а то на рюмку к тётке Розе.

Да ладно - думаю – прошло.
Как есть - вчистую прогорело.
И уж зубровой полкило
уговорил под это дело,
под рыбу с барского стола,
покуда гости из обкома
гадают - что ж там за орла
окольцевали? - "с Минтяжпрома,
похоже, залетел москвич"
(а я все слышу) "хрен столичный..."
- Ну, вы бы это... поприлич... -
им отвечаю - поприличней
себя ведите! - и в сортир
ломлюсь, тяжелый от зубровки,
как со стихами в "Новый Мир"
ветеринар из Шепетовки.

И слышу хохот: кто? о ком?
Да обо мне же! - опознали.
Мол, это грузчик в овощном,

в стекляшке при ЖД вокзале.
Тут теща пятнами - ей-ей
не хуже Гурченки - из этой,
ну как ее? про голубей, -
и в ридикюль за сигаретой;
как на иголках от стыда,
платочек комкает, и тут же
с зампредседателем суда
чуть не милуется при муже.

И тошно так от этих рож
вдруг стало: чую - накипело.
Кричу - рабочего не трожь!
ну грузчик - вам-то что за дело?
Сидят себе, от пуза жрут,
а кто-то шарит по помойкам...
За все сказал: за мир и труд,
как есть; за Сахарова в Горьком,
и за Катенина в Твери
(ну, в Костроме, ведь не об этом
же речь), и думаю: ты ври,
да не заврись – но поздно, где там!
Несет: нет правды на Руси
и вместо Бога в сквере идол...

Такое, в общем, Би-Би-Си,
за милую им душу выдал,
что уж папаша валидол
в кармане шарит.. Шуму - что ты!
И четверо - а ну, орел,
пройдемся! - с папиной работы.
И благоверная сидит,
бела как смерть, куда гости
гуртом теряют аппетит.
- Да ладно, - отвечаю, - бросьте!
Повеселее что-нибудь
забавай, - как тебя? - маэстро.
Ещё по соточке на грудь
и ящик водки для оркестра!
Но кое-кто из-за стола
уже встаёт, глаза отводит.
Другая музыка пошла
и тестя под руки уводят.
Из вестибюля рык - "в Сибирь!"

Сгною собаку!" - затихает.
Гляжу, - а колченогий хмырь
довольно руки потирает.

А дальше, как в тумане все...
Очнулся в камере: похоже,
прошло чумное колесо –
следы протектора на роже.
Ну, ладно, думаю, пока
следак, поди, и не разбужен.
Что там навесят с потолка,
да и кому вообще ты нужен?
Как говорится, поглядим,
пока строчит маляву дятел.
Дождемся опера... Засим
и мы расстанемся, читатель.

Включая погоду

Осень дождиком асфальта
Полирует зеркала.
Высоко гуляют альты:
Сбор звонят колокола.
И старушки, платья в листьях,
По бульвару в рыжий гул.
Тополя в шубейках лисьих,
Как почётный караул.
Ветер зонтики уносит,
И вызванивает сбор.
Воскресенье. Праздник. Осень.
И Владимирский собор...

Залив Пеликанов

Инне

Залив Пеликанов, вода с бирюзой,
Небес голубая лагуна,
На облаке белом охота с борзой
И белой кобылой драгуна.

А бриз декорации ставит гуськом,
Картина сменяет картину,
И белые рыбы идут косяком,
Толкая в корму бригантину.

Зелёные зонтики, пляж золотой,
Детишки, песочные замки,
С охоты драгун спешает домой,
Платочками машут пейзажки...

И даже поверилось где-то на миг,
Знать, вновь в простодушие сердечном...
Мы молоды снова с тобой, топ аті,
Навек в этом празднестве вечном.

Тост

Моя душа, случается, хандрит,
то цвет изменит, как александрит,
то станет вдруг прозрачнее медузы,
то пламенеет, как на старте дюзы.
А я с душой отменно терпелив,
вникаю в многоцветный перелив,
и вывожу свой градус перегрева
из генеалогического древа.
Но тело тоже иногда хандрит:
бессонница, мигрени да артрит,
всё тоньше кожа, медленней нейроны –
оскудевают средства обороны,
ветшает храм, и скоро "свет туши"...
Так выпьем за бессмертие души!

Конец света

Сегодня мне совсем не весело,
Смотрю, а солнце ноги свесило,
Сидит на жёрдочке качается,
Ну как от страха не отчаяться?
Не дай-то бог светило сверзнется,
Погаснет память, моя сверстница,
И время встанет... не намеренно,
А потому что мной не меряно.
И мира нету без радетелей,
Суда присяжных и свидетелей.

Mea culpa

*Меня упрекали во всём, кроме погоды...
И. А. Бродский*

себя упрекаю во всём включая погоду
и не зависящие от меня обстоятельства
и то что счастливого случая ждал по году
и с неприятелями часто прительствовал
и то что только в молодости и был молодым
и то что состарился клятве своей вопреки
и то что женщинам не раз говорил погодим
и то что хотел в поэты а попал в дураки

похоже оставлю после себя пустое место
отверстие как говаривал Иосиф Бродский
копия фона тихий час и сиеста
молоком по белой бумаге наброски
но электрический ток есть движение дырок
предсказано а теперь и на плёнку отснято
если отречься от ругани и придинок
пустое место бывает свято

Я отвык от зимы

Я отвык от зимы,
от её белоснежных красот,
от мохнатых снежинок
и ветра студёного от,
и от стужи в трамваях,
в троллейбусах, даже в метро,
и призывов попутчиков:
врежь ему в ухо, Петро!
и оттаявших пальцев,
и боли, сводящей с ума,
от сугрева гидролизным
и пирожком из дерьма,
от вонючих носков,
что на рёбрах дымят батарей,
и от шёпота: слышали,
этот Высоцкий – еврей?
мы теперь отогрелись...
здесь лето всегда и жара,
и нередко, однако,
нас местная ест мошкара,
ест без разбора,
будь ты иудей, будь эллин,
и веришь хоть в бога,
хоть в чёрта, а хоть в Мэрилин,
ты плати, знай, налоги,
и это свободы цена!

а рабство вернётся,
когда опустеет казна.

Игра

Свалилась ночь, вот уже и темно, хоть глаз выколи,
Поскрипывает гамак, вокруг снуют привидения,

В кустах что-то шуршит. Ёжик? Но запах выхухоли,
Залаял пёс, срываясь на визг от избытка бдения.
И вчера срывался и, наверно, сорвётся завтра.

Вспыхнуло окошко, вышел сосед с пивом и нардами,

Помусолили малость "момент", но так, без азарта:

Что общего между лемурами и гепардами?

Нас сблизила бессонница и преданность собакам,
Моя теперь там, под крылом Франциска Ассизского.
Соседский пёс уткнулся в руку... тоскует, однако,
Вот я ему дважды подружку уже и отыскивал.

Вновь пришёл мой черёд бросать окаянные кости,
Но я не в ладах с удачей в любой на удачу игре,

"Вам везёт, как могильщику на забытом погосте", –

Пошутил бы, мне кажется, господин комиссар Мегре.

Кстати, о комиссарах, у меня есть будёновка:

Тень угасшей звезды, в небеса указующий палец...
На подкладке: "Байково, улица Миллионовка,

Боец Иванов". Нитки истлели, но буквы остались.

Сосед построился. Я опять расставляю пешки,

Молюсь Фортуне с Гермесом истоиво, без передышки.

Пёс устроился под холстом, натянутым на вешки,
А я всё бросаю кости, пустышки, одни пустышки...

НОН-ФИКШН

Нателла Болтыанская

Моя еврейская история, или Длинное письмо к NN

Дорогой NN!

Я считаю тебя лучшим на свете собеседником и собутыльником. Ибо каждый раз, выслушав очередную мою байку, ты с жаром говоришь: давай уже, садись, пиши воспоминания. Я понимаю, столь лестная характеристика моих личных мозаик в большой степени подогрета крепкими напитками. Но... Ты сам просил.

Вероятно, самый уязвимый жанр на свете – мемуарный. Человек перебирает значимые события собственной жизни, перекладывая их виртуальной папиросной бумагой, мучительно ища слова... Стараются выразить свои ощущения как можно точнее и подробнее. Не упустить ни одной детали. А ты потом листаешь и думаешь: ну зачем мне эти чужие битые чашки? Своих девать некуда. Плюс к тому, всегда найдется очевидец, помнящий твои картинки совсем иначе.

Пожалуй, теперь деваться некуда. Дабы избежать обвинения в излишнем количестве крупных планов в данном опусе, я могу лишь прикрыться тобой, NN, драгоценный визави и бессовестный комплиментщик!

Прозвища-вариации на тему моей фамилии злили до желания драться и кусаться. Сейчас уже ясно, что ничего обидного в слове «Кипермаша» нет. Но не в пять лет. Я тогда спросила отца, почему все Богдановы и Шубины, а я – Киперман, и дразнят меня именно этим.

Папа объяснил базовые понятия моего еврейства. Ничего особенного он не сказал: есть люди низкой культуры. Они считают: если твоя фамилия звучит иначе, значит, ты хуже. Или если ты выглядишь по-другому. На этом месте я остановилась. Выглядела я, конечно, хуже. У меня не было косички и даже хвостика. Изложила свои тревоги отцу. И добавила: но ведь и у Ленина нет косички – у нас как раз прошел ленинский утренник. Но Ленин же не хуже.

Папа сказал, что мерить косичками вообще не годится. И что в таком качестве он Ленина не рассматривает. Не удержавшись, добавил: пассаж «Ленин всегда живой» ему лично не нравится. Потом спохватился и вернулся к основной теме. Плохо то, что тебя считают хуже исключительно по косичке или по фамилии. Это фамилия твоего деда. Но даже если ты станешь объяснять, люди низкой культуры могут не понять.

– А те, кто дразнит Кипермашей – люди низкой культуры? – спросила я.

Папа подтвердил. Обращать внимания на них не надо, но имеет смысл читать лучше, бегать быстрее и знать больше, чем те, с низкой культурой.

Я сочла это косвенным признанием высоты собственной культуры, тем более что читала я и тогда лучше. Бегала, правда, плохо. Знала немало, сказки рассказывала, и воспитательница, уходя во двор покурить, оставляла меня развлекать окружающих. Папа снова покачал головой и посоветовал не высовываться. И вообще, постараться слиться с пейзажем, не наживать неприятностей на свою голову. Мне это показалось фантастически несправедливым. Почему надо скрывать собственное отличие, если – вот оно, начинается с фамилии, не похожей на остальные, и никуда его не денешь. Сказки тоже не рассказывать? «Не каждый раз», – дипломатично подсказал папа. Слово «еврей» в его речи тогда не прозвучало.

А ты, бесценный мой NN, помнишь ли секретики? Мы в пять лет делали их из блестящих конфетных оберток, складывали на земле красиво, прикрывали осколком стекла и закапывали втайне от самых близких друзей, в месте, которое сами забывали в ту же секунду. Или же – не забывали, а прятали в памяти от самих себя.

Совсем скоро кто-то из соседей спросил меня, кто я по национальности. Я назвалась москвичкой. Хотелось общности, например, с тетей Светой на скамейке возле дома. Она же москвичка? Ну, и я москвичка. Тетя Света как будто не проявляла враждебности. Но, вероятно, ни Елизавета Моисеевна из второй квартиры (мы жили в первой), ни дядя Саша Горелик со второго этажа такой вопрос бы не задали.

Мама в пять лет, по ее собственным рассказам, пришла домой из своего бакинского двора и сказала бабушке, что ненавидит букву «и».

- Почему, Нелечка?
- Потому, что Иврей.
- Бабушка Аида Акимовна осторожно спросила:
- А меня ты любишь?
- Люблю.
- А тетю Фиру?
- Конечно.
- Так мы все Ивреи.

Просачивалось. А ведь что бакинский двор маминого детства, что наш московский кооперативный дом, - были местами «высокой культуры».

Понятие еврейства, впрочем, появилось очень скоро. Обожаемый друг Шурик мне однажды пообещал, что, когда мы вырастем, и когда умрет его бабушка, он на мне женится. Я не очень поняла связи между нашим браком и смертью бабушки. Шурик пояснил: бабушка не любит евреев потому, что они всегда во всем виноваты. А я еврейка. «Испанская баллада», чего уж там. Не выдавая Шурика, я немедленно рванула к папе с кейсом «кто такие евреи, почему я еврейка, и почему нас никто не любит». Получила довольно жесткую лекцию с информацией про гитлеровскую селекцию, линейки для носа и черту оседлости в царской России. Поняла, что с пережитками прошлого необходимо бороться. Начала сразу же. У меня была игрушка, набор фигурок в национальных костюмах народов СССР. Кого там только не было, - то есть, понятно, кого. А вот мне было непонятно. Папа (почему-то мои запросы на самоидентификацию чаще доставались ему, а не маме) сказал, что в нашей стране евреи чаще всего воспринимают себя в Белоруссии – белорусами, а в Молдавии – молдаванами, поэтому и фигурок не наделали. В моем игрушечном нерушимом Союзе только у трех фигурок наличествовали минимальные черты, соотносившие их с гонимым народом. Большие темные глаза. Зримо выступавший нос. И вот сейчас, с твоего, NN, позволения, я повешу себе на грудь сильно запоздавшую медаль: знаешь, что я сделала? Я всем трем пририсовала книжки под мышкой. До сих пор горжусь тем, что задолго до получения информации определила евреев народом книги.

Но заноза собственной, если хотите, ущербности, точила и рвалась наружу. Причем как-то странно – вокруг полно было евреев, и соседей по горшкам в детском саду, и друзей по всяким секциям. Но смысла обсуждать тему с чернокудрой Юлькой не было никакого – ее скучно

дразнили «нос на троих рос». Товарищи по несчастью меня не интересовали. А вот агитировать каких-нибудь люмпенов за интернационализм – это было моё. Благодарные слушатели радостно подхватывали крючок и втыкали его, где можно и где нельзя. Каминг-аут не удался в ста случаях из ста. Тайну принимали, и ее же предъявляли в качестве обвинения.

Нет, ошибаюсь... Одна подружка лет шести в ответ на мое признание в еврействе пообещала не говорить об этом родителям. А то папа, когда пьяный, маму спрашивает: «Ну, Люда, еще выпьем и пойдем жидов бить?»

И все это была информация из категории – мир устроен именно так, и прими это как данность. Другой кейс состоял из внешней информации. Она была в основном упакована в две коробки – старый магнитофон и радиоприемник.

Мы очень дружили с соседями. Глава семьи преподавал гражданскую оборону на мехмате МГУ, воевал, возглавлял партком факультета и потихоньку помогал деньгами евреям-отказникам. Последнюю деталь его биографии я узнала, кажется, в две тысячи двенадцатом, в Израиле, от одного из получателей помощи.

Так вот соседи приходили к нам с тем самым магнитофоном системы «Яуза». Магнитофон ставили на две сдвинутые табуретки – в первый раз он нагрелся и оплавил кусок дерматиновой обивки, потом его уже старательно размещали на этих оплавленных кусках. И оттуда с шипением текли Окуджава и Новелла Матвеева. Высоцкий в нашем доме зазвучал позже. «Поезд» и «Кадиш» Галича меня просто убили. А «Не шейте вы ливреи, евреи» вызвали массу вопросов. Родителям и примкнувшим соседям не оставалось ничего, кроме как рассказать мне про описываемые события. Правда, пару раз робко оговаривая, что это все – в прошлом.

Вот и сейчас, прекрасный мой NN, я опять совмещаю давным-давно оплавленные места с тем горячим, что их когда-то оплавало. Уже безопасно. Но края все еще неровные. Ты понимаешь, о чем я.

«В прошлом, говорите? Ничего не в прошлом», - откликнулся радиоприемник. Я этот агрегат ненавидела. Когда мы всей семьей ездили в отпуск в Прибалтику, моей обязанностью было нести его в черной сумке с двумя ручками. Он был тяжелый. А по ночам отец слушал вражеские голоса. И не давал мне спать. И про проблемы с эмиграцией из СССР я впервые узнала именно тогда.

Спросила, как это и почему. Родители переглянулись... Но не стали отмалчиваться.

«Короля Матиуша Первого» я прочла лет в восемь. И, уж не помню, сама спросила про автора или отец рассказал. Но это легло на «Кадиш». Все фейхтвангеровские книги тоже ложились на Галича. «Обыкновенный фашизм» я тоже посмотрела довольно рано, отец купил мне билет в «Иллюзион» на Котельнической.

А в моем седьмом классе сидевший впереди меня двоечник и изводила Шериев однажды на математике вдруг ни с того ни с сего обернулся ко мне и ласково сказал: «Жидовка проклятая, мотай в свой Израиль!». У меня произошел первый в жизни приступ бешенства, которое требовало выхода – в обязательном порядке. Передо мной на парте стоял пенал. И в нем лежали маленькие ножнички. Ими я и ткнула в спину ненавистного Шериева. Спустя десять минут школьная медсестра вызвала меня к себе в кабинет. Орудие возмездия проникло в спину одноклассника на полтора сантиметра.

Педсовет собрали срочно, на следующий день. На вопрос завуча, как я могла так поступить, процитировала Шериева дословно. Обычно важную информацию я транслировала миру сразу. А тут отчего-то сутки молчала.

В кабинете директора аж зазвенело. Потом меня попросили выйти. Все были в шоке, ибо у нас в школе такого произойти не могло. Половина учеников и половина учителей носили еврейские фамилии. Многие обладатели славянских имен смотрели на мир печальными семитскими глазами.

К директору вызвали моих и шериевских родителей. При закрытых дверях объявили: мы не можем так позорить учебное заведение; куда ни кинь, всюду клин. В качестве выхода предложили в буквальном смысле слова бросить монетку, чтобы определить, кого из детей папа с мамой переведут в другую школу. Выпало мне.

Сейчас я понимаю, что покинутая девяносто первая школа была куда либеральней и в отношении еврейства, и в плане инакомыслия. На год старше меня учился сын отказника Бегуна, который и арест отца видел, и во время его тайных визитов со сто первого километра на «шухере» стоял.

В 1980 (я уже ушла из школы), физик Роман Яковлевич на первом уроке ни с того ни с сего обратился к одному из десятиклассников со словами «Тёма, ты хороший человек,

мы все тебя любим». И перешел к теме урока. Отца Тёмы арестовали накануне, о чем физик узнал от кого-то из знакомых.

В новой, двадцатой школе учились сливки – в одном моем классе были и дети работников ЦК, послов, и знаменитых артистов. И меня терзали комплексы – они были лучше одеты, они показывали фотографии из таких мест планеты, куда я и не мечтала попасть. Я решила компенсировать сиротство дочки доктора наук и библиографа тайным знанием. И прочла одноклассникам лекцию о несправедливости советского строя вообще, и относительно евреев в частности. Одна из слушательниц – ее отец тогда был послом в Испании, позже в США – пошла и пожаловалась. По-моему, это был не педсовет, а малый синедрион – классный руководитель, завуч по воспитательной работе и еще кто-то.

Среди «продвинутых» одноклассников, кстати, были не только стучачи. Была еще Ленка Борисова. Ее родители работали в посольстве в Японии. Она была сказочно хороша собой, у нее был тиранический характер лидера, и при этом она была стопроцентно порядочным человеком. Я ее тирании периодически не выдерживала и ссорилась с Ленкой. Жили мы в одном направлении от школы. И, когда был мир, шли в школу вместе. А когда война – по разным сторонам улицы Герцена. Но, если у меня случалось внешнее сражение, Борисова доставала шашку и скакала меня защищать. Не прекращая бойкота. Например, она явилась на малый синедрион и сообщила, что не считает мои высказывания крамольными, а воспринимает их как лекции по истории СССР. Если это неправда, пусть учитель истории опровергнет то, что я рассказываю. Собственно, ее демарш и навел учителей на мысль закопать мое преступление. Вроде как со стороны своих, но явное вольтерьянство. Лучше не раздувать.

Однажды Ленкина мама спросила, куда я собираюсь поступать. Я собиралась на журналистику. А тетя Наташа была ответственным секретарем приемной комиссии факультета журналистики МГУ. И честно сказала, что с моей фамилией, да еще без комсомола, шансов у меня нет никаких. Даже если произойдет чудо и я поступлю, то ничего, кроме многотиражки телефонной станции, мне не светит. Это было как гром среди ясного неба. После истории с ножницами и лекции о международном положении почему-то казалось, что неприятности такого

рода в моей жизни исчерпаны. А тут, оказывается, все только начиналось.

А еще были какие-то компании молодежи, заточенной на отъезд, и разговорник русско-ивритский мне давали читать на две ночи. И на Горку я потихоньку бегала с конца десятого класса, очень трусливо, ни разу не попала, но бегала. А спустя лет ...дцать мне рассказал товарищ постарше, что их в народной дружине факультетского комитета аккуратно на этих бегавших и натаскивали. Повезло.

В первый раз погром приснился мне в четырнадцать лет. С такими деталями, что до сих пор страшно. Хотя, наверное, поразивший меня «Кадиш» дал свои плоды...

С конца семидесятых многие из ближнего окружения начали уезжать. Я почему-то четко понимала – они уезжают навсегда и в никуда. Мамина подруга детства Белка ехала из Баку в Штаты через Москву. И не стала ночевать в нашей квартире, боясь устроить неприятности своим новым статусом отщепенки. Несколько раз я провожала близких и не очень близких друзей. Но абсолютно не представляла тогда, что именно они проходили на пути в навсегда.

И еще помню первого парня в нашей тусовке. Красавец, танцор, пижон и объект тайных грез каждой барышни, он не раз повторял: «Не люблю я тебя, Моисеево племя». То ли чьи-то стихи, то ли сам придумал. Сначала решили, шутка. Потом поняли, что нет. Но парень так был хорош собой и своим эпатажем, что ни одна из нас не дала ему по роже. И – мне было семнадцать, а ему на год больше, - как-то в моем же доме он выдал жизненное кредо: хочешь, я на тебе женюсь? Я растерялась до дрожи в руках. Как бы помягче выразиться, ничто не предвещало. И спал он с моей лучшей подругой. А он, безошибочно эту дрожь отметив, развил свою мысль – при одном условии. Я на тебе уеду из этой страны в Израиль. Там разведемся и привет. Впоследствии он таки нашел средство передвижения в виде еврейской жены, правда, развода ему она в результате не дала. Осели в Онтарио, деньги в семью приносит жена, он работает охранником в супермаркете, жестоко пьет. Пишет в «Фейсбук» посты о том, как зарабатывает по двести тысяч в год в качестве консультанта. Горячо приветствует присоединение Крыма, а про нынешние события в его трактовке даже не хочется знать.

Вообще в этот период мой невестин рейтинг был весьма высок – за какой-то месяц я получила аж шесть

предложений руки и сердца с обязательным последующим отъездом...

Позже я познакомилась с историком и поэтом Михаилом Чегодаевым, который писал песни, в том числе о Катастрофе. И песню о том самом, приснившемся в четырнадцать лет погроме, я написала под его влиянием. Спустя несколько лет – «Бабий Яр». А в девяносто втором, когда была годовщина расстрела Еврейского Антифашистского Комитета, мне позвонил еще один историк, Илья Альтман, и попросил сочинить песню о Соломоне Михозлсе.

В начале перестройки это все было накрошено как винегрет – возможность выступить при большом скоплении народа с песнями про Бабий Яр и еврейскую скрипочку, и – антисемитские листовки в почтовом ящике и «Протоколы сионских мудрецов» на каждом развале.

В первый раз я попала в Израиль в тысяча девятьсот девяносто восьмом с туристической группой. И не смогла встретиться с маминной подругой, жившей там с начала девяностых. Расстроилась ужасно. Хотя уже не было этого «никуда и навсегда», все созванивались, кто-то уже успел нагреть в Москву...

В Штаты приехала в две тысячи третьем. И встретила многих родительских друзей, которые бывали в доме сто лет назад. И ту самую Белку, которая когда-то не переночевала у нас.

Интересно, а ты сам, мой эпический герой NN, не забыл ли собственный восторженный мат, когда впервые вернулся из поездки в Нью-Йорк, Бостон и Вашингтон? Уже будучи в Москве, я тоже безрезультатно пыталась сформулировать впечатления. Помогла вечно спешащая приятельница, которая позвонила на бегу и потребовала обозначить ей увиденное в двух словах. У меня получилось так: везде, где написано «exit», есть выход.

Потом я ездила в Америку чуть не дважды в год. И чувствовала себя маминым посланцем по свету. Как-то везла потерянным теткам из детства какие-то привычные таблетки из московской аптеки, написав на упаковке:

*«Тетю Риту с Тетей Инной сбереги мне,
Боже правый, не пойдешь на произвол...
Тридцать капель на стаканчик ностальгии -
Я везу в Чикаго русский валидол».*

Именно в американских домах я впервые обратила внимание на индекс идентичности. Нужно ли объяснять

тебе, NN, искушенному читателю и когда-то - искусному добытчику дефицитных книг? В тысячах километрах от дома ничто не вызывало такого чувства родства, как узнаваемые собрания сочинений и отдельные книжки. Даже порядок на полках был понятен моему читательскому восприятию. И впоследствии этот признак никогда меня не обманывал. А потом я узнала, как они уезжали, бросая лишние сковородки, но забирая домашние библиотеки. Словно бы прошла это сама...

*Мне снова приснилось – три дня до отлета
Слились в бесконечные ящики книжек,
И ночь – не прилечь, и соседи, да что там
Им нравится, - пусть забирают, и ближе
Прощальных объятий тоска вековая,
И уши заложит бессилием ватным,
Как будто я тоже уехала с вами,
А ныне – опять возвращаюсь обратно.*

Хотя сейчас, когда понятие третьей мировой стало реальностью, а не фантастическим триллером, боюсь, что и у апологетов новой «короткой победоносной» обнаружатся тот же Ремарк, тот же Булгаков. Может, плохо читали? Что скажешь, далекий NN?

В две тысячи десятом у меня возникла идея документального фильма о диссидентах, и пока я осваивала новую для себя специальность, в очередной раз поняла, насколько они связаны: еврейское и диссидентское движения, при всех их различиях. Мне сказочно повезло с источниками информации – я встречалась с Ричардом Шифтером, легендарным соратником легендарного Джорджа Шульца, и с Марком Талисманом. У меня есть в Иерусалиме неподражаемая Инид Вертман, в архиве которой находится справка на любую тему, связанную с советскими евреями...

Проект уже закончился, но остались вопросы и материалы. Я получила стипендию в Институте Кеннана, набирала материалы по международной поддержке диссидентского и еврейского движения. Потом – в Юридической Библиотеке Конгресса – сузила тему до поддержки движения американскими законодателями. И с каждым прочитанным документом все больше убеждалась, сколь велика роль самих советских еврейских активистов, а также их сторонников. В чем? Да в создании правозащитной повестки дня. Казалось бы, не так много

они изменили. Но путь в эмиграцию для сотен тысяч других прокладывали те, кто годами не мог выехать сам.

Мой младший пасынок однажды спросил у нас: а вот почему так много евреев среди нобелевских лауреатов? Посмотрел на меня и обвиняюще добавил: только без евгеники. Поначалу я отбрехала тем, что замер носов у Нобелевских лауреатов – евгеника само по себе. Причем самого нацистского толка. Не убедила. Выставил против меня статистику. Пришлось собирать мнения. И тебе, мой верный NN, тоже досталось требование выдать свою версию. Она звучала примерно так: исторически сложилось, что именно евреев чаще прочих народов убивали, именно за национальную, если угодно, валентность. Виктор Некрасов сказал об этом значительно позже начала селекции. Вот, мол, природа и пытается соблюсти некий баланс. Среди тех, кто погибал в разных погромах, были и выдающиеся мозги. Верь или не верь, но каждый еврейский гений – реинкарнация безвинно убиенных.

Мой Босх, изумилась я, откуда такая выпендренность во всегдашнем кладезе веселого цинизма. А хрен его знает, исчерпывающе ответил ты. Потом добавил, что в силу многовековой избранности тире изгойства каждый еврей мыслитель и провидец. И я тебя долго троллила, но тему не оставила.

*В коммуналке от соседей нет секрета,
Лев Абрамыч, Божьей милостью портной
Все мурлыкает свою «Карамболетту»
И качает поседевшей головой....
Он строчит, как пулемет, за хлипкой дверью
И печалится, разглаживая шов:
Что-то зреет наверху, что-то зреет наверху,
и я уверен,
Это вряд ли для евреев хорошо....
А жена ему: умолкни, Бога ради....
Он не слышит, он ворчит себе под нос:
Вот погиб актер Михозэлс, вот погиб актер Михозэлс,
пишут в «Правде» ...
Что, вдруг взял, да и погиб? - Большой вопрос...
Годы щелкают костяшками по счётам...
Лев Абрамыч вновь грустит – не просто так.
Арестованы врачи, и отчего-то
Он считает, что тревожный это знак.
Во дворе его жидом называли дети...*

*Ни в пивную, ни за хлебом не пойти...
Отравители... Отравители? «Отравители» -
написано в газете,
И евреи. Целых шесть из девяти.
Тут нацелились не в лоб, но очень близко.
Вон, жена в слезах за шкафом капли пьет...
Ей на лестнице сказала паспортистка,
Что пора в тайгу бы выселить ее.
А соседи ничего не говорили,
Но под супом молча выключили газ.
Если правда... Если – правда, если «Правда»
сообщает - отравили
Пусть готовят у себя, не возле нас.
Впрочем, помер фараон... Весне дорогу,
И Абрамыч вновь соседям лучший друг.
Все поют – не виноват товарищ Коган,
Намутила эта стерва Тимашук.
Лев Абрамович кроит, как прежде, брюки,
И машинка, и печенье на столе.
На занозистом полу... на занозистом полу
играют внуки.*

Им еще сидеть в отказе десять лет.

Драгоценный NN, тебе ли не знать, как мне классно работалось семь тучных лет с 2013 по 2020, когда снималось кино, набирался материал для работы по истории. Я моталась по свету так, что со мной и выпить не получалось. Ты ругался. А в двадцатом мы вернулись из Вашингтона, потом мир закрылся, началась пандемия, и я, привычно усевшись к компьютеру с утра, вдруг поняла, что мои гигабайты документов и точные формулировки сейчас никому не нужны. И стала сочинять беллетризованную биографию одной известной семьи отказников. Стержень – собственно история – у меня была.

Что касается деталей, то они стали всплывать, словно стая дятлов, выстукивая голову изнутри. У меня неплохая память, и оказалось, многое тихонько ожидало своего часа в нужной папке. Дождались и восстали. Я не могла бросить клавиатуру, пока нужный кусок не вставал в нужное место.

Вся это шизофрения пела мне разными голосами далеких близких. Как-то я послала фрагмент подруге из Бостона. Она прочла и позвонила, застав меня на прогулке. Обругала пару неудачных оборотов, а потом стала говорить, сколь узнаваемы для нее ощущения моих героев.

– Маш, ну я у вас, эмигрантов, всегда мелочь по карманам тырю, – ответила я, имея в виду рассказы друзей. Но дама со скандинавскими палками, шедшая мимо, не знала о чем речь, и обожгла меня таким пламенным взглядом, что я поперхнулась.

Впрочем, я продолжаю тырить эту мелочь по всем карманам моих друзей. И не только мелочь. Однажды украла автомобиль.

По США я ездила самыми разными маршрутами. А вот в Кливленд попала пять лет назад. Хотя слышала множество легенд о прекрасной даме, которая в этом городе может сделать всё, что угодно: концерт, выставку, лекцию. И наконец, неистовая рыжая Жанка впервые согласилась организовать мой творческий вечер.

Мир вокруг Жанки всегда крутился и звенел. Родом из Риги, она приехала в Штаты в конце восьмидесятых с мужем и маленьким ребенком. Три сотни в кармане. Надеялись попасть к брату в Бостон. А им сказали – «Кливленд». И в первый же день, пойдя за сигаретами и молоком, Жанка потратила половину наличных. И рыдала. Брат позвонил из Бостона: «Рыдать заканчивай. Практикуйся в английском. Ходи и разговаривай со всеми обо всем. Я буду проверять».

Спустя день Жанка увидела на соседней двери объявление о продаже автомобиля – «бьюик универсал State Wagon». Брат велел идти торговаться. Убедить брата в бессмысленности затеи не удалось. Жанка отправилась на дело. Очень пожилой хозяин машины с первых слов спросил ее:

– Недавно эмигрировала?

– Да.

– Заходи, – позвал дедушка Жанку.

И после часового разговора свой автомобиль ей подарил. Жанка восприняла этот подарок правильно. На огромной тачке, вмещавшей все манатки эмигрантов, она ездила в аэропорт, беря на себя растерянность и нерешаемые проблемы вчерашних советских граждан. «Это же – мицва, мне для того его и подарили», – считала Жанка.

Я болела историей про «бьюик» года полтора, потом сочинила песню.

Тридцать лет пронеслось уже.

Я с тобою в ночи пропью их.

Новый «ауди» в гараже

*Потеснил допотопный «бьюик».
Пусть стоит, собирая пыль,
Сыплет гайки из всех креплений
Этот старый автомобиль,
Эмиграции добрый гений...*

Потом, в декабре двадцатого, наша красавица Жанка сгорела от рака. Ее до сих пор оплакивают обездоленные артисты и осиротевшие друзья.

Однажды, - кажется, это была граппа, не правда ли, мой вечный NN, - ты сравнил мои разговорчики в строю с лоскутами ткани, из которых я никогда не сошью правильное одеяло. Я шью, я уже шью. Именно поэтому натыкаюсь на феерические семейные эпопеи. Например, уже законченная, для которой мне пока, увы, не удалось найти издателя.

Семейная сага, которую я выписывала последние полтора года – местами боевик, местами авантюрный роман. Невероятные совпадения и яростные противоречия, сложившиеся заблуждения и фантастические реальные происшествия.

Наверное, ничего бы не получилось, если бы я честно не сидела в карантине. Или если бы однажды я не услышала некоторые сюжеты из жизни трех поколений одной семьи. А уж как пригодилась та самая краденая у друзей мелочь... Но очень многое приходилось додумывать или выяснять методом «холодных звонков», как говорят в рекламе. Поскольку действие происходило в разных местах и в разное время, то у меня постоянно возникали вопросы, связанные с «когда» и «где».

Однажды, едучи в такси по Москве, я говорила по телефону с кем-то во Владивостоке, потом в Чите, а потом в Харбине. И каждому собеседнику объясняла, что герой моей книжки должен попасть из пункта А в пункт Б, например, пешком. Или – за два часа.

На четвертом звонке ко мне обернулся водитель, Азбек, как было написано в заказе. Пожилой, полноватый, улыбчивый.

– Ты книжку пишешь? – спросил он меня.

– Пишу.

– Сама пишешь?

– Сама.

– Тогда зачем спрашиваешь? Пиши, что хочешь, – великодушно разрешил он.

С тех пор в качестве творческого приема работает правило Азбека, впоследствии упрощенное до правила узбека. Если нельзя уточнить обстоятельства того или иного события, я выпускаю внутреннего узбека. Так что - пусть у этого человека будет поменьше светофоров и пробок на пути.

Впрочем, мы отвлеклись, и я слышу, как ты стучишь по столу учительским пальцем, мой занудный NN. А вот не надо. Никто ни от чего не отвлекался. Особенно сейчас, когда больше половины моих ровесников считает, что эмиграция из Союза началась в девяностые. А раньше не было ничего.

Я, твоя безголовая подруга, по-прежнему пытаюсь доказать свою личную гипотезу Римана и изобрести собственный вечный двигатель. И бьюсь головой о Стену Плача с криком «нет бесполезного исторического опыта».

Поэтому откапываю истории, поэтому пишу свои песенки про Шломеле – в последнее время. И, кто там сказал спорными, с точки зрения политкорректности, словами, ощущаю семитство как блаженство в нынешнем чудовищном пространстве. И боюсь открывать новости, хотя по ночам сама же лезу в припаркованные каналы.

И по-прежнему надеюсь еще не однажды поругаться с тобой, бесценный NN, за коньяком. И чтобы мой муж примирительно сказал: «Ребята, давайте жить дружно», и немедленно выпил, кстати. И чтобы ты (мстительно, помнишь?) спросил: ну хорошо, тебе не нравится этот, как его – и назвал автора текущего кошмара. А кто еще, скажи? А бы я тебе ответила. И еще отвечу. Но это будет совсем другая история. В другом пространстве.

*Набухают и землю долбят изнутри семена,
Ты за хлебом бежишь по весне,*

ты в растянутой куртке.

И по лужам, оттаявши, стайкою кружат окурки,

А навстречу идет не спеша молодая Война.

И пока не расписан ни жертв, ни подельников счет.

Не отлит в торжественной бронзе лицо молодое,

И ее беспокойство не стало вселенской бедою,

И ни в чем перед миром она невиновна – еще.

И живет она где-нибудь, видимо, недалеко,

Ты ее не однажды встречал, с этой белой болонкой,

То в косухе, то в стареньком плащике, серой болонье,

С магазинным пакетом, где булочки и молоко.

Молодая Война, протупающий образ, модель

*Ну какая угроза в тинейджере женского пола?
Ни напалмом покуда не жжется она, ни глаголом,
И снарядов не шлет разрывных ни на чью цитадель.
Ни разрухой, ни смертью не пахнет еще от нее.
И уста ее сладкие в бой никого не толкнули...
Завтра станет Еленой Троянской. А нынче - Ленуля,
И истошно вослед ей пока не кричит воронье.
И распахнутый взор ее светел, и ясен, и чист,
Проступающий образ, модель с яркой сумкой дорожной.
У метро ее встретят Адольф, бесталанный художник,
Да Иосиф, рябой неудавшийся семинарист.*

История моей одиссеи

Однажды в «Фейсбуке» я обмолвился о том, что во время странствий по России со мной произошли две истории, ставшие для меня своего рода символами русского народа и определившие мое отношение к нему. Сразу после этого на меня обрушились просьбы рассказать о том, как так получилось, что я, мальчик из хорошей еврейской семьи, некоторое время бомжевал по разным городам. Я долго отнекивался, но затем сел писать, слово потянулось за слово, и так появились эти записки...

Глава 1. Собрание

Итак, все началось 22 апреля 1980 года, то есть в тот самый день, когда мне исполнилось 17 лет. На одной из перемен я объявил классу, что 25 апреля приглашаю всех на свой день рождения, где будет много всяких вкусностей, выпивка и танцы в темноте – в общем, все, как было до того у всех моих одноклассников.

О том, что мама просила не превращать вторую, спальную комнату в бордель, я, понятно, благоразумно умолчал. Квартира у нас была маленькая, двухкомнатная, но найти место для танцев было можно. Хотя сам я танцевать не умел, и потому на днях рождениях обычно стоял, скрестив руки, в сторонке, как любимый мною Арбенин, всем своим видом, показывая, что мне чужды подобные игры тела, ибо я погружен в раздумья о вечных вопросах бытия. Точно так же я собирался вести себя и на своем дне рождения, но не пригласить весь класс было нельзя – меня же приглашали!

Сразу после последнего урока я вышел из школы и направился к автобусной остановке. Я спешил, так как знакомая продавщица книжного магазина обещала мне за трешку продать книжку Евтушенко с новой поэмой «Непрядва», и я жил предвкушением мига, когда возьму в руки этот сборник с большим портретом поэта на бумажной обложке.

Утром мать дала мне три рубля на книжку, и теперь они хрустели в кармане вместе с 50 копейками, которые

предназначались на пачку болгарских сигарет. Чтобы меня не обвинили во лжи, скажу сразу, что я прекрасно помню, что они стоили 35 копеек. Но у нас в Баку продавались из-под полы за 50, и никто против этого не возражал. Книжка Евтушенко, кстати, тоже по номиналу, стоила 90 копеек...

Однако не успел я пройти и десяти шагов, как меня нагнали два одноклассника, взяли за чем-то под руки, и объявили, что мне надо вернуться в школу, так как сейчас начнется срочное комсомольское собрание.

Я напомнил, что пока еще не комсомолец, хотя двумя днями ранее по настоянию родителей все-таки подал заявление в комсомол, поскольку без этого поступление в вуз, да еще с моей пятой графой, представлялось уж совсем проблематичным. В ответ ребята пробурчали что-то не очень внятное о том, что я обязан быть на этом собрании, и по-прежнему держа под руки с двух сторон, повели обратно в школу. Мне было удивительно, зачем я вдруг понадобился нашим комсомольским вожакам, но не более того. Никаких дурных предчувствий у меня не было. Мысленно я продолжал представлять, как возьму в руки книжку Евтушенко и прочту первые строчки: «Я пришел к тебе, Куликово поле, намахавшись уже кулаками вволю...»

Когда меня ввели, весь класс был в сборе. Как выяснилось, для проведения «комсомольского суда чести». И суд этот должен был быть надо мной. Признаюсь, это меня уже озадачило, так как я совершенно не понимал, какие же обвинения мне собираются предъявить. Нет, разумеется, я не был белым и пушистым ангелом с крылышками. За 17 лет жизни я успел совершить несколько поступков, за которые мне было стыдно, прежде всего, перед самим собой, и мне бы очень хотелось, чтобы их в моей жизни вообще не было. Но и злодеем я точно не был – за многими моими одноклассниками были поступки куда похлеще, о которых все знали, но никто не собирался их за это вот так, почти официально судить.

Пока я пытался понять, что же такого страшного сделал, меня поставили у доски лицом к классу, а наш комсорг уселась за учительский стол, держа в руках стопку листов. Присмотревшись, я понял, что это – мои собственные письма.

Будучи в ту пору очень влюбчивым мальчиком, я в начале учебного года втрескался в одноклассницу, стал встречать ее по утрам у дома и провожать в школу, неся ее портфель и болтая по дороге обо всем на свете. А чтобы

окончательно завоевать сердце красавицы, стал посылать ей по почте письма, в которых разыгрывал из себя этакого Печорина, успевшего окончательно разочароваться в людях, видящего во многих одноклассниках будущих подхалимов и карьеристов, и вообще совершенно ничтожных людей – включая тех, что были самыми популярными ребятами в классе. Ну, и попутно высказывал все, что я думаю о том, что происходит вокруг, и об окружающем обществе в целом. Не забыл я, разумеется, упомянуть в этих посланиях о том, что в нас обоих течет кровь самого умного и талантливого народа на планете, а потому она должна понимать меня лучше, чем другие. Потом эта девочка дала мне понять, что, увы, любит другого. Я написал ей злое дурацкое письмо, в котором пообещал, что она все равно будет моей, даже если для этого мне придется ее изнасиловать. Но через месяц я успокоился, и на школьном вечере влюбился в другую девушку, из девятого класса, и стал посвящать ей стихи, часть из которых я и сегодня вспоминаю со сладким стыдом – при всей их неумелости было в них некое обаяние юношеского чувства.

И вот сейчас комсорг громко, хорошо поставленным голосом зачитывала отрывки из тех моих писем, переданных ей моей прошлой любовью, и констатировала, что именно из них следует. Следовало же, по ее мнению, вот что:

1. Что я - законченный антисоветчик, ненавидящий советскую власть и уверенный, что рано или поздно СССР распадется и рухнет в тартарары.

2. Что я считаю евреев самой умной нацией, стоящей выше других наций, а потому уверен, что для любой девушки лучше всего любить именно еврея.

3. Что я презираю многих своих товарищей по классу, и в первую очередь - тех, кто занят активной общественной работой.

4. Что моя главная цель в жизни – переспать с какой-нибудь девочкой, и ради этого я готов на все.

Не стану скрывать, что я был совершенно ошарашен не столько такой кучей обвинений (большая часть которых была, к моему стыду, справедливой), сколько предательством той, в которой еще полгода назад видел гения чистой красоты, свою Лауру и Беатриче в одном лице, и поверял ей самые сокровенные мысли, никак не ожидая, что эти письма могут попасть в чужие руки.

Поэтому все, что говорили по моему поводу другие выступающие, я почти не воспринимал, тем более что все речи сводились к одному - что такому подонку, как я, не место ни в нашем замечательном классе, ни в нашей школе, ни вообще в советском обществе. Припомнили мне и слова о том, что я готов был изнасиловать девушку...

- Но ведь не изнасиловал! - постарался я превратить все в шутку. – Спросите ее сами: я ее и пальцем не тронул. Ну, разве что пару раз за руку держал...

Но шуток и оправданий понимать никто не хотел. У нас был элитный класс, но те самые ребята, с которыми у меня только вчера вроде были отличные отношения, все до одного умницы и мечтавшие стать великими физиками, вдруг стали каким-то одним двадцатиглавым драконом, в едином порыве изрыгавшем на меня огонь.

Кульминационный момент суда настал, когда комсорг подняла над головой и показала классу еще один листок.

- И вот этот человек два дня назад подал заявление на прием в комсомол, хотя теперь мы все понимаем, что членство в ВЛКСМ нужно ему исключительно для поступления в университет, чтобы он мог потом делать карьеру. То есть он и есть самый настоящий карьерист, хотя и обвинял в этом других. Лично я считаю, что он недостоин высокого звания комсомольца! – сказала комсорг.

- Недостоин! Гад он! Подонок! - загудел в ответ класс.

- ...И если в нем еще осталась хотя бы капля совести, то он сейчас заберет свое заявление и порвет его! – продолжила комсорг, и протянула мне листок.

- Без проблем! – сказал я, и на глазах у всех разорвал заявление, изо всех сил стараясь сдержать накатившие вдруг слезы обиды.

- Ну вот, теперь вы все видите, как он относится к комсомолу! Как легко он это сделал! – торжествуя произнесла комсорг.

В заключение комсомольский суд чести единогласно решил, что класс объявляет мне полный бойкот – все отныне должны вести себя так, словно меня не существует.

Не помню, как я вышел из школы и как доехал до дома – о походе в книжный уже не могло быть и речи.

Я понимал, что жизнь кончена, что мне больше нет места нигде – ни в классе, ни в родном городе, где, по большому счету, кроме одноклассников, у меня не было друзей: я учился далеко от дома, почти не знал никого из дворовых

ребят, и все время проводил либо в школе, либо наматывая километры по городу, сочиняя стихи и обходя книжные магазины и магазины канцтоваров. Канцтовары – это была еще одна моя тайная слабость, которой я несколько стыдился.

Родители были на работе, сестра в музыкальной школе, младший брат в детском саду, так что в квартире я был совершенно один.

Меня трясло. Ощущение, что жизнь кончена, усилилось, но вместе с ним в голове начал вариться странный, совершенно дурацкий план о том, что мне надо теперь бежать из города и вернуться через много лет, чтобы доказать всем, как они во мне ошибались... Бежать надо было не куда-нибудь, а в Москву, найти там Евгения Александровича Евтушенко, которому вроде бы понравились некоторые мои стихи, а точнее, как он выразился, «застенчивая наглость ваших строк», попросить его приютить меня на время и поступить в Литинститут, представив две опубликованные к тому времени в местной газете поэтические подборки. Ну, а дальше я вернусь в Баку уже знаменитым поэтом – не Пушкиным, конечно, но хотя бы чем-то вроде Батюшкова или Багрицкого. И пока на улицах будут расклеивать афиши о моем поэтическом вечере, я буду стоять на балконе своего номера на десятом этаже гостиницы «Москва» и смотреть на простирающийся у моих ног город...

О том, что будет с родителями, когда они обнаружат мое исчезновение; что для поступления в любой институт нужен хотя бы аттестат зрелости, и обо всем прочем я вообще не думал. Больше того – я даже не подумал, что человеку, решившему уехать в Москву, нужен хотя бы паспорт и билет на поезд.

Я просто подошел к забитому в преддверии празднования дня рождения холодильнику, прожевал кусок колбасы, оставил на столе ключи, вышел из квартиры и захлопнул дверь. На вокзал я пошел пешком, купив по дороге пачку пахучих сигарет «Золотое руно».

Некоторое время я бродил по вокзалу, и мысль ехать в Москву с каждой минутой только крепла. Затем вышел на перрон, где как раз начиналась посадка на поезд Баку-Москва, и подняться на него мог любой желающий.

Став в тамбуре, я стал смолить одну сигарету за другой, думая, что скажу проводнику, когда он начнет проверять

билеты. Тамбур был с этой точки зрения лучшим местом - если тот сюда и заглянет, то еще не скоро.

Через некоторое время поезд тронулся, и в окне замелькали бакинские пригороды. Уже пронесли мимо Насосная и Баладжары.

Разумеется, до этого я не раз путешествовал с родителями на поезде в Прилуки, к бабушке, а потому знал, что даже самый старательный проводник начнет проверку билетов и раздачу постельного белья не раньше, чем минут через сорок, а то и через час, и потому время у меня было. В тот момент, когда он появится из своего купе, надо будет просто перейти на стык между вагонами, и там переждать. А дальше проверок (так, повторю, я думал) уже почти не бывает, и я смогу доехать зайцем до Москвы, или почти до Москвы, откуда можно будет добираться и электричками.

Когда мы проехали Сумгаит, в голове вдруг полыхнула мысль о том, как будет сходить с ума мама (именно мама, а не отец!), когда обнаружит мое исчезновение, но я поспешил загасить ее, как окурок – если я вернусь, то потом придется идти в школу, к этим...

Нет, это было невозможно, немислимо – ни в той школе, ни в городе мне больше не было места. «Прощай, Баку! Тебя я не увижу! Теперь в душе печаль, теперь в душе испуг...» - всплыли в голове есенинские строчки, а за ними, как вагоны за паровозом, потянулись и все остальные, и некоторое время я стоял, проговаривая про себя любимые стихи. Потом о чем-то болтал с заходившими переговорить в тамбур взрослыми мужиками и, оставшись один, снова мерно покачивался под перестук колес.

О чем я думал, что собирался делать дальше? Да ни о чем – в голове не было ни одной мысли! На душе было как-то очень легко от того, что я разрубил этот узел, и обратной дороги теперь нет.

Все мое внимание сосредоточилось на глубине вагона, и как только на другом конце показался проводник, я рванул на себя дверь перехода, и оказался между двумя грохочущими железяками, на которых вполне можно было стоять...

Не знаю, сколько времени я провел на этом стыке, но довольно долго – когда я снова выглянул в тамбур, проверка вроде бы закончилась, и я смог вздохнуть спокойно.

За окном тем временем стемнело, и, дымя сигаретой, я видел, как по вагону бродят счастливые, довольные жизнью

люди, которых никто не называл гадами и подонками. Некоторые уже переоделись и шли в тамбур с полотенцами, чтобы умыться, другие направлялись справить нужду, третьи – на перекур, так что дверь позади меня то и дело хлопала, и время от времени меня обдавало вонью вагонного туалета.

Часам к одиннадцати вечера я понял, что не учел одного: в какой-то момент времени все эти едущие в Москву по билетам счастливицы улягутся спать, я останусь единственным бодрствующим на весь вагон, и тогда меня точно поймут. Пришлось снова перебраться на стык вагонов, и именно там меня и поймал делающий обход начальник поезда – так я впервые узнал о существовании этой должности.

Разговор у нас вышел короткий: узнав, что я еду без билета, он отвел меня в купе проводника и велел сесть на первой же ближайшей станции. Но поезд был дальний и скорый, остановки не частыми, так что следующая станция была только через час с небольшим.

Вот так, часа в два ночи меня и высадили на станции, носившей странное название Белиджи.

Где именно находились эти самые Белиджи, я не знал, да и сейчас не знаю – то ли до, то ли после Дербента. Оказавшись на перроне, я поежился – апрель подходил к концу, но здесь ночью все еще было прохладно, а я вышел из дома в том самом виде, в каком был в школе – в белой рубашке на голое тело (мое поколение бакинцев не признавало маек) и темно-синем костюме, совсем недавно сшитом у лучшего армянского портного города и очень ладно на мне сидевшем.

Вообще, признаюсь в те дни я очень нравился самому себе: в девятом классе я еще был «жиртрестом», «гямбулом» и «пончиком», но на последних летних каникулах с помощью простой диеты и упражнений довел свой вес до 60 кг при росте 162 см, у меня были карие глаза с поволокой, загадочное выражение лица и длинные, почти до плеч волосы. Короче, я выглядел именно так, как в моем представлении должен выглядеть "настоящий поэт", и теперь оставалось только стать им на самом деле.

Вообще-то длинные волосы мальчикам в нашей школе носить категорически запрещалось, но директор школы Людмила Ивановна преподавала в старших классах историю, я был ее любимчиком, о чем знала вся школа, и потому мне разрешалось многое из того, что запрещалось

другим. Возможно, это обстоятельство тоже сыграло свою роль в том, что со мной произошло, но об этом я подумал лишь много лет спустя.

Поежившись на перроне, я зашел в небольшой зал вокзала, который был пуст. Абсолютно. Ни души. Свет притушен, касса закрыта, стоявший в углу буфет заперт на замок. И это было замечательно! Я лег на одну из прислоненных друг к другу кресел-скамеек из толстого дикта, и, положив руки под голову, попытался заснуть. Но тут в голове снова начали крутиться все события теперь уже вчерашнего дня. Снова возник перед глазами наш класс, комсорг, зачитывающая мои любовные письма, осуждающее гудение голосов...

Я все еще никак не мог понять, как такое могло со мной произойти, как ребята, со многими из которых я учился с первого класса, которых я считал если и не близкими друзьями, то хорошими товарищами, и никому из которых (это я знал абсолютно точно!) не сделал ничего плохого - могли вдруг вот так, в одночасье меня возненавидеть. А в том, что они меня в тот момент презирали и ненавидели, не было никаких сомнений. Вслед за этим в памяти всплыл Димка - мой лучший и, пожалуй, единственный друг в классе. Димки на том комсомольском собрании не было - это точно! То есть он знал, что оно готовится, мог бы встать на мою защиту, но не захотел! Предпочел просто уйти, и это было уже самое настоящее предательство!..

Разумеется, я тогда просто не мог знать, что Димки Григорьева там просто не могло быть: комсорг готовила собрание втайне не только от меня, но и от него - требовала, чтобы никто не болтал, так как Димка с его взрывным характером мог выкинуть там еще тот фортель, а ей нужно было единогласное одобрение. Именно поэтому мы спокойно вместе вышли из школы, затем я направился на автобус, а он к себе домой. Тут-то меня и догнали, и повели на собрание - убедившись, что мы с ним разошлись...

Не знал я и того, что именно Димка первым поднял тревогу по поводу моего исчезновения.

В тот день отец был на вахте в море, мать с сестрой и братом, как обычно, вернулась домой после семи, и мое отсутствие ее не удивило - у меня на семь вечера был назначен урок у репетиторши по химии, которая жила в другом районе города. Мне нравилось ходить к ней пешком, и пешком же обычно я от нее и возвращался, что-нибудь

сочинив по дороге. Кроме того, хотя официально урок длился 45 минут, химичка, очень пожилая старая дева, любила поболтать со мной о новых книгах и спектаклях в городском театре, так что иногда я засиживался у нее часа по два, а то и больше. Так что раньше половины одиннадцатого вечера мать меня бы точно не хватилась. Но в восемь к нам позвонил Димка.

- Петьку можно? – спросил он, как обычно.

- Нет, он на уроке, - ответила мать.

- Светлана Яковлевна, его надо найти! – выдохнул Димка.

– Мне только что рассказали, что они с ним сделали... В общем, они его затравили. По-подлому. А меня там не было! Говорят, Петька был белый, как мел, и выходил из школы, словно пьяный... Его надо найти, Светлана Яковлевна, пока он с собой что-нибудь не сделал!

Мать позвонила репетиторше, и когда та сказала, что я на урок не явился, стала звонить Людмиле Ивановне.

- Приезжай немедленно ко мне, - скомандовала та. –

Поедем вместе к Григорьеву выяснять, что там произошло.

Потом у моих одноклассников была куда более веселая ночь, чем у меня.

В десять вечера Людмила Ивановна собрала в школе весь класс, и устроила каждому форменный допрос.

- Запомните! - сказала она. - Если с ним, не дай Бог, что-то случится, ни один из вас не сдаст выпускной экзамен, как минимум, по истории! Я сделаю вам всем такой аттестатный балл, что вы можете забыть о поступлении в вуз. Возможно, меня после этого уволят, но прежде я всем вам поломаю жизнь! Если с ним что-нибудь случится...

Затем она разделила класс на небольшие группы, каждая из которых должна была искать меня по городу – по микрорайонам, поселку Мусабекова, в центре и на Приморском бульваре.

- А вдруг он вляпается в какую-то историю, свяжется с ворами или бандитами? - предположила мать.

- Главное сейчас, чтобы он нашелся живым и здоровым. Ни в какую грязную историю он не вляпается – это я знаю точно, так как знаю его лучше всех других! Как тебе, Света, вообще такое могло в голову прийти?! – отрезала Людмила Ивановна.

Но всего этого я, повторяю, тогда не знал.

Проснулся я часов в шесть – от того, что кто-то сел мне на ноги и с грохотом поставил у скамейки чемоданы. Вокзал постепенно заполнялся людьми; как сейчас бы сказали,

лицами кавказской национальности, мешавшими русский с незнакомым мне гортанным наречием.

Белиджи оказались главной станцией округа, и сюда стекался народ со всех окрестных поселков. Окошко кассы было уже открыто, и кассирша бойко выдавала билеты. В семь часов открылся буфет, и я почувствовал, что чертовски голоден. Дождавшись, когда он заработает в полную силу, я протянул буфетчику трешку, попросил сигареты «Аэрофлот», горячий чай и сэндвич с голландским сыром.

- Какими судьбами из Баку? – поинтересовался буфетчик.

- А откуда вы знаете, что я – из Баку? - насторожился я.

- Да я не знаю – я слышу! Ваш бакинский акцент ни с каким другим не перепутаешь! – улыбнулся он во весь золотозубый рот, протягивая рубль с мелочью сдачи.

Доев бутерброд, я вышел на перрон покурить и обдумать, куда двигаться дальше, и в этот момент передо мной словно из воздуха возникли трое ребят явно все той же неопределенной кавказской национальности. Двое из них были примерно моими ровесниками, а третий, в какой-то куцой кацавейке и больше чем на голову ниже меня, был лет четырнадцати.

- Закурить есть? – спросил один, самый высокий из троицы.

Говорят, что во многих городах России с этого вопроса обычно начинаются все неприятности. Но у нас в Баку это был просто вопрос, и, как и полагалось, по нашему городскому этикету, вместо ответа я молча протянул початую пачку.

Они присели рядом, и мы вчетвером задымили.

- Откуда? – спросил высокий, явно бывший заводилой этой троицы.

- Из Баку. А вы?

- Из Махачкалы. Ты один, что ли?!

- Один. Из дома ушел.

- Это бывает. Мы вот тоже одни, потому что лучше с собаками жить, чем с нашими родителями...

- Да нет, у меня родители нормальные. Хорошие у меня родители! – заступился я за папу с мамой.

- А чего тогда сбегал? Разве от хороших бегают? Слушай, а давай с нами! Мы тоже собираемся поездить, только не в Москву. Есть города и получше – Дербент, Нальчик, Грозный, Пятигорск. Будешь воровать с нами.

Признаюсь, такого поворота я не ожидал.

- Нет, воровать я не хочу, - твердо сказал я.

- Да не бойсь ты, мы тебя научим! Это на самом деле просто. Видишь "малого": он через любую решетку и даже форточку пролезть может.

- Нет, я не буду! – упрямо повторил я, но вместе с тем чувствуя, что эти ребята мне нравятся. Не знаю, чем, но нравятся – пусть они и воры. И когда они предложили выйти с ними «посмотреть город», я согласился.

Смотреть, собственно говоря, было нечего. Белиджи оказались скучным поселком, с двумя продуктовыми магазинами и одним книжным, в котором книги стояли не на полках, а были просто сложены на полу, на русском и не на русском вперемешку. Я, помнится, зацепил взглядом двухтомную «Антологию дагестанской поэзии» на русском, и пожалел, что нет денег ее купить.

Часов до двух мы болтались по поселку без дела, и за это время я узнал, что двое из моих спутников – родные братья, а третий – их друг; что они уже пару месяцев как бросили школу и ездят вот так, подворовывая то одно, то другое по всему Дагестану.

- Что-то я проголодался! – сказал высокий. – Надо зайти в магазин и что-нибудь спи&дить.

- Зачем пи&дить? Можно купить. Вот, у меня и деньги есть! - сказал я, вытаскивая из кармана желтоватую рублевую бумажку и почти рубль мелочью.

- Деньги – это хорошо! – сказал высокий. – Ладно, давай так: ты пойдешь в магазин, купишь буханку хлеба и две бутылки лимонада, а потом мы вернемся на вокзал, и там поедим.

Я направился к магазину, и новые приятели последовали за мной. Через полчаса мы были снова на вокзале, отошли в сторонку и сели на травке. Высокий расстелил на траве куртку, и я выложил на получившуюся из нее скатерть хлеб и лимонад. И тут ребята стали откуда-то доставать три банки кильки в томатном соусе, плитки шоколада, пачку лимонных вафель и даже горсть конфет «раковые шейки».

- Как видишь, жить можно! – сказал высокий, мастерски открывая перочинным ножом банку с килькой.

Затем он посмотрел на меня и сказал «малому»:

- Пойди принеси ему банку сайры. Не видишь, он – интеллигент!

На этой сайре «малой» и спалился: продавец схватил его за руку, когда он запихивал консервную банку в карман, и потащил в милицию.

Еще через четверть часа к нам подошли два милиционера и повели в участок...

К моему удивлению, ребята не только не впали в панику, но и даже не огорчились такому повороту. Скорее, наоборот – им было весело, и они стали отпускать шуточки в сторону сторожившего нас перед какой-то дверью «мусора». Но мне было не до шуток – я впервые оказался в милиции, и слабо представлял, что меня ждет дальше.

- Ты что, забздел? – спросил высокий. – Не бзди, сейчас увидишь, что будет!

Тут дверь приоткрылась, и из нее раздался окрик:

- Магометов, давай сюда эту шпану по одному.

Первым «одним» стал почему-то именно я – может, просто потому, что сидел ближе всех к двери. Хозяин кабинета оказался начальником этого отделения (или детской комнаты?) милиции. Уже немолодой мужик с аккуратными усиками над губой, был он то ли старлейтом, то ли капитаном, сейчас уже не помню. Пусть будет капитаном. Самое удивительное, что, не будучи русским, он оказался большим любителем русских народных сказок.

- Ну, ой ты гой еси, добрый молодец! Из какого-ты роду-племени? – произнес он, раскладывая перед собой какие-то бланки.

- А у нас здесь что: передача «В гостях у сказки»? – вспомнив свое школьное кавээновское прошлое ответил я в унисон. Страху почему-то по отношению к нему у меня не было.

- С чувством юмора у тебя, я вижу все в порядке, - усмехнулся он. – Документы, говорю, предъяви. Как фамилия, имя, отчество, год рождения, ну и все остальное...

- Национальность... - подсказал я.

- Национальность твоя мне до лампочки. А вот место жительства – нет. Так есть документы?

- Дома забыл, - сказал я чистую правду. – Нет никаких документов...

- Почему-то я так и думал, что дома забыл. Так как зовут?

- Петр.

- И почему я должен в это поверить?

Я пожал плечами – ничего другого мне просто не оставалось.

- И давно ворует, Петр? – сказал он, указывая на выложенные на столе консервные банки, шоколад, хлеб и все остальное.

- Может, кто и ворует, не знаю. Не видел, - ответил я. – Я не ворую. За хлеб и лимонад я деньги заплатил. Можете продавца спросить.

- Верно, заплатил. Чтобы отвлечь внимание и дать своим поделщикам воровать. Они тебя сейчас сами сдадут, увидишь. Магометов! – выглянул он в коридор. – Ну-ка введи еще одного, самого мелкого...

И тут сержант Магометов вошел в кабинет и доложил:

- Нету их, товарищ капитан! Сбежали. Прямо из-под носа сбежали! Хрен знает, как так вышло...

Дело становилось хуже – теперь все могли свалить на меня, и я это понял.

Минуты три я выслушивал, как капитан на смеси нескольких языков объяснял сержанту, что тот – не милиционер, а пассивный гомосексуал, с матерью которого он занимался оральным сексом, а заодно отдавал приказ найти трех сбежавших маленьких пассивных гомосексуалов. Наконец, сержант Магометов удалился, явно сомневаясь, что ему удастся выполнить приказ поймать своих братьев по сексуальной ориентации. После чего «гражданин начальник» уселся за стол и совершенно спокойным тоном, словно это был совсем другой человек, спросил:

- Так как тебя, говоришь, полностью звать-величать? И живешь ты где?

Это прозвучало настолько доброжелательно, что я расслабился и решил, что лучше всего просто говорить правду. И стал рассказывать, как поссорился с классом, вышел из дома, в чем был, без паспорта, как сел в поезд – и вот оказался здесь, в этих Белиджах.

Говорил я долго, многословно, а он слушал, что-то записывал на своем бланке, и время от времени задавал вопросы о том, что у меня за школа, кто мои родители, почему я решил отправиться именно в Москву и все такое прочее. И чем дальше, тем больше этот мужик - то ли аварец, то ли чеченец, то ли кабардинец, я этого не разбирал, знал лишь, что не русский – вызывал у меня доверие. Он даже внешне чем-то напомнил мне отца.

Затем он отложил ручку в сторону и посмотрел мне в глаза. В упор.

- На шпану ты не похож, Петр! – сказал он. – Значит, говоришь, на класс обиделся и решил сбежать? А о маме с папой ты подумал? Ты понимаешь, что они сейчас тебя, скорее всего, по всем бакинским моргам ищут?! Ты вообще

каким местом думал, когда это все делал?! Может, у твоей матери сейчас инфаркт?! Да если бы мой сын такое сделал, я бы его так исполосовал, что он неделю потом ни сесть, ни лечь на спину не мог. Магомедов! Принеси два стакана чая с сушками!..

Чай оказался очень кстати, и каждый его глоток сладко согревал горло. Да и на сушки я приналег, пока капитан продолжал объяснять, какой я идиот, если думал, что смогу доехать до Москвы, и хотя бы день прожить там без документов...

- Значит, давай сделаем так, Петр! – наконец, сказал он, комкая бланк. – Дело я на тебя открывать не буду – тебе еще в университет поступать, вдруг где-то всплывет, а это тебе не нужно. Сейчас мы пойдем на вокзал, я договорюсь с начальником первого поезда, идущего в Баку, чтобы тебе дали спокойно доехать, а ты с вокзала поедешь прямо домой, и будешь на коленях просить у матери прощения за то, что ты ей сделал. Я сейчас не шучу, Петр – на коленях! И у вас, и у нас так принято. И чтоб по дороге в Баку без фокусов! Обещаешь?

- Обещаю! – сказал я, и в тот момент действительно верил, что именно так и сделаю.

На вокзале капитан велел мне посидеть на скамейке, пока он выяснит, когда ближайший скорый до Баку. И в тот самый момент, когда он удалился, к станции подошел какой-то поезд, явно следующий не в Баку, а совсем в другую сторону. Проводник вышел на перрон, какие-то люди стали спешно загружаться в вагон, напоминая друг другу, что стоянка – только три минуты, и я нырнул внутрь вместе с ними.

Мне было ужасно стыдно, что я соврал этому менту, оказавшемуся таким классным мужиком, но ведь в самом начале этого повествования автор предупредил, что отнюдь не был белым и пушистым ангелом с крылышками. Одна мысль о том, что по возвращении надо будет идти в школу и как-то там выживать, в тот момент, когда подошел поезд, мгновенно всплыла в голове и оказалась сильнее всех обещаний, чувства вины и благих намерений.

«В Москву! В Москву! В Москву! А там увидим!» - стучали колеса поезда, уносившего меня прочь от станции со странным названием Белиджи.

И все-таки от мысли о том, что теперь подумает обо мне товарищ капитан, немного свербило в сердце.

Глава 2. Минводы

Ни до какой Москвы я, разумеется, не доехал.

Правда, проводники тоже спят по ночам, просыпаются только от остановки к остановке, почти не проверяют билеты, а потому на этот раз я был пойман почти на рассвете, когда мы уже подъезжали к Минводам. Здесь меня и посадили.

Мой вагон остановился прямо напротив огромного неработающего фонтана с орлом, знакомого мне с детства – по дороге в Украину мы всегда проезжали Минводы, и каждый раз я смотрел на этого орла из окна вагона. Поезд стоял здесь долго, и за это время мама успевала сбегать на вокзал, купить всякие разносолы и – обязательно! – минводское мороженое, которое, не знаю уж почему, она считала самым вкусным в мире. Но когда я впервые сам ступил на минводский перрон, шел сильный дождь, и мне стало не до воспоминаний о мороженом: в своем костюме я почти мгновенно промок до нитки, и потому чуть ли не бегом бросился к зданию вокзала.

Да, Минводы были явно не Белиджи – вокзал оказался огромным, и, самое главное, очень живым. Несмотря на ранний час, он был полон народу, и почти в каждом кресле сидели мужчины, женщины и дети, тесно прислонив к этим креслам сумки и чемоданы, прислушиваясь к то и дело раздающимся через громкоговорители объявлениям – у большинства здесь была пересадка. Огромная масса людей просто слонялась по вокзалу, и стоило освободиться какому-то креслу, как его тут же занимали.

К этому времени я уже смертельно хотел спать, и потому первым делом стал выискивать место. И тут мне снова повезло: какой-то мужик встал, чтобы пройтись. Я немедленно занял его место и почти тут же заснул, успев подумать, что спать сидя вполне можно и даже удобно.

Проснувшись, я направился в туалет, чтобы умыться и оправиться, и, хотя меня передернуло от его запаха и вида, выбрать не приходилось.

Советские вокзальные туалеты – это вообще отдельная песня, и нужно было, чтобы тебя уж очень сильно приперло, чтобы ты заставил себя там справить даже малую нужду, а про большую я уже вообще не говорю.

Когда я вернулся, «мое» кресло уже было, само собой, занято, но меня это не огорчило. Как ни странно, за пару

часов с небольшим я совершенно выспался, был полон сил, и некоторое время бродил по вокзалу, ознакомившись с марками, значками и журналами в газетных киосках, а заодно изучив цены в станционном буфете, которые были мне явно не по карману.

Настроение у меня было отличное. Я уже понял, что садиться зайцем в вагон любого поезда - не проблема, а ловят тебя, особенно, если переходить из вагона в вагон, не раньше, чем часа через три-четыре. Потом ты садишься в следующий поезд, и вот так, «на перекладных» совершенно бесплатно можешь доехать не только до Москвы, но и до Владивостока.

С таким настроением я вышел на улицу, где уже распогодилось, было довольно тепло и о недавнем дожде напоминали только разбросанные то тут, то там темные кляксы луж.

Я подошел к стоявшему на перроне киоску, и, наконец, понял, где именно мать покупала ароматные ватрушки, румяный жареный хек и все остальное. Но больше всего меня потрясли выложенные на поднос бутерброды – ровные кусочки хлеба, смазанные тонким слоем масла, на каждом из которых лежали по две шпротинки. Те самые шпроты, которые я безумно любил, но которые бывали у нас в доме только на Новый год.

Сглотнув слюну, я спросил у буфетчицы, сколько стоит один бутерброд, и оказалось, что 40 копеек. Таких денег у меня не было, а есть хотелось до невозможности.

- А сколько стоит «Буратино»? – поинтересовался я.

- 30 копеек! – ответила буфетчица.

30 копеек у меня как раз и было. Я купил бутылку лимонада, выпил ее на месте и спросил, принимает ли она стеклотару?

- 10 копеек бутылка! – бросила та, явно недовольная тем, что я просто не оставил бутылку ей в подарок.

Прямо на месте я получил эти 10 копеек, и в этот момент понял, что в Минводах можно жить. Еще бродя по вокзалу, я заметил, что под многими креслами валяются пустые или наполовину опорожненные бутылки. И 10 копеек за каждую – это было совсем неплохо.

Через десять минут я вернулся к этому киоску, держа в руках три пустые бутылки. Получив 30 копеек, я добавил к ним свои 10, купил бутерброд со шпротами, проглотил его за минуту и отправился снова на вокзал – высматривать бутылки.

Так я в течение нескольких часов курсировал между вокзалом и железнодорожными путями, таская в стоявшие почти на всех платформах киоски пустую стеклотару.

К трем часам дня у меня в кармане лежало уже два рубля – при том, что я съел три бутерброда со шпротами, выпил бутылку лимонада и поел мороженого.

Опьяненный своим коммерческим успехом, я купил пачку длинных сигарет «Ява», считавшихся у нас в школе высшим шиком и которых я себе никогда прежде не мог позволить, так как они стоили аж 80 копеек – больше сигарет «Космос».

Правда, с каждым часом находить пустые бутылки становилось почему-то все тяжелее, и к тому же я заметил, что на меня стали недобро коситься станционные уборщицы и работавшие на платформах дворники. Но поначалу я не придавал этому значения. Я делал деньги – это было главное! Я даже нашел эластичную авоську (были тогда такие), что позволяло сдавать сразу по 7-8 бутылок. После этого у меня появилась мысль, что так можно заработать и на билет до Москвы. То, что я был без паспорта, не имело значения – не знаю, как сейчас, а тогда при покупке билетов на поезд документов не спрашивали.

Но всякое счастье, как известно, рано или поздно заканчивается! Когда я в очередной раз подошел к киоску аж с десятью бутылками, часть из которых была в авоське, две рассованы по карманам, а одну я держал в руках, пожилая буфетчица в белом полухалате, с накрашенными до неприличия красной помадой губами, принимать их наотрез отказалась, так как, у нее, видите ли, кончились ящики для пустой тары.

Я направился со своим грузом к такому же киоску на другую платформу, затем на третью, но всюду было то же самое – «кончились ящики»!

На четвертой платформе ко мне подошел дворник и сказал:

- Малчик! Ты уже здесь всех забал! Кончай, малчик! Мы – хорошие люди, поэтому я тебя пока по-хорошему прошу!

Больше он ничего не сказал, но я все понял, и вернулся на вокзал, оставив собранные бутылки на перроне, но сеточку, разумеется, прихватил с собой. Признаюсь, к тому времени я решил побыть еще один день в Минводах и понаблюдать за жизнью вокзала, так как всерьез мнил себя будущим писателем, и думал, что как писателю мне этот опыт может потом очень даже пригодиться.

Я уже открыл для себя, что любой большой вокзал – это целая Вселенная, или, по меньшей мере, ее миниатюрная копия. Здесь рождаются, ругаются, влюбляются, расстаются и даже умирают. Здесь есть все – свои алкаши и юродивые, «Комната матери и ребенка», «Комната милиции», работающий почти круглосуточно ресторан с вкусными запахами, киоски, магазины, лоточники и транзитные пассажиры, каждый со своей, подчас удивительной, а подчас и трагической историей; тайные закоулки; касса, у которой есть не только окошечки для продажи билетов, но и задняя дверь, через которую тоже иногда продают билеты... Но самое главное – на вокзале было множество красивых женщин, большинство из которых было значительно старше меня.

Что скрывать – как и любого 17-летнего, меня постоянно сжигала, буквально сводила с ума жажда женщины, но на тот момент у меня не было абсолютно никакого сексуального опыта. Я был девственником, в отличие от многих моих сверстников, говоривших, что у них такой опыт уже был. Впрочем, если честно, я тоже это пару раз кому-то говорил, сам уж не знаю для чего, и, возможно, отсюда и брали начало многие мои неприятности.

То есть теоретически я был в этом плане очень даже подкован. Как-то в гостях у одного одноклассника он показал мне книжный шкаф, в который его отец детям почему-то лазить категорически запрещал. Естественно, мы вместе с товарищем туда залезли и обнаружили в утробе шкафа не только почти все романы про прекрасную Анжелику, маркизу ангелов, но и «Новую книгу о супружестве» Рудольфа Нойберта, а также красный переплет, на котором золотыми буквами было выведено: «Дипломная работа». Я заинтересовался, чей это диплом и что там написано, и внутри обнаружилось самиздатовское издание перевода «Техники современного секса» Строка.

Обе книги я тогда взял домой "на один день", в ту же ночь прочел и выучил почти наизусть. Вот почему я с полным правом мог сказать, что, если бы мне пришлось защищать диплом по «Технике современного секса», я бы сделал это с блеском. Но, как сказал, увы, не я: суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет. Поэтому, сидя в жестком вокзальном кресле, я смотрел на сидящих напротив меня и проходящих мимо женщин, каждую мысленно раздевал и с каждой (тоже мысленно, разумеется) реализовывал все советы великого Строка. Фантазия у меня работала

хорошо, и порой получалось представить все так явственно, что сидевшая рядом женщина каким-то странным взглядом посмотрела на мои брюки.

Я вдруг обнаружил, что мне нравятся не только молодые, но и даже пожилые, почти под тридцать, женщины. В самом этом желании мне увиделось нечто особенно постыдное, извращенное, и чтобы стряхнуть наваждение, я решил немного пройтись по вокзалу. Деньги у меня все еще были – целый рубль и 20 копеек.

Спустя какое-то время я решил исполнить то, чего уже давно хотел, но никак не решался – подойти к цыганам.

Цыган на минводском вокзале было много, их дети то и дело сновали между скамейками, а их женщины в каких-то особых, длинных и расцветченных яркими красками платьях и юбках, с такими же цветными шальями на плечах, обилием золотых украшений на руках и на шее, мгновенно бросались в глаза, представляя собой разительный контраст с одетой во все либо серое, либо черное и темно-синее, либо просто в какое-то невзрачное, бесцветное, но никак не в цветное, остальной огромной массой народа.

Я вдруг подумал: а не оставить ли мне, как Алеко, неволю душных городов, прибиться к их цветному шумному табору, некоторое время побродить по России, а потом все это описать в книжке? Знатная ведь может получиться книжка... Но прежде всего, надо было, конечно, завоевать их доверие – без этого они к себе не примут.

Движимый такими тайными намерениями, я направился к ближайшей цыганке, возле которой крутились двое мальцов. В голове при этом сами собой вспыхнули одни из самых любимых моих строчек Вадима Шефнера, с которыми я в тот момент себя полностью отождествлял:

*- Печали, печали, печали
На сердце твоём и лице.
Печали поменьше – в начале.
Печали побольше – в конце.
И жизнь догорит, как сигарка,
И в ящик сыграешь, дурак...
- Ну что ты гадаешь, цыганка?
Я все это знаю и так!
Я сам понемногу умею
В своей разбираться судьбе.
Цыганка! Гадай пострашнее –
Тогда я поверю тебе!*

- Погадать тебе, кучерявый? Деньги есть? – взглянула на меня цыганка.

- Нету! - ответил я.

- Врешь! Есть! Немного, но есть. Купи детям булочки, а я тебе погадаю! – она кивнула в сторону проходившего мимо лоточника с ватрушками, булочками и бубликами. И я потратил 20 копеек на две булочки для ее детей – чего только не сделаешь, чтобы оставить неволю душевных городов и стать членом цыганского табора!

- Ладно, давай руку! всю правду скажу, так и знай..., - проговорила она, взяв меня за ладонь.

И дальше началось.

- Ты сейчас бежишь из-за женщины...

Это была правда. Я кивнул, но она как будто этого не заметила.

- Вина на тебе, касатик! - вдруг бросила она. - Ты женщину сильно обидел. Несправедливо обидел, зря, потому и бежишь...

Это тоже была правда – случилась у меня одна неприятная история в девятом классе. Чувство вины за нее меня все еще время от времени жгло, и с этой истории, возможно, и в самом деле начались мои личные беды. Хотя прямого отношения к моему побегу она не имела, и бежал я не из-за этого.

Это был первый и последний раз, когда мне кто-то гадал. Обращение к гадалкам, как известно, строго запрещено нам, евреям, Торой, но я тогда этого, разумеется, не знал.

Именно в тот день я и сделал открытие, в правильности которого не уверен, но все же поделюсь с теми, кто читает эти торопливые заметки: цыганки гадают не по руке! То есть, может, они что-то и читают по ладони, но это не главное. Рука им нужна больше для того, чтобы вступить с вами в близкий контакт, почувствовать вас, и уже затем они как бы считывают заложенную внутри вас информацию – подобно тому, к примеру, как мы сегодня подсоединяем переносной диск к компу и перекачиваем на него через проводок все нужные нам файлы с жесткого диска.

- Бежишь ты, и любовь свою ищешь, да только не там ищешь! – продолжала цыганка. – Любовь твоя тебя дома ждет. Вижу, скоро, очень скоро ты ее встретишь, и вот с ней у тебя будут и дети, и дальняя дорога, и хороший дом. Красивые деньги будешь зарабатывать, касатик, очень красивые деньги... Вот только богатым никогда не станешь: деньги у тебя будут в дверь заходить, да тут же в окно выходить!

Она на мгновение прервалась, пристально всмотрелась или сделала вид, что всмотрелась в мою ладонь, и словно слегка напряглась.

- Еще одну вещь, скажу тебе, касатик, - вдруг полупшепотом заговорила она. – Я скажу, а ты запомни. Любит тебя Бог. Не знаю за что, но очень сильно любит! Потому из любых испытаний ты живым выйдешь. И не только живым, но и невредимым. Стоит тебе обратиться к Нему – и Он тебя слышит... Но с нами тебе нельзя. Хоть вроде и похож ты на нас, но чужой. Больше сюда не приходи.

И вдруг, словно придя в себя из транса, повысила голос:

- Ну, все! Чего стал?! Я же тебе сказала: больше не гадаю. Уходи!

Совершенно обескураженный таким поворотом, я отошел в сторону и разменял рубль, купив у лоточника две булочки. Сел на кресло поесть, и, пока ел, познакомился с Расулом.

Он был на целых десять лет старше меня, возвращался из отпуска в родной деревне на работу, куда-то на Дальний Восток. В Минводах у него был поезд, который должен был прибыть только часа через четыре, так что времени у Расула было хоть отбавляй. Были мы с ним чем-то похожи: оба чернявые, оба невысокие, если не сказать низкорослые.

Очень скоро разговор у нас пошел о женщинах.

- Смотри, какая классная блондинка! Вот бы ее шпокнуть! – сказал Расул, указывая на длинноногую девушку в обтягивающем платье, похожую на импортную куклу, которая продавалась за 15 рублей в бакинском ЦУМе. Немалые это были в то время деньги – пятнадцать рублей!

- Красивая! – согласился я. – Но она ведь выше и тебя, и меня больше, чем на голову. Такие - не для нас...

- Дурак ты! Ребенок еще! – ответил Расул. – Как раз с высокими - самый кайф. Очень заводят. А они нас, маленьких, любят...

Он посмотрел еще раз на меня и усмехнулся:

- Слушай, а у тебя что, еще ни разу бабы не было?! Так это мы сейчас исправим. Это у вас там, в Баку, сексуальная ссылка, а с русскими легко. Русские бабы все дадут! Вон, видишь, ту девушку через два кресла? Как она тебе?

- Ничего, симпатичная...

- Пошли, познакомимся! Ну, чего сидишь – пошли!

И я покорно пошел вслед за Расулом.

Через минуту он присел рядом с незнакомкой, завел с ней разговор, и вскоре та стала охотно отвечать на его вопросы. Рассказала, что учится в Минводах то ли в каком-то техникуме, то ли в ПТУ, а сейчас едет на выходные домой, в Будённовск... Помню, я поразился тому, как быстро и легко Расул познакомился с девушкой, и та его при этом почему-то не отшила. Сам я все это время стоял рядом с Расулом и застенчиво улыбался, уж сам не знаю чему.

- Ладно, - вдруг сказал Расул, - мы сейчас пойдем на улицу, немножко погуляем, а потом вернемся.

Примерно через полчаса, а то и меньше он вернулся, но без девушки.

- Ну вот, все получилось! – сказал он. – Она, кстати, очень удивлялась, чего ты такой молчаливый. Но она тебе тоже готова дать! Выйди сейчас с вокзала, там справа кусты есть, увидишь. Она тебя там ждет. Даже трусики не стала надевать. Ну иди, чего стоишь?!

Я и сегодня не могу передать ту волну омерзения, которая прокатилась при этих словах по телу. Та самая девушка, которая вроде только что казалась вполне симпатичной, вдруг стала омерзительной, чем-то вроде крысы, и меня передернуло.

- Нет, так я не хочу! – сказал я.

- Ну и дурак! Такую добрую, хорошую девушку обидел. Ладно, пойду ее приведу, и давай проводим ее до электрички – хорошая ведь девушка...

И мы и в самом деле проводили ее до электрички, а когда она тронулась с места, Расул предложил:

- Может, водки выпьем? Хоть водку ты пьешь?

На самом деле водку я до того никогда не пил. Пил на днях рождения ребят шампанское, азербайджанские вина «Чинар» и «Кемширин», а вот водку пить не приходилось, да и не хотелось. Но когда тебе задают такой вопрос, как мужчина мужчине, то надо соответствовать.

- Водку, конечно, пью! – сказал я. – Только у меня денег нет.

- Ну хоть немного есть?

- 80 копеек...

- Тогда сделаем так: я покупаю водку, а ты – закуску. 80 копеек хватит! Все, иду в буфет, встречаемся вон у того столика в кафетерии.

Я сбегал на перрон, принес два бутерброда со шпротами, а Расул уже стоял за столиком с двумя стаканами, держа под пиджаком бутылку.

Водка мне не просто не понравилась, а оказалась страшно противной - воротило от самого ее запаха. Но я держал марку, и мы довольно быстро прикончили всю бутылку, закусив бутербродами.

- Ну вот и все, - сказал Расул. – Мне пора двигать на поезд. Хорошо провели время. Прощай, ребенок, может, когда-нибудь еще увидимся...

Я помог Расулу забрать из камеры хранения его чемодан и большую дорожную сумку, посадил его на поезд и вернулся в здание вокзала.

Меня пошатывало, и, что было еще хуже, мутило. А еще почему-то хотелось есть – видимо, одного бутерброда в качестве закуски было недостаточно.

И тут я увидел, как в зале вокзала появились менты. Подходил к концу второй день моего пребывания в Минводах, но до сих пор мне с ними сталкиваться не приходилось.

Менты между тем стали обходить зал, время от времени останавливаясь перед сидевшими в креслах мужчинами и требуя документы. Была ли то просто штатная проверка «для порядка», или они искали кого-то конкретного? Ответа на этот вопрос я, разумеется, так и не узнал, но перепугался страшно – подумал, что ищут именно меня.

Да и даже если это была просто проверка, меня – пьяного, без документов, по большому счету, пацана, точно бы замели. И потому я осторожно, по стеночкам, обогнул ментов и выскользнул за ту дверь вокзала, которая вела в город.

Не знаю, как сегодня, а тогда Минводы были тихим, уютным, заштатным городишком. Вдоль улицы, по которой я шел, тянулись одноэтажные симпатичные дома, окруженные ладными крепкими заборами, и за ними явно водились куры, индюшки и прочая живность. Да и вообще было видно, что люди здесь живут зажиточно.

Хмель упорно отказывался выходить из тела. Меня шатало, и какая-то женщина в платке осуждающим взглядом посмотрела на меня из-за забора. Но хуже всего было то, что меня все больше тошнило. Отвратительно пахнувшая водка подступала к горлу, рвалась наружу и, наконец, не выдержав, я остановился у какого-то дерева и стал рвать.

- Ты что ж это, зараза, гадишь?! – взвизгнул за спиной женский голос, но мне было совсем не до него. Водка выходила из меня вся, до миллилитра, смешавшись с уже почти переваренными бутербродами, булочками и даже мороженым, которое я ел утром. И все это пахло так, что вызывало все новые порывы роты.

Наконец, я отблевал, повернул голову, и увидел стоявших в калитке ближайшего дома мужчину и женщину.

- Извините, - сказал я. – Я не хотел. Мне просто очень плохо...

- Да понятно, парень, с кем не бывает – перепил! – спокойно ответил, видимо, вышедший на крики жены мужик в майке и расстегнутой рубашке на выпуск. – Ничего, природа все сама очистит. Вон там впереди колонка – поди умойся и воды попей.

Что такое колонка, я хорошо знал – одна такая располагалась напротив дома бабы Беллы в Прилуках, я часто набирал из нее воду. Вода в минводской колонке оказалась ледяная, и, умывшись, я изогнулся всем телом, чтобы одновременно нажимать на ручку и пить. Признаюсь, никогда в жизни я больше не пил такой вкусной воды, и с каждым ее глотком чувствовал себя все лучше – от хмеля и тошноты не осталось следа.

Вырывая, я вроде как-то умудрился не запачкать рубашку, а куски рвоты, попавшие на пиджак, старательно замывал до тех пор, пока вроде бы никакого запаха не осталось.

После этого я побрел дальше, чувствуя, как лезущий откуда-то из самого нутра голод постепенно охватывает все мое существо. Вот так я и дошел до городского рынка, который был полупуст – то ли потому, что вот-вот должен был закрыться, то ли по той причине, что сезон фруктов и овощей только-только начинался, и торговать особо было нечем.

Но самое главное – на рынке стояла почти оглушительная тишина. Настолько оглушительная, что мне казалось, будто я слышу, как стоящая вдалеке впряженную в телегу лошадь хрустит брошенным перед ней сеном.

За годы жизни в Баку я сначала вместе с отцом, а затем и сам постоянно ходил на базар. Я любил его вечный гул, смешанный из криков продавцов дынь и арбузов, громкой торговли за каждую копейку между продавцами и покупателями; грохота бросаемых на чаши весов гирь, приветственных возгласов встретившихся на базаре старых знакомых. Базар бурлил жизнью с раннего утра до позднего

вечера, да он и был в Баку самой жизнью. В любое время года прилавки здесь ломились от овощей и фруктов, а в конце апреля на них появлялись белая и красная черешня, клубника, пахнущие на весь дом помидоры и огурцы, и все это прежде, чем купить, можно было пробовать столько, сколько твоей душе угодно. А не понравилось – можешь немного сморщиться, покачать головой - и не покупать. Порой, вот так, только пробуя, за один круг по базару можно было досыта наестся.

Но здесь, в Минводах, все было по-другому. Стояла тишина, и на лицах торговцев не было привычной бакинцу улыбки – это были явно не те люди, которые дают попробовать. Да и пробовать-то было особенно нечего – не картошку же с капустой!

Я прошелся по базару, чувствуя, как голод окончательно овладевает всем моим существом. И тут я увидел, как одна из продавщиц картошки – очень дородная, словно сошедшая с картины Кустодиева, типичная русская женщина держит в руках большую круглую сладкую булку, и не спеша откусывает от нее кусочек за кусочком.

Уже не в силах совладать с собой, едва не плача от предстоящего мне унижения, я заставил себя подойти к ней и сказать:

- Тетя, дайте, пожалуйста, кусочек булочки. Я очень голодный...

Она бросила на меня оценивающий взгляд, а затем, не говоря ни слова, разломала эту огромную, с буханку, булку пополам и дала мне вторую, не надкусанную половину.

- Спасибо большое! – сказал я, и впился в зубами в воздушную хлебную мякоть.

Она, как и вода, была тоже удивительно вкусной, эта булка с изюмом, и утолив первый голод, я стал откусывать ее маленькими кусочками, чтобы продлить удовольствие.

Прошли годы, но передо мной время от времени всплывает лицо той женщины, ставшей для меня одним из символов русского народа – его способности к состраданию, отзывчивости, готовности помочь страждущему, не задавая никаких вопросов. Просто разломав хлеб и протянув другому половину.

Съев булку, я вернулся на вокзал – уже стемнело, а никакого другого места, куда бы я мог пойти, у меня не было.

В то же время после появления ментов я понял, что задерживаться в Минводах дальше не стоит. Уже поздним

вечером я сел на поезд, идущий в сторону Ростова, откуда, по моим представлениям, было не так уж трудно добраться до Москвы.

Устроившись в тамбуре и затаившись «Явой», я подумал, что в Москве надо будет появиться не с пустыми руками, и было бы неплохо пусть мысленно вести поэтический дневник. И тут же взялся за сочинение о своих минводских впечатлениях:

*На вокзале в Минводах,
Пьяный чуть ли не стельку,
Взял я два бутерброда
На последние деньги.
Завернул их в газету
(Пригодятся в дороге!)
И пошел за сюжетом,
Благо шли еще ноги
Вдоль домов деревянных,
Бабьих взглядов простых.
Было видно, что пьян я,
Что карманы пусты;
Что случайно заброшен
В этот их городок
Я не очень хороший
И блудливый щенок...*

Поезд покачивался на рельсах, унося меня в ночь, перестук колес сам подсказывал ритм, и потому писалось легко, и почти ничего не надо было придумывать. Одна станция за окном мелькала за другой, и я уже почти уверился, что смогу спокойно доехать до Ростова, когда полусонный проводник обратил на меня внимание и спросил про билет.

Где-то через час меня ссадили.

Теперь большие буквы над куда более скромным, чем в Минводах, вокзалом складывались в слово «Армавир».

Разумеется, я знал о существовании этого города, и, играя в «города», всегда называл его вслед за Архангельском и Арзамасом. И вот теперь я впервые в жизни стоял перед его вокзалом.

«Ар-ма-вир!» - проговорил я, перекатывая это слово на языке. Название мне понравилось. Чем-то напоминало Арамиса.

Разумеется, я не мог знать, что в этом городе меня, как котенка Гава, ждут одни неприятности.

Глава 3. Армавир

Вокзал в Армавире оказался куда меньше, чем в Минводах, и куда менее презентабельным - во всяком случае, кроме окошечка с надписью «Касса» и стоек в вертящимися с приятным шумом жестяными скрижалями, оживавшими при нажатии на кнопку с названием нужного тебе направления, здесь ничего не было – ни буфета, ни киосков. А может, и было, но я просто не обратил внимания. Главное, что я понял – весь зал вокзала легко просматривается из конца в конец, и, если здесь, как в Минводах, появятся менты, меня мгновенно заметят. Тем не менее, я так хотел спать, что опустился в ближайшее кресло у выхода, и мгновенно провалился в сон. Открыл глаза, уже когда в окна вокзала всюду било солнце, и он был заполнен людьми.

Я вышел на перрон в надежде сесть на какой-нибудь поезд, чтобы двинуться дальше. Но поезда стояли здесь недолго, проводники не отходили от вагонов, требуя у пассажиров показать билет на входе, так что просочиться мимо них не было никакой возможности. Оставалось одно – выйти в город, найти что-нибудь поесть и попить, а уже затем вернуться сюда и предпринять новую попытку.

Армавир, к моему удивлению, оказался не городком, а самым настоящим городом, причем довольно симпатичным. Чем-то он мне даже напомнил Баку – не его центр, конечно, а тянувшиеся за ним рабочие районы, вроде поселка Монтино.

Здесь были такие же основательные каменные здания сталинской постройки, как и на Монтино; здесь была булочная, из которой доносился запах свежее испеченного хлеба; какие-то кафетерии с выложенными на прилавок кусочками торта и пирожными «картошка», да и вообще все, что нужно для жизни.

В книжном магазине лежали разные издания трилогии Леонида Ильича, по которой я недавно писал сочинение, сборники неизвестных мне местных поэтов, еще какая-то макулатура. Но тех книг, которые я называл «хорошими», там не было – даже из массовой серии «Классики и современники» в синтетических обложках. И это был добрый знак: значит, в Армавире были те, кто любит книги и разбирается в них, и «хорошая книга» здесь, как и в моем родном городе, была в дефиците.

Деньги я решил зарабатывать тем же путем, что и в Минводах – собирать пустые бутылки. Но, как назло, ни одной такой бутылки мне на глаза не попадалось – город, похоже, убрали чисто. В гастрономе тянулась длинная очередь за маслом – точно такая же, как в Баку. В кондитерском отделе, как и в Баку, лежали несколько сортов тортов, были дешевые карамельки и шоколадные конфеты. В бакалее высились темные эстакады кирпичей хозяйственного мыла, а также моих любимых консервов «Завтрак туриста», «Килька в томатном соусе» и "Килька в масле с овощами". Была там, в других отделах, и какая-то колбаса, и даже творог и плавленый сыр «Янтарь», так что с голоду в Армавире умереть было, безусловно, нельзя. Но вот пустых бутылок и в гастрономе не было!

В совершенном отчаянии я двинулся вперед по улице, прошел пару сотен метров и тут увидел Её – лежавшую на выступе перед витриной магазина «Вино-водочный» пустую бутылку из-под водки!

Как заправский сборщик стеклотары, я не стал торопиться, а самым неспешным шагом, чтобы не привлекать к себе внимания, подошел к бутылке, и только потом быстрым движением спрятал ее в карман.

У магазина толпились какие-то люди, «соображавшие на троих», и чтобы не оказаться в их компании, я отошел в сторону и продолжал наблюдать. Когда еще одна троица закончила выпивать и положила бутылку почти на то же место, где лежала первая, я повторил маневр. Через какое-то, показавшееся мне вечностью время, в найденной мной в Минводах эластичной сеточке лежало уже пять бутылок.

- Стеклотару принимаете? - спросил я продавщицу, войдя в магазин.

- 8 копеек бутылка! – бросила она.

Это был наглый обсчет и грабеж, но выхода у меня не было. Я вышел из магазина, зажав в руке 40 копеек, и тут Бог сотворил для меня самое настоящее чудо: я увидел лежащую на асфальте серебристую монетку. Целых 10 копеек! Получалось, что Он вернул мне как раз те деньги, на которые меня обсчитали!

А затем произошло еще одно чудо – я увидел лоточницу, продающую горячие пирожки! С мясом, картошкой и горохом!

Конечно, такой разврат, как пирожки с мясом я себе позволить не мог, и потому купил три пирожка с горохом, да еще и к своему удивлению получил с 10 копеек копейку

сдачи – в Баку такое было просто невозможно представить! Сдача в 1-2 копейки у нас всегда считалась законным достоянием продавщицы или кассира!

Хорошо пообедав, я запил пирожки газированной водой с сиропом из автомата, затем купил еще два пирожка и, не разворачивая промасленную бумагу, сунул в карман. Через какое-то время, не удержавшись, купил в хлебном булочку с повидлом, выпил еще воды, и оставшихся денег хватило на пачку сигарет «Прима».

Теперь, сытый, я уже мог свободно гулять по городу, топтаться на остановках, вслушиваясь в разговоры дождавшихся автобусов людей, ловя незнакомый до того говорок. Мне показалось, что многие здесь говорят, как бы проглатывая некоторые гласные. Например, один мужик, назвав меня «пареньком», произнес это слово как «парнёк», и это почему-то царапнуло мне ухо.

Армавирцы были одеты даже хуже, чем наши монтинцы, не говоря уже о жителях центра – на большинстве мужчин и женщин была мешковатая одежда темных и серых тонов, явно купленная в местных магазинах. Советская, словом, одежда. Исключение составили два парня в джинсах, а девушек в джинсах, кажется, не было вообще.

У нас в Баку было принято либо шить одежду на заказ, либо покупать импортную втридорога у спекулянтов, а уж где ее брали спекулянты – один Аллах ведает. Но одеваться было принято ПРИЛИЧНО.

Выходило, что, как ни крути, люди здесь живут беднее, чем в моем родном городе.

Но самое главное – в Армавире не было той атмосферы праздника, легкого отношения к жизни, которое было буквально разлито в бакинском воздухе. В отличие от Армавира, мой родной город был всегда полон народу, так что оставалось загадкой, кто и когда здесь работает или учится. А уж вечером любого дня на его центральных улицах было просто не протолкнуться, и каждый район пахнул в эти часы по-своему.

Завокзальная дышала запахом шашлыка из осетрины; из многочисленных забегаловок в центре города пахло кебабом, пивом и чаем; на бульваре аромат шашлыка из курицы, смешивался с запахом кофе-гляссе, ванильного мороженого и жареных орешков с изюмом; на Торговой – продававшимися на развес конфетами «каракум» и тортами, покупавшимися к ужину с друзьями...

Мне не хватало моего Баку, и я впервые почувствовал острую тоску по родному городу, с которым могла, конечно, сравниться только Москва, хотя о Москве я знал исключительно по книгам и фильмам.

Вернулся я на вокзал, когда уже стемнело. Зал был по-прежнему полупустым, свободных мест – хоть отбавляй. Я присел на скамейку и стал доедать два холодных, переставших быть вкусными пирожка с горохом.

В этот момент я и увидел в дальнем углу лежавшего на полу грузного, немолодого, далеко за пятьдесят мужчину. Несколько раз он пытался встать, дотянуться рукой до подоконника, чтобы ухватиться, и каждый раз сползал вниз. Остальные его то ли не замечали вообще, то ли просто равнодушно скользили взглядом и отворачивались. Я уже хотел подойти к нему, и тут в зале появились менты. Оглядевшись, они напрямик направились к этому мужику, и один из них с размаху дал ему ногой под ребра.

- Давай, вставай, алкаш! – сказал он. – Здесь лежать не положено!

- Плохо, мне товарищ! – тяжело дыша, проговорил мужик. – Мне бы врача, что ли...

Он был совсем не похож на алкоголика, этот человек. Во всяком случае, не в моем представлении. Одет он был во вполне приличное черное пальто, и лицо у него было совсем не алкашеское. Очень ясное, умное и доброе, а не испитое лицо.

- В вытрезвителе тебя вылечат! Давай, вставай! Думаешь я тебя на себе буду до машины тащить?! – и мент еще раз пнул его под ребра, отчего мужик захрипел и окончательно завалился на пол.

Что там скрывать - я боялся ментов, очень боялся. Но и смотреть на то, как ни за что-ни про что избивают человека, и, как мне показалось, хорошего человека, было для меня, тогдашнего, выше моих сил.

Не знаю, как бы я поступил в этой ситуации сегодня, спустя сорок лет – с возрастом мы становимся все более душевно тупее и равнодушнее. Но тогда я подошел к ментам, дернул одного из них сзади за рукав и сказал:

- Зачем человека бьете? Не видите – плохо ему! Надо «скорую» вызвать...

- А ты кто, бл&дь, такой? – посмотрел на меня другой мент. – Чего не в свое дело лезешь?!

- Никто. Просто человек...

И тут его рука больно впилась в мой локоть.

- Ну-ка, пошли со мной, человек. Узнаем, откуда такой заступничек у алкашей вызвался! - сказал он.

- А ты пока разберись с этим! – велел мент напарнику, кивнув на расprostертое на полу тело.

Так я второй раз за время поездки оказался в отделении милиции, где дежурный милиционер заявил, что разбираться со мной он будет завтра утром, а пока мне придется посидеть в КПЗ. Еще через пару минут за мной захлопнулась железная дверь, и я оказался в длинной камере с высоким потолком, в которой не было ничего, кроме узкой деревянной лавки. Даже не помню, была ли там знаменитая параша. Все это было настолько неожиданно, настолько несправедливо, что я забарабанил в дверь и закричал:

- За что, сволочи?! Я ничего не сделал! Выпустите меня отсюда!

Барабанил я до тех пор, пока за дверью не стал проворачиваться ключ, и появился мент, который и сам был, как мне показалось, хорошо под градусом.

- Будешь шуметь, - сказал он, - получишь таких пизд&лей, что всю жизнь кровью харкать будешь. А потом я тебя еще из этой в общую камеру переведу, и ты не представляешь, что там с тобой могут сделать. Так что лучше сиди тихо! Ясно же сказали: утром разберемся!

Говорил и выглядел этот сержант так, что я сразу понял: это тебе не Белиджи и не «товарищ капитан». Этот и в самом деле может отмудохать так, что мало не покажется, а значит, лучше вести себя тихо.

Я растянулся на лавке, в первый раз за эти дни заняв горизонтальное положение. Перед глазами все стоял тот мужик на полу, и то, как картинно, с оттяжкой его били под ребра. Что будет утром, я не знал, но на всякий случай придумал легенду, и так и заснул, повторяя ее, словно хотел убедить самого себя, что все именно так и есть...

Разбудило меня лязганье замка, и затем, не дав умыться, меня провели в кабинет, где сидел молодой хмурый лейтенант. На вопрос о возрасте я сказал, что мне пятнадцать лет, так что никаких документов у меня быть не могло. Дальше точно не помню – вроде я что-то плел насчет того, что еду к тетке в Ростов, сошел с поезда, отстал – в общем, какую-то невероятную чушь, поверить в которую было невозможно.

Но этому лейтенанту было явно по барабану, кто я, что я, куда я еду. Он просто сказал, чтобы я валил отсюда как

можно скорее к своей тетке, и меня отпустили, абсолютно ничего не проверив, не поинтересовавшись, когда я в последний раз ел и есть ли у меня деньги на билет.

- А что с тем мужиком, с вокзала? - решил я спросить лейтенанта, прежде, чем уйти.

- С алкашом-то? Да околочился он еще вчера вечером в вытрезвителе! Ну, иди, и чтобы через час духу твоего в городе не было!

Он сказал все это так спокойно, словно речь шла не о человеке, а о какой-то дворовой кошке.

Да, это точно были не Белиджи и даже не Дагестан. Это уже была Россия, с которой мне еще только предстояло познакомиться поближе.

На вокзале я обратил внимание на большую компанию ребят и девчонок с рюкзаками, явно моих ровесников. Прислушавшись к разговорам, я понял: все они были из одного десятого класса и сейчас ехали куда-то на пикник. У одного парня была гитара, и, пока они ждали поезда, он стал перебирать струны и что-то мурлыкать.

Я подумал о том, как было бы здорово, если бы я умел играть на гитаре – тогда я бы сейчас подошел к этим симпатичным ребятам, попросил дать на минуту инструмент, тронул бы струны и запел: «Корабли постоят – и ложатся на курс! Но они возвращаются сквозь непогоду...». И тогда все девочки тут же стали бы таять, я бы стал для них своим, мне бы тоже дали ломоть маминого пирога с мясом и луком, а затем и взяли бы с собой на пикник. Я даже представил, как все это будет...

Но проблема заключалась в том, что я не умел играть на гитаре. Да петь и подпевать мне не стоило, так как от я природы совершенно лишен музыкального слуха. Кроме того, мне всегда было трудно знакомиться с людьми, самому сделать первый шаг кому-то навстречу. Поэтому я просто пошел на перрон курить и ждать поезд.

И вот тут на меня накатило. Я вдруг снова вспомнил того мужика в углу, его голос «Плохо мне, товарищ», и вся эта история вдруг стала для меня символом человеческой жестокости и равнодушия. Я ничего не знал о нем, кроме того, что он умер, но досочинил его историю, представил, что мне ее рассказывает какой-то местный парень со всеми услышанными мной в городе необычными словечками и выражениями, и вылил ее в стихи, которые потом назвал «Пустьяковая история, услышанная в Армавире».

Стихи эти нигде никогда не публиковались, но помню я их до сих пор:

*Жил на свете неуклюжий,
Добрый человек.
Обходил он чинно лужи,
Ненавидел снег.
Обожал яички всмятку,
Жареных цыплят,
Выпивал он для порядку
Граммов пятьдесят.
И на радость всем ребятам,
Живших только им,
Был все время неженатым –
То есть холостым.
Говорили все мамыши
(Это не пустяк!):
«Как бы мы без дяди Саши?
Ну ответьте – как?!»
Но однажды (эх мать вашу,
Вот как суждено!)
Почтальонша дяде Саше
Принесла письмо.
Дядя Саша даже Митьке
Слова не сказал –
Взял собрал свои пожитки,
Дёрнул на вокзал.
А потом нам рассказали,
Как был кончен бал:
Дядя Саша на вокзале
В обморок упал.
Может быть, еще спасли бы...
Да чего уж там!
Проходили люди мимо –
Думали, что пьян.
А потом пришла милиция,
Подняла за китель.
Им бы сдать его в больницу –
Сдали в вытрезвитель.
Ну, а там, как увидали,
Что он не был пьян –
Просто умер, нам отдали
Старый чемодан.
Там под парюю бельишка,
Бутылью вина
С фотографией мальчишки
Спали ордена.
Вот как смерть над нами ходит –
Вдоль и поперек.*

*Впрочем, поезд твой подходит.
Ну беги, парнёк!*

После того, как я закончил рифмовать, меня стали одолевать великие замыслы – я решил написать целый цикл под названием «Пустяковые истории, услышанные на вокзале» - так, чтобы в них звучала живая речь, возникали ассоциации с русским фольклором, и одновременно отразились бы все гнусности российской жизни.

Вот так, пьяный от удачного, как мне казалось, стихотворения, окрыленный своим новым планом, я, улучив мгновение, когда проводница отвернулась, и влез в поезд.

Не помню уж, куда он следовал, но точно проходил через Ростов...

Глава 4. Ростов

Добраться до Ростова было крайне важно, так как это означало бы, что я проехал больше половины задуманного пути, а дальше, как мне казалось, будет легче.

Я знал, что от Ростова меня отделяет всего несколько часов езды, и, чтобы избежать высадки, стал перемещаться по вагонам. Заглянув в одно купе, я увидел сидевших там двух белобрых парней в тельняшках. На столике перед ними стояла початая бутылка водки и какая-то еда.

- А, салага! – улыбнулся один из них. – Давай, заходи – гостем будешь!

Прозвучало это вполне дружелюбно, но при виде их крепких бицепсов я невольно отпрянул в сторону.

- Да, заходи, заходи! – повторил парень. – Не бойся – солдат ребенка не обидит!

Лучшего места для того, чтобы спрятаться от проводника, чем купе, не было, и потому я вошел.

- Садись, давай. Пить будешь? - и не дожидаясь ответа, достал откуда-то бумажный стаканчик и плеснул туда водки из стоявшей на столике ополовиненной и, скорее всего, уже не первой бутылки.

Помня о своем опыте в Минводах, я сделал вид, что пью, но лишь слегка смочил губы, и все равно меня передернуло от запаха. Солдаты вроде бы не заметили, что я только пригубил, а я тем временем налег на лежавшую на столе закуску – нарезанный на куски черный хлеб, соленые огурцы и докторскую колбасу.

Как выяснилось, мои новые знакомые были дембелями, и, отслужив положенный срок, ехали домой.

За те пару часов, которые я сидел с ними в купе, я сделал множество удивительных открытий о жизни советской армии. Например, то, что лучше иметь дочь проститутку, чем сына – ефрейтора. Что нет большего позора, чем служить во внутренних войсках, и дембелям из них прежде, чем показаться дома, лучше срезать нашивки. А вот ВДВ – это как раз самое лучшее, что только может быть.

Затем последовали сладкие воспоминания о последних двух месяцах перед дембелем, когда за них все делали «салаги» и «зеленые», и сентенция о том, что «старикам» гнобить «салаг» сам бог велел, поскольку все через это проходили. После этих слов я поскуцнел – впереди у меня маячила армия, одна мысль о которой наводила на меня ужас. Но если до того меня больше всего страшила мысль, что там придется мыться в общей бане, а значит, и раздеваться перед всеми, то теперь из разговора этих двоих следовало, что в армии бывают вещи и похуже. И потому я понял, что мне надо отмазаться от призыва любой ценой – оказаться в том мире, о котором дембеля так весело вспоминали, было для меня равносильно самоубийству.

На какой-то станции в купе вошла дородная симпатичная женщина с дочкой – моей ровесницей или чуть старше. У них были билеты, и проводник, проводивший их до купе, обратив на меня внимание, спросил, где мое место. Но вроде удовлетворился ответом, что я – из другого вагона, а сюда просто заглянул в гости, и ушел. Женщины тем временем разместили свои вещи под спальным местом, и удалились – видимо, в туалет.

- Ну что? – спросил один белобрысый другого. – Кто кого будет трахать? Давай я маму, а ты – дочку! Или, хочешь, бросим жребий?

Они делили этих женщин, как делят мясо или хлеб – словно были твердо уверены, что и та, и другая уже на все согласны. И, памятуя о случившемся в Минводах, я этому почти не удивился. Только снова стало очень противно, и я отправился курить в тамбур соседнего вагона, где и благополучно простоял до самого Ростова-на-Дону...

Ростовский вокзал и сама железнодорожная станция оглушили меня своим неумолчным гулом и размерами. Мне показалось, что они даже куда больше, чем в Баку, и затеряться здесь было куда легче.

Прогуливаясь между платформами, я вдруг подумал, что неплохо было бы найти какую-нибудь работу – за рубль или

два. У меня даже мелькнула мысль помогать приезжим подносить чемоданы – глядишь, кто-нибудь и даст 20, а то и 50 копеек, но заметив ожидающихся на перроне носильщиков, понял, что с этим может выйти так же, как с бутылками. Поэтому я просто подошел к одному из носильщиков и спросил, нет ли для меня какой-нибудь работы?

В ответ тот популярно и очень картаво объяснил, что на вокзале все давным-давно схвачено, и чужим здесь не место.

Услышав, что он говорит на русском почти так же, как и я, я хотел было заметить, что мы, видимо, друг другу все-таки не совсем чужие, но не решился, и просто отошел в сторону.

Как и в Минводах, здесь на всех платформах стояли киоски, и одна из буфетчиц на вопрос, нет ли у нее для меня какой-нибудь работы, ответила, что, если у меня есть силенка, то работу мне лучше поискать на Товарной – там она есть всегда. И это - всего в паре остановок электрички от вокзала.

Как именно я добрался до Товарной, уже не помню, но работу там и в самом деле долго искать не пришлось.

- Эй, парнёк, хочешь заработать пятерку?! – окликнул меня высокий, крепко сбитый мужик первой или даже второй степени небритости. Признаюсь, мне бы очень хотелось выглядеть именно так, как он – в смысле небритости. Хотя мне было уже 17 лет, у меня, в отличие от большинства ребят из класса, упорно отказывалась расти борода, да и тот пушок, что пробивался над губой, еще никак нельзя было назвать даже усиками.

- Разгружать вагон сможешь? – спросил он, когда я кивнул. – Выдюжишь? Еще один человек нужен...

За все годы учебы в школе у меня было три особо ненавистных предмета: труд, военное дело и физкультура. Каждый урок физкультуры превращался в муку, так как единственное, что я со своими двадцатью лишними килограммами умел более-менее хорошо – это кувыркаться. Весь этот бег, прыжки в высоту или через козла, через которого я так никогда в жизни и не сумел перепрыгнуть, были для меня адом, и я считал минуты до конца урока. И, что самое интересное: даже после того, как я похудел, в этом смысле ничего не изменилось. Но природа брала свое, и однажды я с удивлением обнаружил, что выше локтя у меня как-то сами собой появились

небольшие мускулы, и толкнуть штангу килограмм в 60-70 особого труда для меня не представляет. А значит, и на погрузке я вполне мог поработать.

Я стал шестым человеком в бригаде, которая должна была разгрузить вагон с молодой картошкой. Технология работы была простая: три человека набирали картошку лопатами в корзины, а остальные трое сбрасывали эти корзины в подъехавший к вагону грузовик. Затем, когда грузовик отъезжал, мы менялись местами.

На время работы я снял пиджак и рубашку и закатал брюки. На улице было довольно прохладно, но холода я не чувствовал – я впервые в жизни занимался физическим трудом, и был какой-то свой азарт в том, чтобы поднимать каждую следующую корзину и вытряхивать ее в грузовик. Да и прислушиваться к разговорам напарников было интересно – почти все они, как выяснилось, были недавно с «зоны», и то и дело вспоминали какие-то истории про блатных, воров в законе и побег.

Одна из историй – о том, как одна кодла решила дать деру из колонии, взяла какого фраера в качестве «коровы», а тот на первой же стоянке возьми их и всех пореши – почему-то особенно запомнилась.

Небритый мужик, оказавшийся бригадиром, некоторое время присматривался, как я работаю, потом подошел и сказал:

- Не так ты делаешь! Ты корзину не стряхивай, а опрокидывай – иначе руки устанут и скоро начнут отваливаться!

Совет оказался, кстати - к этому времени руки у меня уже болели. Начав работу где-то после полудня, к сумеркам мы ее закончили и повалились отдыхать прямо на пол вагона. Потом к вагону подошла женщина в грязном халате и стала рассчитываться с бригадиром.

Получив тонкую пачечку денег, тот раздал каждому по червонцу, а мне – синюю пятерку, и спросил:

- Ну что, хавать будем? Тогда скидываемся по рублю! Без пацана – пацан свое уже заплатил.

Потом кто-то сбегал за жрачкой, мы сели, помнится, где-то в сторонке, но совсем недалеко от рельсов, и расстелили газету «Известия». На первой полосе красовалось фото какого-то чернокожего в расшитом золотом то ли платье, то ли халате, и было написано, что в Москву прибыл «большой друг нашей страны».

- Вот потому что у нас друзья такие ху&вые, мы так ху&во и живем! – кинув взгляд на газетное фото, заметил бригадир, бывший, видимо, по совместительству немного философом.

На газете тем временем появились хлеб, копченая и жареная рыба, оказавшиеся просто сказочно вкусными соленые огурцы, упаковка масла и несколько бутылок сладкого вина – может быть, это был знаменитый «Солнцедар», названия на этикетке не помню.

Выпивать и закусывать мы начинали под радио, но тут диктор предложил «прослушать концерт для скрипки с оркестром ми-минор Мендельсона».

- Ну вот, буду я еще этого жида слушать! – пробурчал бригадир и выключил радио.

Затем посмотрел на меня, уже надевшего рубаху и пиджак, и добавил:

- Извините, если кого обидел...

Но я и не обиделся. В конце концов, оскорбили ведь не меня, а Мендельсона, и он не мог знать, что у нас похожие фамилии.

Мне нравились эти простые русские люди, и именно о таких я и собирался писать в будущем.

Как-то незаметно в нашей компании появился седьмой – невысокий, худенький, такой типичный русский мужичонка, евский и выпивавший наравне со всеми. Возможно, он был приятелем одного из бригады, или даже всех этих мужиков, кроме меня. Он тоже – может быть, от выпитого – казался мне добрым и милым человеком, как и все остальные. Все мы перешучивались, балагурили, и я тоже пытался вставить в общий разговор свои пять копеек. И тут...

Клянусь, я до сих пор не знаю, что произошло – сказал ли я что-то лишнее, или что-то не так сделал, но вдруг этот мужичок оскаблится, на полусогнутых ногах, выгнув вперед тело пошел на меня, и тут в его руке блеснула финка. Его лицо, только что такое добродушное, вдруг резко изменилось, и теперь на меня смотрел и шел самый настоящий зверь, которому не ведомо ничто человеческое и который, начав надвигаться на добычу, уже не остановится.

Сглотнув слюну, я оглянулся. В принципе, можно было бежать – пути за спиной уходили в неведомые дали, но не было никакой гарантии, что он не начнет догонять и не вставит перо в спину.

Оставалось только драться, и, когда я понял это, страх прошел. Теперь все мое внимание сосредоточилось только на приближающейся финке, которую надо было отбить. Даже не на финке, а на той руке, что ее держала... Я почему-то был уверен, что физически он слабее меня, и я смогу отбиться. Но пережитый тогда в течение нескольких секунд страх я помню до сих пор. После этого мне не нужно рассказывать, что чувствует кролик перед удавом, и почему он не может в этот момент пошевелиться – я это и так хорошо знаю.

Но главное: в тот момент этот мужик с финкой и был для меня всем русским народом – способным в мгновение ока переродиться из человека в беспощадного нелюдя, ослепленного собственной яростью и вбившего вдруг невзвесть что в свою явно не самую умную голову...

К счастью, не знаю уж для кого - для меня или для него, но до схватки не дошло: бригадир тоже рывком поднялся на ноги и, приговаривая «Чего ты на пацана взелся?», оттащил моего противника в сторону.

Как я оказался снова на ростовском вокзале, я уже не помню – к тому времени я основательно захмелел от выпитой бурды. Но той тошноты, что была после водки, не было – просто все плыло перед глазами и очень хотелось спать.

Спали или дремали на ростовском вокзале многие, так что в этом смысле я ничем не выделялся. Но утром, посмотрев на себя в зеркало в туалете, понял, что, как я ни пытался все эти дни сохранить приличный вид, мне это не удалось – рубашка уже давно не была белой и явно требовала стирки. Да и пиджак, которому не было и недели, когда я пустился в бега, тоже почему-то выглядел далеко не новым.

Вдобавок ко всему, неожиданно вернулся тот страх, который я испытал на Товарной, и я решил, что лучше убраться из этого проклятого города как можно быстрее. Но тут пальцы нащупали в кармане пятерку, и я подумал, что здесь наверняка есть где-то столовая, в которой можно нормально поесть, и уже затем двигаться дальше. И я вышел в город, который, возможно, показался бы мне красивым, даже очень красивым, если бы не вчерашняя история.

Я спросил первого встречного, где можно сытно позавтракать и пообедать одновременно; тот ответил, и, следуя его совету, я действительно скоро набрел на какую-

то столовку, где взял котлеты с пюре, хлеб и два компота. Все это стоило, если я правильно помню, рубль двадцать – не так уж, по большому счету, и много. В Баку того времени это обошлось бы рубля в два, а то и в трешник – если «сдачи не надо»!

Затем я решил, что кутить так кутить, и снова взял пачку «Явы», так что у меня осталась всего трешка – ровно столько же, сколько у меня было, когда я вышел из дома.

Вот так, гуляя, я набрел на небольшую – человек в тридцать – похоронную процессию. Оркестр играл траурный марш, за гробом шла еще молодая женщина в черном платке, за ней плелись, делая скорбное выражение лица, какие старухи и старперы – то ли родственники, то ли соседи покойного. Сам не знаю, для чего я примкнул к этой процессии – может, просто потому, что теперь в моем шатании по городу появился хоть какой-то смысл, но история, которая выстраивалась из обрывков разговоров людей вокруг меня, невольно потрясала.

Покойника, как выяснилось, звали Васька, и умер он не своей смертью – его забили до смерти какие-то блатные, причем среди бела дня, на виду у людей, и пока не появилась милиция, никто даже не попытался вмешаться.

Был этот Васька местным спекулянтом – продавал возле магазина импортные колготки, бижутерию и прочее фуфло, которое откуда-то доставала его жена. Она же и посылала Ваську торговать, и потому все вокруг винили вдову в его смерти и говорили, что спекулянт он был никакой, «куражу в нем не было», и потому торговля шла вяло. Но когда те «стиляги» к нему прицепились и стали требовать деньги, он отдавать не захотел – вот и поплатился...

Обратно до вокзала я дошагал так быстро, что и не заметил. Зато написал вторую «Пустяковую историю, услышанную в городе Кукареку», щедро подмешав туда словечки и выражения, услышанные на Товарной:

*В городишке, что для смеху
Назову я Кукареку,
Хоронили человека
По прозванью Васька-спекуль.
Вот какой, брат, жизнь десерт:
Вчора - ели, нынче – нет.
Тары-бары-растабары,
Хороши были товары.
Был бы классный спекулянт –
Да не выдал Бог талант!
Вот такая, брат, беда:*

Без таланта – никуда!..

Оказавшись снова на платформе ростовского вокзала, я влез в вагон какого-то, видимо, уже давно стоявшего здесь поезда, и через пару минут он тронулся. Куда именно я еду, я снова не знал – знал лишь, что все пути так или иначе ведут в столицу нашей родины - Москву...

Глава 5. Донецк

Стоял самый конец апреля, и плацкартный вагон, в котором я оказался, был полон молодежи – в некоторых вагонах уже закончились защита дипломов и выпускные экзамены, в других только-только завершилась сессия, и многие студенты спешили домой - передохнуть недельку перед экзаменационным марафоном.

Я подсел в плацкарту, в которой ехали два парня в морской форме – почти мои ровесники, может, на год-полтора старше, хотя выглядели они вполне взрослыми. Или, точнее, это я все еще внешне не тянул на свои семнадцать.

Вдобавок ко всему, эти ребята оказались почти моими земляками – три года проучились в бакинской мореходке, и за это время хорошо освоились в городе. Осенью их ждал призыв в армию, и теперь они ехали в родной Донецк на каникулы. В сумках у них лежали тщательно упакованные невиданные в их родном городе гостинцы – осетровый балык холодного и горячего копчения, копченый кутум – огромный жирный каспийский карп, и несколько желтых картонных коробок копченой же каспийской кильки. Килька эта в килограммовых и полукилограммовых коробках тогда еще свободно продавалась в бакинских рыбных магазинах, и была изумительно вкусной.

Мы вместе пили купленное ими на ростовском вокзале «Жигулевское» пиво, закусывали килечкой, и я слушал их истории о жизни в мореходке. Затем настала моя очередь, и я рассказал, как мне объявили бойкот в классе, как я ушел из дома, и теперь пробираюсь в Москву...

Как-то незаметно, видимо, заинтересовавшись моей историей, в нашу плацкарту подсели две симпатичные девушки с бокового места напротив. Одна из них была чуть полноватой, другая – наоборот, совсем худенькой, но ни ту, ни другую это не портило. Высокие (по меньшей мере, для меня), в босоножках на каблуках, с длинными темными

волосами, чернобровые, с ямочками на щеках, они были теми самыми гарными украинскими дивчинами, каких я не раз встречал улицах в Прилуках, Чернигове и Киеве.

Обе были студентками филфака то ли университета, то ли пединститута, то есть будущими словесницами; на обеих были элегантные, стянутые поясками длинные платья, и на шалав они были непохожи. Мне было бы жаль, если бы они оказались такими же, как та, в Минводах, но они такими вроде и не были.

Морячки это почти сразу поняли и, встав в первые секунды в стойку, вскоре заметно сбавили напор и стали вести себя не как какая-нибудь матросня, а как господа офицеры, хорошо знающие, как нужно ухаживать за настоящими леди.

- И что ты собираешься делать в Москве? – спросил один из моих новых попутчиков.

Я ответил, что пишу стихи, имею счастье быть немного знакомым с самим Евтушенко, а потому собираюсь его разыскать и попросить о помощи – глядишь, он меня куда-нибудь пристроит, а то и оставит жить у себя, поскольку я ему явно «показался». Самое смешное, что я и в самом деле верил в то, что говорил, втайне рассчитывая стать для Евгения Александровича чем-то вроде приемного сына. Само собой, это была пустая фантазия, хотя...

Как знать, как бы все сложилось, доберись я в итоге до Москвы – у Евтушенко ведь тогда еще не было горького опыта с Никой Турбиной.

- Ты пишешь сти-хи-и? – протянула полненькая девушка. – Ну, так почитай что-нибудь, а мы оценим...

Я на минуту задумался, а затем выбрал стихотворение, которое, на мой взгляд, должно было безотказно действовать на девушек, хотя пока почему-то не действовало:

*Ты мне приснилась. Ты – с другой планеты.
Ее не видно в лучший телескоп.
Но все же хорошо, что есть ты где-то,
Что топчешь пыль инопланетных троп.
Что ты кого-то ждешь, и каждый вечер
В плечо кому-то говоришь: «Люблю!».
Я все равно тебя в итоге встречу.
И отобью. Ей-Богу, отобью!*

- Еще! - потребовала полненькая.

Таких «инопланетных» стихов у меня, бредившего пришельцами, было тогда много, и я начал читать самое

первое, написанное еще в девятом классе, с которого я и обнаружил, что время от времени могу рифмовать, пусть и не всегда точно:

*Я родился, наверно,
В далеких мирах –
Где-нибудь во Вселенной
Есть мой дом и мой сад.
Только дом тот особый -
совсем не земной:
Длинный, он, как автобус,
и, как ящик, пустой.
Нет стола в нем и стула –
Только книги и плед,
Да под балкой сутулой
Висит твой портрет.
А в саду моем птицы
Распевают навзрыд:
«Нам Земля только снится,
Ну, а к ней путь закрыт!
Говорят, там без края
Поля и леса.
Говорят, наш хозяин
На ней родился!
Ведь недаром, недаром
Написал он на днях:
“Я родился, наверно,
В далеких мирах”».*

- Еще! – повторила девушка, и я стал читать стихотворение, которое Евтушенко назвал «в целом удачным»:

*В автобусе толкаются локтями,
А в магазине – даже в морду бьют.
А я брожу, как инопланетянин,
Случайно ошивающийся тут.
Мне доверяют девочки секреты
И держат пацаны за своего,
Но я-то знаю: я – с другой планеты,
Хоть я о ней не знаю ничего!
И в час, когда все граждане России
Ложатся от России отдохнуть,
Я пробую покончить с амнезией
И вспомнить – ну хотя бы что-нибудь!
Хоть букву из родного алфавита,
Хоть слово из родного языка...
А надо мной плывет моя планида,
И там никто не помнит земляка.*

- Слушай, а ты ведь, похоже, и вправду поэт! – сказала она. – Во всяком случае, это лучше наших институтских графоманов. Почитай еще!

Вот так у меня и получился мой первый в жизни поэтический вечер, к слушателям которого присоединились еще два парня с соседней плацкарты. Я читал стихотворение за стихотворением, пьянея от восторженного внимания девушек, бывших намного – на целых четыре года! – старше меня, и в упор не видевших морячков, явно не испытывавших восторга от того, что я переключил все внимание дам на себя.

За окном мелькала станция за станцией, и, наконец, наступил момент, когда девушкам пришла пора выходить.

Пухленькая поднялась, подошла ко мне, оставшемуся сидеть и сказала:

- Ты и вправду какой-то чудной, словно с другой планеты. Или как будто родился на век позже, чем должен был родиться. Но я очень хочу, чтобы у тебя все-все получилось!

И вдруг она наклонилась надо мной, приблизила вплотную лицо к моему лицу и поцеловала в губы.

Еще через секунду, дыша духами и туманами, она с подружкой направилась к двери вагона – поезд уже дернулся в последней фрикции, замирая перед станцией.

Это был первый поцелуй в моей жизни. И он был прекрасен.

Какое-то время после ухода девушек мы сидели молча, словно все еще живя их присутствием, а потом один из морячков спросил:

- Слушай, допустим, ты доедешь до Москвы. А дальше – что? Как ты собираешься найти этого своего Евтушенко? Москва – огромный город! Там заблудиться – раз плюнуть!

- Ну, это просто! Пойду в Союз писателей, там дадут адрес...

- И с чего это они должны тебе давать его адрес? Ты ведь ему никто, и для них – никто! И потом, ты же сам сказал, что познакомился с ним в Баку. То есть он все время то там, то здесь... Кто тебе сказал, что когда ты приедешь, он вообще будет в Москве?!

- Вообще, по-моему, ты какую-то херню спорол! – влез в разговор его приятель. – На хер было из-за каких-то мудаков из дома уходить?! Лучше возвращайся в Баку и поступай в нашу мореходку. Десять классов у тебя есть, так что учиться придется всего два года. Затем получаешь, как

мы, профессию механика – и весь мир перед тобой. Конечно, в армию тебя скорее всего во флот возьмут, три года придется оттрубить. Но зато потом можешь пойти в загранку, по всему миру попутешествовать, да еще и неплохие деньги зашибать, шмотки импортные привозить...

В разговорах мы доехали до станции под названием Ясиноватая. Дальше они ехали в свой Донецк, и, сам не знаю, почему я увязался за ними – было ощущение, что у меня появились друзья.

До Донецка мы доехали на электричке, затем поехали куда-то на автобусе. И тут они вдруг сказали, что уже возле дома, так что желают мне всего хорошего. Думаю, они уже давно думали, как от меня избавиться, потому что я и в самом деле прицепился к ним, как банный лист.

Вот так в полночь я неожиданно для себя оказался посреди Донецка, в который ни сном, ни духом не собирался ехать. Вокруг меня простирался явно немаленький, чужой мне город, на улицах которого слабо светили фонари и не было ни души.

Куда идти, я и понятия не имел, и тут увидел, как на другой стороне улицы три бугая, метра под два ростом и шириною в шкаф идут с чуть пошатывавшейся девушкой в светлом платье. Неожиданно один из этих быков притянул ее к себе. Она вскрикнула, но тот бугай тут же зажал ей рот ладонью, и они втроем подтащили ее к стене дома, а затем стали срывать платье и укладывать на землю. Девушка слабо сопротивлялась, но пока один раздвигал ей ноги, второй продолжал зажимать рот, а третий топтался сбоку...

Меня они видеть не могли, но я видел все. На моих глазах насильовали женщину, но что я мог? Только как можно быстрее и дальше уйти от этого места, чтобы ничего не видеть. Меня жег стыд от собственного страха, но это был уже не мужичок с Товарной – для этой троицы я был почти что лилипутом, и любой из них просто отшвырнул бы меня в сторону движением руки.

Мне было жалко ту девушку, которая, скорее всего, была пьяна, но это не значило, что ее можно было насильовать. И я заплакал. Не из-за нее - из-за себя, от того, что я оказался таким слабым и малодушным. А чужой и бандитский (в этом теперь уже не было сомнения!) город обступал меня со всех сторон, и я даже не знал, где я нахожусь, в каком его районе.

На улицах по-прежнему не было ни души, и это только усилило мой страх. В этот момент я вдруг ясно понял: все,

что я затеял, было безумием, и мне надо возвращаться домой, в Баку, по улицам которого я ходил подчас и в час, и в два ночи, чтобы занять очередь у книжного магазина, в который должны были подвезти товар, но там никогда ничего подобного со мной не случилось. Хотя магазин был рядом с улицей Советской, на которой, как считалось, жили самые отчаянные хулиганы города.

До меня вдруг дошло, что эти парни из мореходки были правы, и в Москве мне ничего не светит.

Стало быть, надо было возвращаться – для начала хотя бы в ту же Ясиноватую, откуда, как я понял, был прямой поезд до Баку.

А класс?! Да что класс?! До конца учебного года оставалась пара недель, дальше должны были начаться выпускные экзамены.

Эти две недели как-нибудь можно и пережить, тем более, что я и раньше посещал далеко не все уроки. А иногда и просто вместо школы шел гулять по городу, дожидаясь, пока откроется редакция журнала «Литературный Азербайджан», чтобы показать свои новые стихи поэту Александру Гричу, ставшему на многие годы моим литературным мэтром, а спустя десять лет после этой истории и прямым начальником.

Приняв решение, я направился в сторону вокзала, хотя не знал, правильно ли я иду. Поэтому страшно обрадовался, заметив на улице прохожего, и, спросил, как дойти до вокзала?

- До вокзала? – удивленно переспросил он. – Да вот иди по этим трамвайным рельсам, они тебя выведут. Но это далеко, часа полтора, а то и больше топать.

- А трамвай скоро пойдет?

- Трамвай-то? Часа через два, а то и три. Сейчас ведь только два ночи...

И я пошел по рельсам, чувствуя, как на меня все больше наваливается усталость – я бродил по этому треклятому Донецку уже довольно долго. Сил идти дальше просто не было, у меня подкашивались ноги не в фигуральном, а в самом что ни на есть прямом смысле слова.

«Господи! – сказал я в пространство. – Ты же видишь, как я устал! Помоги мне добраться до вокзала! Сделай что-нибудь!».

Я прошел еще метров пятьдесят, и тут сзади меня послышался странный перезвон. Я оглянулся – по рельсам,

разгоняя донецкую тьму фарами, полз трамвай, а я, выходяло, стоял у него на пути.

Я подал знак, что прошу его остановиться, двери отворились, впуская меня внутрь, затворились снова, и трамвай поехал, время от времени позвякивая, дальше. Я был один на весь вагон, самого вагоновожатого не видел, а сил подойти к нему и сказать «спасибо» у меня просто не было. Минут через сорок за окном показались огромные неоновые буквы «Вокзал». Я подошел к двери, чтобы показать, что хочу выйти. Они снова распахнулись, я сошел, и трамвай покотил себе дальше, в антрацитовую ночь.

Думаю, теперь вы понимаете, почему я только усмехаюсь, когда мне говорят, что никакого Бога нет, а если и есть, то Ему нет до нас никакого дела?

Вокзал тоже был почти пустым, но к пяти часам вдруг начал заполняться направляющимся на работу народом. В полшестого подошла первая электричка на Ясиноватую, в которую мне с трудом удалось влезть. Ехал я спокойно – никому в этом битком набитом вагоне, полном работяг, не могло прийти в голову проверять билеты.

В Ясиноватой я потратил на еду последние деньги, оставшиеся с Ростова, днем влез с остальными пассажирами в поезд на Баку и, как обычно, затаился в тамбуре.

Я благополучно миновал Ростов, затем еще пару станций, когда мне пришло в голову, что если уж я возвращаюсь домой, то хватит жульничать! Надо, наконец, сказать правду – и я пошел к проводнице рассказать, что еду без билета, денег у меня нет и попросить дать мне доехать до Баку бесплатно. Она ведь женщина, и должна была сжалиться!

Молодая проводница, услышав мою исповедь, вызвала по рации начальника поезда, и они минут десять, стоя в стороне от меня, о чем-то совещались.

- Ладно! – сказала она. – Все уладилось. Дадим мы тебе доехать до твоего Баку. Иди в мое купе...

Мы сидели в купе с проводницей, я пил с ней крепкий вкусный вагонный чай с длинным мягким сахаром из бумажных пакетиков, и думал, что на этот раз все сделал правильно. Так мы проехали одну станцию, затем еще одну, а на станции Кропоткин в вагон вошли два милиционера.

- Ну, где ваш бродяга? – сказали они. – Давайте, сдавайте на руки...

«О женщины! Коварство - ваше имя!» - бросил я проводнице, выходя с милиционерами на перрон.

Похоже, мои приключения начинались сызнова.

Глава 6. Кропоткин

Милиционеры усадили меня в стоявший неподалеку от вокзала «воронок», и он тронулся с места. Через крохотное зарешеченное окошко машины ничего не было видно. Да и даже если и было, то это вряд ли бы мне помогло понять, куда же меня везут. Но не прошло и часа, как «воронок» остановился, и мне велели выходить.

Еще через пару минут меня завели в длинную комнату с большим зарешеченным окном, в которой не было ничего, кроме аккуратно застеленной кровати, откидного столика и ведра, в которое, как я понял, мне предлагалось оправляться. Словом, комната сильно напоминала тот самый «дом особый» из моего детского стихотворения, вот только никакого пледа, книг и портрета любимой здесь не было. И никакого сада за окном разглядеть было нельзя – на улице давно стемнело. Так что фантазии, если и сбываются, то никогда на все сто процентов. Все оказывается немного не так, как хотелось бы.

Затем дверь открылась, вошел какой-то мужик, но не в форме, а в самом обычном костюме, откинул столик и поставил на него поднос с горячей манной кашей, хлебом с повидлом и чаем.

- Ужин! – сказал он, и закрыл за собой дверь.

Если учесть, что я целую вечность нормально не ужинал, то все содержимое подноса проглотил вмиг, сладко жмурясь от удовольствия.

Через полчаса хмурый мужик в костюме вернулся, чтобы забрать поднос.

- Извините, а где я? – не удержался я от вопроса.

- Завтра все узнаешь. Сейчас – спать! – ответил он и выключил свет.

Так я впервые за много дней снова оказался на нормальной человеческой кровати с подушкой и теплым шерстяным одеялом, впервые смог раздеться и лечь. Это было бы блаженством, если бы не полная неизвестность – я не имел ни малейшего представления, где я нахожусь, что меня ждет впереди, и потому я долго лежал, бурывая

взглядом темноту. Спать не хотелось, и, чтобы развлечься, я стал читать про себя «Евгения Онегина» и заснул на том самом месте, где говорится, что Евгений «был жертвой бурных заблуждений и необузданных страстей». Успел подумать, что я тоже своего рода «жертва бурных заблуждений и необузданных страстей» - потому со мной и произошла вся эта история.

Проснувшись, я первым делом оделся по всей форме, включая пиджак, и стал прохаживаться по комнате. И тут через решетку увидел приблизившееся вплотную к окну симпатичное девичье лицо.

- Ой, какой кудрявый! – засмеялась девушка, голова которой была плотно обернута белой косынкой. – Но ничего - скоро с тебя эту твою красоту снимут!

О чем она говорит, я совершенно не понял – девушка исчезла так же внезапно, как появилась. Как сон, как утренний туман! За окном было довольно зелено, виднелись какие-то здания, и по дорожке маршировали мальчики в одинаковых синих рубашках и брюках. Я даже подумал, что это какой-то пионерский лагерь, хотя какой, к черту, мог быть лагерь, если на дворе вроде было то ли 30 апреля, то ли 1 мая!

И тут уже другой мужик, но тоже в костюме, очень похожий на вчерашнего, принес мне завтрак – чай, кашу, один хлеб с маслом и сыром, а второй - с повидлом.

- Поешь – и пойдем! – сказал он, и мне пришлось глотать всю эту роскошь под его взглядом, а затем мы вышли из домика.

- Давай пошли, не копайся! – поторопил он, но без всякой злобы в голосе.

Никто мне не угрожал, мне не сцепили руки наручниками, то есть я был явно не в милиции. Но где?!

Еще через минуту я оказался в другом одноэтажном домике, где какая-то толстая пожилая тетка велела мне раздеваться.

- Трусы тоже сымай! – сказала она, заметив, что я остановился.

- Трусы - не буду! – сказал я, давая понять, что торг тут неуместен.

- Сымай, я сказала! Воняют! - и теперь в ее голосе была явная угроза. – Сымай, а то я сама сниму – силой! И садись на табурет!

Это было непередаваемо стыдно и унижительно – полностью раздеться перед незнакомой женщиной, и я

сделал это не сразу. А когда все-таки сделал, и сел на табурет, прикрывшись руками, тетка взяла в руки машинку для стрижки, и буквально за пару минут остригла меня наголо – до состояния «кечал-бала», как говорили в Баку.

- Все! Вон там душевая – иди купаться. Вернешься, оденешь, что положено! – скомандовала она.

Я стоял под душем в большой пустой душевой, стараясь продлить удовольствие от горячей воды и куска мыла, да и выходить назад к тетке, видевшей меня без трусов, мне совсем не хотелось.

- Ну что, долго ты там будешь еще возиться?! Давай выходи! – послышался мужской голос.

Когда я вышел, никакой тетки в предбаннике не было. Вместо нее стоял тот самый мужик, который принес мне завтрак, а на табуретке лежали синие трусы, темно-синие брюки и такая же рубашка. Моя одежда бесследно исчезла. Как и ворох волос на полу.

- Пошли оформляться! – сказал мужик. Он шел впереди, указывая мне дорогу, словно совсем не боялся, что я могу сбежать. Да и куда я в самом деле мог убежать?!

Потом была большая комната, за столом которой сидел майор милиции, начавший задавать те же вопросы, что и капитан в Белиджах. Спросил он и про национальность.

- Еврей?! – удивленно переспросил он. – Ну-ну... Пошли дальше. Евреев у нас еще не было, так что ты – первый.

Он тщательно записал мой рассказ и все данные, включая адрес и номер нашего домашнего телефона.

- Ну все, Сергеич! – сказал он, наконец. – Уводи. Обед скоро! Пусть присоединяется.

И ни слова о том, где я и что меня ждет дальше!

- Я требую позвонить моим родителям и дать мне возможность с ними переговорить. Междугородняя связь у вас есть?!

- Требуешь, значит? – сказал он. – Ну-ну... От еврея, в принципе, этого можно было ожидать. Только здесь ты будешь делать то, что тебе говорят, а не то, чего ты требуешь, понял? Усек? А не будешь – сильно пожалеешь! Давай, иди на обед, пацан!

- Если вы не свяжете меня с родителями, то я объявлю голодовку! – пригрозил я.

- Это – пожалуйста. Объявляй, сколько тебе влезет! Уводи его, Сергеич!

И Сергеич привел меня в большой зал, где на маленьких стульчиках сидело человек тридцать, а может, и больше

детей. Почти все они были явно младше меня, лет тринадцати-четырнадцати, ну, может, троим-четверым уже исполнилось пятнадцать. Все они были в темно-синей униформе, все стрижены наголо. Но самое главное – здесь были девочки! Причем большинство явно постарше мальчиков, все в синих халатиках, перетянутых поясками, и среди них – та, что подошла к окну и которую, оказывается, звали Дашей.

- Ну что, кудрявый?! Сняли с тебя твою красоту?! Впрочем, ты и так ничего – симпатичный! Как звать-то? – спросила Даша.

- Слушай, - спросил я. – А что это? Где мы?!

- А ты че, не понял? – рассмеялась она. – Это – спецприемник для малолетних преступников. Пока мы все тут, а потом кого куда: кого в специнтернат, а кого и в колонию. Меня, например! Мне через месяц восемнадцать, и я больше не малолетка.

- А за что тебя?

- А тебя?

- Да ни за что! Из дома убежал, хотел вернуться, и тут попался...

- А, понятно. Бродяжил, значит. Ну, это ерунда! А вот я папку убила...

- Отца?! – не поверил я. – Как убила?!

- Да просто убила, ножом. Чтобы он ко мне больше в п&зду по ночам не лез! Да ты не дрейфь, здесь жить можно. Кормят хорошо, особо не издеваются, если не вытыкаешься. Сейчас вот на обед поведут!

Странно, но здесь брошенное ею грубое слово почему-то звучало нормально. Хотя девочке, по моим тогдашним понятиям, произносить такие слова никак не пристало.

Тут воспитатель (так, оказывается, это называлось!) и в самом деле отдал приказ строиться в столовую. Вели нас двумя колоннами – мальчики отдельно, девочки – отдельно.

На обед в тот день были борщ с мясом и сметаной, гречневая каша с большой котлетой и компот. Первое, второе, третье – все как полагается. Вокруг меня все ели с большим аппетитом, но я даже не притронулся к этой, так заманчиво пахнувшей пище.

- Ты чего не ешь? – озаботился сидевший справа пацан лет двенадцати или даже одиннадцати. – Не хочешь?!

- Я объявил голодовку! – объяснил я. – Пусть подавятся своей едой!

- Ну, если ты не ешь, тогда я съем! – сказал он, и через мгновение котлета и гречневая каша исчезли с моей тарелки.

- А я тогда твой компот выпью, ладно?! – сказал тот, что сидел слева, и еще через минуту не было и компота.

Вот так и вышло, что, хотя я объявил голодовку, этого никто не заметил.

Зато после обеда меня послали вместе с еще 5-6 ребятами на кухню мыть посуду, и так я оказался в паре с Таней – красивой полноватой цыганочкой. Было Тане, по ее словам, 13 лет, но выглядела она так, словно была минимум года на три старше, ростом с меня, и мне она понравилась даже больше, чем худенькая невысокая Даша.

В приемнике Таня оказалась, попавшись на краже.

Пока мы мыли посуду, я несколько раз словно невзначай коснулся ее, и один раз даже положил руку на талию, и она, похоже, не возражала – даже, наоборот, как-то весело на меня посмотрела.

Правда, когда мы вернулись с кухни в общий зал, ко мне подошли три пацана, бывших здесь до меня самыми старшими.

- Ты вот что, - сказал один. – От Таньки-то отлипни! А то...

- А то что?! – спросил я, принимая вызов.

- А то – то! У нас молотки в руках, можешь и по черепу получить!

Какие такие у них молотки, я не понял, но ребята явно не шутили, и я решил отлипнуть. Тем более что Даша продолжала меня опекать, и когда всем велели рассаживаться по стульям, показала на стул в последнем ряду рядом с собой. «Авось разрешат!» - добавила она.

И тут появилась «воспитательница» - не молодая, но еще и не совсем старая женщина в строгом костюме, с фигурой, напоминающей божью коровку. Усевшись по центру на большой стул, она стала читать... рассказ Осеевой «Волшебное слово». В детстве это был один из любимых моих рассказов, но ведь это было в очень далеком детстве. И не только мне, но и всем остальным сидящим в зале девчонкам и мальчишкам он явно не подходил по возрасту – дошкольников среди нас не было!

Поэтому мы стали с Дашей шептаться и раскачиваться на стуле, и в какой-то момент я осмелел и положил ей руку на колено, с трудом сдерживая от того, чтобы повести ее дальше – меня просто переполняло желание оказаться всем своим существом там, дальше. Даша руку не убрала,

а продолжила говорить, как ни в чем ни бывало, и вдруг, слишком сильно качнувшись, полетела на пол. Я тут же бросился поднимать ее сзади, положив в этот момент руки ей на прощупывавшиеся под халатом маленькие груди, и острая волна наслаждения прошла по всему моему телу.

Никогда прежде мне не доводилось коснуться женской груди, и в школе я только глотал слюнки, поглядывая на уже развившихся в полную силу одноклассниц.

Мы снова сели рядом и стали шептаться, и я снова положил руку на Дашину ногу – уже чуть выше, чем до этого, и вплотную к ней приблизившись.

- Эй, ты чего к девке прилип?! – раздался резкий возглас воспитательницы, которая к тому времени читала уже какой-то другой то ли рассказ, то ли сказку.

- Так! – продолжила она командовать. – Отсядь от нее на другую сторону комнаты. Как звать? В школе учился? До какого класса дошел?!

- До десятого! – ответил я.

- И как учился?

- Почти на «отлично».

Она презрительно окинула меня взглядом.

- Врешь ведь! Математику знаешь? Что такое синус можешь сказать?!

- И что такое синус, и что такое косинус, и тангенс с котангенсом, - ответил я. – А вы знаете законы Ома для частных случаев электрических цепей?

Не знаю, убил ли я ее этим вопросом, но разозлил точно.

- Так, сядь там, где я сказала! – оборвала она меня. – Я смотрю, ты умный очень! Хотела бы я посмотреть, как ты поумничаешь после переливания крови!

- Я бы на вашем месте не Осееву детям читал, а Носова. Про Толю Клюквина, например. Или «Незнайку на Луне». Это им по возрасту куда больше подходит! – съязвил я в ответ, но приказ отсечь на другую сторону выполнил.

Потом был ужин, и соседи по столу начали заглядываться на мою порцию, но я заявил, что решил прекратить голодовку, и съел все сам.

Перед отбоем я договорился с Дашей ночью выйти в коридор, а затем мы пойдем в туалет, и там она разрешит себя поцеловать и погладить всюду, где я захочу.

- Тебе – дам! – сказала Даша. – Ты мне нравишься!..

Наконец, нас завели в огромную спальню, велели раздеться до маек и трусов и лечь в постель!

- Кто не будет спать и начнет буйнить, получит переливание крови! – пообещал воспитатель, сменивший «божью коровку».

В спальне потушили свет, но в коридоре он продолжал гореть, и в проем двери было видно, как воспитатель мерно расхаживает по коридору. Сна у меня не было ни в одном глазу – я представлял, что у нас будет с Дашей, распалялся от этого все больше и больше, ждал, когда же этот тип заснет, поглядывая на висевшие на стене часы. Даша была совсем рядом – за стеной, в девичьей спальне. И оттуда – всего два шага до туалета!

Часы показали двенадцать, затем час. На какое-то время воспитатель исчез, я подкрался к двери и осторожно заглянул в коридор – нет, зараза, он не спал! И даже в два не заснул!

Часа в три или даже в половине четвертого, совершенно изнемогая от любви, я все же провалился в сон. А в семь уже был подъем!

Расписание этого места я усвоил быстро: побудка, умывание, потом в 7.30 завтрак, а с 8.00 до полудня мы, оказывается, должны были работать. Нас привели в большой цех, где мне вручили молоток, коробку гвоздей и моток железной ленты. Мастер по имени Виктор Петрович объяснил, что они сбивают деревянные ящики для вино-водочного завода, что я «должен работать, как все», потому как кто не работает, тот не ест, а потом объяснил нехитрую технологию сбивания ящика, а остальные в это время уже дружно стучали молотками.

Но дело в том, что именно здесь я и не мог быть как все! Руки у меня всю жизнь росли из того самого места, где спина заканчивает свое благородное название, уроки труда я ненавидел чуть меньше, чем уроки физкультуры, и то только потому, что там мой провал был замечен не сразу. Обычно задание по труду за меня выполняла мама: она сколачивала для меня табуретку, выпиливала лобзиком, делала автобус из фанеры и все такое прочее.

Поэтому дело у меня пошло из рук вон плохо. Доски отказывались сбиваться, гвозди гнулись или уходили куда-то в сторону, прямой угол выдерживать не удавалось. И это в то время, когда остальные делали ящик за ящиком! Наконец, мне все же удалось закончить один ящик, и тут объявили о конце работы! Я уже собирался выходить вместе со всеми, и в этот момент мне на плечо легла тяжелая рука Виктора Петровича.

- Значит так, парень! – сказал он. – У нас норма – пять ящиков в день. Выполнение – долг, перевыполнение – честь, а ты сделал один, и тот плохо. На первый раз прощаю. Но если завтра это повторится, то получишь переливание крови.

Я уже знал от Даши, в чем заключался этот излюбленный в приемнике метод наказания: тебе вгоняли куда-нибудь шприц, вытягивали кровь, а затем вкачивали ее в какое-то другое место. И говорили, что это – очень больно.

В течение всего дня мы с Дашей тискались при первой же возможности, но, когда мы вместе отправились в туалет, последовал грозный окрик воспитательницы, и нас развели в стороны. И весь этот день мне не давала покоя мысль о том, что будет завтра, когда мы снова окажемся в цеху.

Вторая ночь в приемнике снова была кошмарной, и утром я поплелся на работу, как на казнь. И тут произошло чудо; мы только начали работать, как вошел воспитатель и крикнул:

- Петр! Выходи! За тобой отец приехал!

Потом мне выдали мои выстиранные вещи, и пока я одевался, все время думал, как посмотрю в глаза отцу и что ему скажу – было до дурноты страшно и стыдно. Но когда я к нему вышел, отец просто обнял меня и... просто сказал:

- Поехали. Мама ждет.

За полчаса мы дошли до станции. У отца уже были билеты, и мы почти тут же сели на поезд. О чем мы с ним говорили в дороге и говорили ли вообще, начисто стерлось у меня из памяти.

Помню лишь, как мы вышли с бакинского вокзала на улицу, и я задохнулся от любви к городу.

Еще помню, что дома меня ждал салат оливье, окрошка, долма, торт трюфельный – все, что я больше всего люблю.

Обо всем случившемся мы почти не говорили – так, словно ничего и не было. И в школе ребята встретили меня как ни в чем ни бывало – так, как и велела им Людмила Ивановна. Потом были экзамены, выпускной бал, который, как и полагалось в Баку, мы завершили встречей рассвета на Приморском бульваре, и поступление в университет.

К этому времени я закончил цикл «Пустяковые истории, услышанные на вокзале», но показал его Александру Романовичу только в сентябре. Цикл ему в целом понравился, но годным для печати он признал только одно стихотворение – «Заключение»:

*Я молод был. За каждым перегоном
Фортуны мне мерещился оскал.
Я загонял, как лошадей, вагоны,
И как любимых, города бросал.
Я молод был. Я не нуждался в крове,
Любви и прочей суете мирской.
Я верил в то, что я с Шекспиром вровень,
И бредил, как Наполеон, Москвой.
А над землей витали дуры-птицы,
Шальные шли весенние дожди.
Мне все казалось: главное случится,
А главное-то было позади -
Я молод был...*

Вот и вся история. Само собой, за эти годы что-то стерлось из памяти, о чем-то я решил не писать, чтобы не слишком утомлять читателя, но...

Возможно, кто-то ждал, что в этой истории будут всякие ужасы и «свинцовые мерзости жизни», но, как видите, если они и случились, то их было немного. Возможно, мне просто везло, а может, люди всюду на самом деле куда добрее и лучше, чем мы о них думаем.

Немцы? Ну, немцы...

Для меня, как и для всех ребят моего детства, родившихся во время или вскоре после страшной войны, «немец» было бранным словом. Это они убили моего дедушку в Кисловодске и уморили голодом бабушку в блокадном Ленинграде. Это с ними четыре года воевали папа и другой мой дедушка. Это из-за них... Короче – гады, фрицы проклятые. Когда в школе пришло время иностранных языков, никто не хотел учить немецкий.

А школа-то была бывшая «Петришуле», и мраморная доска золотых медалистов в актовом зале сплошь была покрыта немецкими фамилиями. И весь город на каждом углу напоминал, что он на самом-то деле Петербург. И красивейший его пригород – Петергоф, а не какой-то труднопроизносимый Петродворец. И Кронштадт, и река Екатерингофка, и памятник адмиралу Крузенштерну на набережной (он вообще-то из шведов был, да какая разница). Штакеншнейдер построил чуть ли не все великокняжеские дворцы, а знаменитых коней на Аничковом мосту «лепил и отливал барон Петр Клодт». В пантеоне русской воинской славы, эрмитажной галерее 1812 года – то Бенкендорф, то Беннигсен, то Остен-Сакен...

Наверное, это были какие-то другие немцы, а не те, с кем папа воевал – так думал ленинградский мальчик, и не раз потом задумывался в свои молодые и не очень годы, но так до конца и не решил: те же самые, или все же другие. А поводы для подобных размышлений жизнь предоставляла много раз, и о них-то и рассказ.

Впервые я увидел живых немцев на станции Котельнич, где остановился поезд «Москва – Владивосток», которым мы с мамой ехали к папе, служившему офицером на Дальнем Востоке. Утром проснулся, поезд стоит, выглядываю - станция. И прямо напротив нашего вагона на перроне сложены доски, а на досках сидят непонятные люди, человек десять. Какие-то странно аккуратные, выбритые, подстриженные. Худые все, в серых кителях и штанах, на головах серые шапки - у кого пилотка с пуговками, у кого с козырьком. Рядом немолодой солдат

сидит с карабином, и здоровенная собака положила морду на лапы. Тут сосед по купе, мой ровесник Владик тоже проснулся, посмотрел: «О, - говорит, - фрицы!» Как фрицы, настоящие?! Мы с ним кое-как оделись, выскочили на перрон и смотрим. И несколько офицеров из нашего воинского вагона тоже вылезли в своих пижамных и спортивных штанах.

Один фриц достал губную гармошку и стал тихонько наигрывать. А собака, не поднимая морды с лап, тихонько подвывает. Офицеры развеселились, а солдат встал, поправил карабин на плече и говорит: «Товарищи, близко подходить запрещено, и передавать ничего нельзя. Хотя, б...ь, курить вот так хочется!» И тут же получил от одного из офицеров пачку папирос. Тут три раза прозвенел колокол, проводники закричали «По вагонам, поезд отправляется!», и мы забрались обратно. Смотрим в окно, а солдат открыл пачку и раздаёт фрицам по папиросе. И собака рядом стоит и виляет хвостом. Владик забрался на верхнюю полку досыпать, а я долго еще стоял в коридоре и слушал, как офицеры обсуждают только что виденных нами немцев – нужно ли через почти десять лет после окончания войны их держать в плену, или можно уже отпустить, пусть там у себя в ГДР социализм внедряют. Порассуждали, как они по всему Союзу вкалывают на стройках, халтурить по-нашему так и не привыкли, работают на совесть, от чертежа – ни на сантиметр. К единому мнению наши офицеры не пришли, согласились на том, что Хрущеву с Булганиным виднее. А те вскоре договорились с приехавшим в Москву канцлером Аденауэром и всех остававшихся еще пленных немцев отпустили на родину. А построенные ими жилые и промышленные здания долго еще носили прозвище «немецких» - в данном случае похвальное, а отнюдь не бранное.

Прошло много лет, и я снова столкнулся с немцем, побывавшем в советском плену. На подмосковной станции Щербинка проходила международная выставка железнодорожного транспорта, на которой наша ленинградская команда работала чуть ли не целый месяц. Жили мы в гостинице возле ВДНХ и каждый день катались на электричках в Щербинку и обратно вместе с прочими участниками, среди которых было довольно много иностранцев. Как-то на платформе в ожидании поезда я обменялся парой реплик по-английски с одним из них, и в вагоне он подсел к нашей компании – ухоженный такой

дядечка лет шестидесяти, явно довольный случайной возможностью пообщаться с местными. Обычно при выходе из выставочного комплекса участники снимали свои бейджики, так что непонятно было, откуда иностранец – ясно только по акценту, что не англичанин и не американец. Поговорили, как водится, о погоде, потом о том, какое в Москве вкусное мороженое – «не то, что у нас». А где это «у вас»? - тут и выяснилось, что собеседник из Западной Германии, на тогдашнем советском сленге «бундес». Чувствую, что-то хочет он спросить, но мнетяся. Решился наконец: «А вот эта ваша Schtscherbinka – sorry for my pronunciation – она пострадала во время войны?». Вряд ли, говорю, на этом направлении немецкие войска не подошли так близко к Москве, как в других местах. А что, интересуетесь военной историей? Тут он перешел почти что на шепот: «Да есть некоторый личный интерес, ноги я когда-то себе изрядно отморозил под Москвой, долго потом мучился, особенно после 43-го, когда в лагере сидел на Урале».

Признаюсь, вертелось у меня на языке – а кто тебя сюда звал, сидел бы себе в тепле и уюте в каком-нибудь вашем Гармиш-Партенкирхене. Немец, видно, прочел это на моем лице, принялся оправдываться – мол, «не корысти ради, а токмо волею пославшего мя фюрера». Я прикинул – было ему к началу войны всего лишь лет двадцать, призвали, обмундировали, подучили – и Drang nach Osten. Хорошо бы хоть не эсэсовцем оказался... Тут он счел нужным сообщить, что служил телефонистом при штабе пехотного батальона, а до призыва был подмастерьем электрика. И внимательно посмотрел мне в глаза – ну, так тебе легче будет рядом со мной сидеть? Ответить самому себе на немецкий немой вопрос я не успел – электричка пришла на Курский вокзал, где бывший телефонист (если только не приврал) вышел, а мы с коллегами поехали дальше, до Белорусского. В оставшиеся до конца выставки дни я ловил себя на том, что выглядываю его в толпе – чтобы успеть вовремя отвернуться.

Это были истории о немцах германских. А случались небезынтересные встречи и с советскими немцами. Работая уже после отказа в институте «Гипростекло», я часто ездил в командировки в Киргизию, в г. Токмак, где совершенно неожиданно познакомился с немцами-отказниками. Нас, еврейских отказников, не пускали в Израиль, а тех - в ФРГ. Они в большинстве своем были

высококвалифицированными мастерами-стеклодувами на местном стекольном заводе, зарабатывали большие по советским меркам деньги - по 500-600 руб. в месяц, не пьянствовали и жили в хороших частных домах с машиной в каждом дворе. Другие местные смотрели на них, как на умалишенных, - куда вас-то несет?! Чтобы успокоить общественное мнение (возможно, по совету из ФРГ), эти немцы вспомнили преданья старины, с большим скрипом зарегистрировали менонитскую религиозную общину, открыли на одной из своих усадеб молельный дом и тем успокоили местный базар. Стремление уехать по религиозным мотивам - это токмакскому населению было понятно.

При более близком знакомстве на почве общих претензий к советской власти выяснилось, что почти все они были высланы в Среднюю Азию в начале войны из Грузии и других мест Закавказья. Это было для меня открытием - думал до того, что они раньше были поволжскими немцами.

В Токмаке мы, группа ленинградских инженеров и программистов, отлаживали автоматизованную систему управления изготовлением листового стекла. Производство это непрерывное, поэтому работать приходилось в три смены. Сажу как-то ночью в операторской, одним глазом поглядываю на дисплей и мнемосхему, другим - в израильский справочник по ивритским глагольным формам. Подсаживается сменный стекловар по фамилии то ли Шульц, то ли Шварц: «Это чего у тебя, японский учишь?» Объяснил ему - я же в своем «Гипростекле» был как бы легальный сионист, каждые полгода справки брал для ОБИРа, на демонстрации демонстративно не ходил и т. п. Шульц был потрясен: «Так это что же, те самые буквы, которыми Библия написана? И ты их читаешь?!» На следующий день гляжу, меня снова в ночь поставили, и опять с Шульцем в одну смену. Тут он мне открылся, что тоже отказник, только не израильский, а ФРГшный. Их на заводе целая компания, хотят язык предков учить (в быту-то они все давно перешли на русский), да вот беда - книжек немецких не достать, особенно учебников. Из ФРГ посылки не доходят, пробовали из ГДР выписывать - тоже не получается... Я пообещал поискать в Ленинграде и привезти, что найду.

В Ленинграде мы посоветовались в своем отказничком кругу и не пришли к единому мнению - должны мы им

помогать или нет. Решили, что если я от своего имени что-то сделаю - мое право, а коллектив тут не при чем. Вслед за тем тут же собрали мне 50 рублей, на которые я в «Книгах стран народной демократии» на Невском закупил немецкой учебной литературы, и даже с аудиозаписями. Потом еще в Москве добавил в аналогичном магазине на улице Горького, и в очередную командировку привез в Токмак целый чемодан. Восторгу тамошних немцев не было предела, Шульц привез меня к себе домой и устроил там сабантуй с пловом, лагманом и чистейшим яблочным самогоном. Немецкую кухню на столе представлял яблочный же штрудель. Деньги за учебники я у них отказался брать, так они мне собрали здоровенный мешок - кило 15 - орехов и отборных сухофруктов, кои в преддверии праздника Рош Ха-Шана были распределены между несколькими еврейскими семьями.

Это был не последний раз, когда пришлось мне помогать советским немцам. В 1989 году, уже живя в Израиле, я по работе прилетел в Западный Берлин. Поселился в гостинице возле Курфюрстендамм и на ночь глядя пошел прогуляться, а заодно поискать, откуда бы позвонить домой в Реховот (из отеля что-то дороговато выходило). Дошел до главного тогда западноберлинского вокзала со странным названием Zoo (то есть «Зоопарк»). Нашлась там, как я и предполагал, круглосуточно открытая почта; поговорил по телефону с женой и продолжил неспешно осматривать вокзал – одно из любимых занятий в каждом новом городе. В позднее то время все залы были пусты – кроме одного, в котором меня посетило форменное дежавю. Сидящие и лежащие на диванах люди совершенно русской деревенской наружности – женщины в плюшевых кацавейках и платках с детьми на руках, мужчины в «пинжаках» и сапогах, с мешками и узлами – все это напомнило многократно виденную картину огромного зала ожидания Казанского вокзала в Москве, где проездом из Верхнедвинска в Нижнеудинск мыкались поколения измученных и неприкаянных советских граждан.

Пораженный зрелищем, совершенно не вяжущимся с берлинским буржуазным благообразием, я оглядывал зал, пока взгляд не остановился на приютившейся в углу молодой паре с маленькой хнычущей девочкой с покрасневшим личиком, которой мама прикрывала рот и тихонько уговаривала: «Ну, не плакай, заругают ведь нас». Подошел к ним, спрашиваю: «Температура, похоже, у

ребенка?». «Ой, вы русский?!». Ну, отвечаю, в каком-то смысле, а что это у вас здесь за табор такой, как вы попали-то сюда?

Оказывается, немцы-переселенцы из Казахстана выгрузились час назад из прямого поезда Караганда – Берлин, никто их не встретил, чего дальше делать, не знают, с места сойти боятся и по-немецки, кроме как «хенде хох», ничего не знают. Ладно, говорю, щас пойду разберусь с этими ихними ферфлюфтерами, а дитю рот не затыкайте, пусть погромче голосит. И скорым шагом, напустив на себя официальный вид, направился к стойке Information, замеченной в процессе поиска почты. Там восседают две фрау профессорского вида, я им издали сердитым голосом: “You do speak some English I presume?”. “Yes sir, sure, how can we help you?”. Да не мне, отвечаю, я в ваших милостях, слава Богу, не нуждаюсь, а вашим же немцам, которых вы бросили без внимания и помощи, позор какой!

Дамочки засуетились, стали куда-то звонить сердитыми голосами, а мне ласково так: «Уважаемый сэ, раз уж вы проявили великодушие и приняли участие в судьбе наших дорогих репатриантов, объясните им, чтобы они не пугались, когда придут полицейские с тележками для их багажа. А то они обычно сразу начинают кричать «Нихт полицай!». И к девочке мы тут же пришлем дежурную медсестру». Вернулся я к своим немцам, все передал, дождался прихода полицейских с медсестрой – и пошел себе восвояси.

Иду неторопливо по переливающейся огнями Курфюрстендамм и думаю: не иначе, кто-то сверху посмеивается над абсурдом сегодняшней ночи – русский еврей явился из Израиля в Германию помогать русским немцам!

«Еврейское счастье»

Осенью 2014 года ко мне позвонила Варя Голембо, многолетний продюсер корреспондента РТР в Израиля Сергея Пашкова, и сообщила - к нам едет Владимир Познер! Он в последнее время подрядился снимать фильмы о разных странах, последний был – вместе с Иваном Ургантом – про Англию. И вот теперь, после долгих совещаний с израильским посольством, звёздная группа решила сделать фильм про Израиль. План фильма, точнее - список тех, с кем Познер должен встретиться в Израиле, чтобы понять, что почём, был составлен в израильском посольстве. И среди рекомендованных лиц числился и Натан Щаранский.

- Поэтому давай закроем время и место встречи, - сказала Варя.

Я, конечно, пошёл к Щаранскому. Моя первоначальная рекомендация была: согласиться на интервью. Хотя Познер, при всём своем внешнем фрондерстве, однозначно служил режиму, всё равно любой его передаче, а уж тем более фильму рейтинг был обеспечен. Причём высокий. Щаранский согласился.

Я договорился с Варварой и закрыл с Сарит, начальником канцелярии Натана, день, час и даже место интервью. Варя очень просила, чтобы это было в Тель-Авиве. Щаранский не любил ездить в Тель-Авив ради чего-то одного, и Сарит всегда ему загружала часы пребывания в этом городе до отказа. Не потому, что Натан не любил Тель-Авива, а потому, что ему было просто жаль своего времени – как ни крути, а поездка туда-сюда меньше двух часов не забирала. Но в данном случае он неожиданно легко согласился специально приехать ради интервью с Познером.

- Мои московские друзья очень мне рекомендовали дать это интервью, - объяснил мне Натан.

Но в первый приезд Познера в Израиль встреча так и не состоялась. Она должна была стать последней перед отъездом съёмочной группы в Москву. Прямо из канцелярии главы Сохнута на улице Каплан в Тель-Авиве, где было запланировано интервью, съёмочная группа

вместе с Познером должна была отправиться в аэропорт. Но что-то не состыковалось, что-то у них изменилось в последний момент, и накануне вечером мне Варя сообщила расстроенным тоном, что встреча отменяется.

- Ну, отменяется, так отменяется,- сказал я.

- Ничего страшного,- успокоила Варя,- сделаем во второй приезд, в январе.

Но перед приездом Познера во второй раз я успел посмотреть по 9 телеканалу его фильм про Англию. Точнее, не весь, конечно, а какой-то фрагмент этого двух- или даже трёхсерийного фильма. Нарвался я на него случайно. 9 телеканал никогда не служил для меня источником информации, я иногда смотрел на нём фильмы. И вдруг, гуляя по телеканалам, увидел Познера с Ургантом, фланирующих по Пикадилли. Двадцати минут мне хватило, чтобы изменить своё мнение о предстоящем интервью, и я немедленно высказал его Натану.

За эти двадцать минут я увидел как минимум три или четыре интервью с разными людьми. Каждый из них сказал одну-две, максимум три фразы. Но понятно было, что интервью нетто длилось намного дольше.

- Вы не знаете, как Познер будет монтировать отснятый материал. Да он и сам пока не знает, - сказал я Натану. - Вы с ним проговорите битый час, а войдёт одна ваша фраза. Да и то выдернутая из контекста. Пользы от этого вам особой не будет, а вред может нанести - вы же не знаете, как Познер всё вывернет. А он человек непредсказуемый и ни с кем не считающийся - столп, как-никак, российского телевидения. Так что лучше не рисковать.

Но Щаранский все равно хотел дать интервью Познеру. Деваться мне было некуда, и после долгих согласований и переносов, я договорился о новой дате с Варей.

Мы условились, что Познер с командой придёт 26 января в наш тель-авивский офис за полчаса до Натана, чтобы расставить оборудование. Они явились точно в назначенное время, я запустил их в кабинет Щаранского, и они начали прикидывать, как снимать. Познер держался спокойно, без надутости, но с явным осознанием собственного величия. Когда операторы начали спорить между собой о лучшем ракурсе, он негромко дал им совет.

- Авторитетом давите, Владимир Владимирович, - сказал главный оператор.

- Да нет, просто высказываю своё мнение,- ответил Познер. Но было понятно, что это мнение - решающее.

Вокруг приезда Познера была не то чтобы развернута истерика, но каждый, кто с ним встречался, даже мельком - считал просто необходимым сфотографироваться, сделать как минимум "селфи" и тут же вывесить совместное фото в «фейсбук». Звезда, похоже, никому не отказывала; этих фотографий я увидел не меньше десятка. Наверное, поэтому у меня не возникло ровно никакого желания фотографироваться с Познером. Более того, пока операторы ставили свет и камеры, я сидел рядом с ним и, открыв свой телефон, гулял в «фейсбуке» и проверял почту. То есть всё, о чём они меня просили, я делал, но сам не предпринимал никаких попыток вступить с Познером в разговор. Он это заметил, и ему это не понравилось. Настолько, что решил поставить меня на место.

Когда Натана усадили в кресло напротив Познера, я отошёл в сторону и сел за стол Натана, стоявший в глубине довольно большого кабинета. Так я, собственно, всегда себя вёл во время многочисленных интервью с Натаном, на которых мне пришлось присутствовать. С одной стороны, я его видел, и мог всегда вмешаться, если что-то пошло бы не так, а с другой стороны, я, сидя за его столом и на его месте, демонстрировал интервьюерам, что я не просто один из помощников, то есть к моим словам надо прислушаться.

Но тут, когда я сел за стол, то оператор махнул мне рукой - вы в кадре!

Я скорчил испуганную физиономию и поднялся, чтобы уйти. И тут встрял Познер, сказав Натану:

– Я понимаю, что ваш помощник тоже хочет оказаться в кадре. Но мы это позволяем немногим.

После съёмки Щаранский сразу же уехал, я остался в кабинете, дождался, пока группа собрала оборудование, и попрощался с Варей. На Познера я по-прежнему не обращал никакого внимания. Когда все ушли, я выложил на страничке Сохнута в «фейсбуке» маленькое сообщение и несколько фотографий, который сделал во время интервью. Вот это сообщение.

Какая ж песня без баяна?

Владимир Познер снимает сейчас фильм про Израиль. Но разве ж можно понять, что такое Израиль, без разговора с Натаном Щаранским?

Более часа длилась съёмка в тель-авивской канцелярии Натана Щаранского. Познера интересовало многое - что такое еврей, есть ли оккупированные территории, не виновата ли политика самого Израиля в росте антисемитизма в Европе, ущемляются ли права арабов в еврейском государстве. И Щаранский дал на эти вопросы острые ответы, убедительность которых признал сам Познер.

- Есть ли будущее у Израиля? - спросил на закуску московский гость.

Щаранский не смог скрыть удивления.

- Что за вопрос – конечно, есть. И замечательное!

Я не мог написать в «фейсбуке» главного - последнюю фразу Натана. Звучала она так:

– А вот что касается будущего России, то тут я вовсе не так оптимистичен.

Уже потом я понял, почему Познер задал этот вопрос – в начале января, еще до убийства Бориса Немцова, начался просто обвал просьб московских еврейских звезд о получении израильского гражданства - Макаревич, Розовский, Болтыгина... Все они понимали, куда идёт страна, и стремились обеспечить себе возможность выскочить, пусть даже и в последнюю минуту перед тем, как двери России захлопнутся. Звёзды не зря позаботились об израильском гражданстве, а Познер вовсе не случайно поинтересовался будущим Израиля.

А моё сообщение в «фейсбуке» просмотрели 23624 человека, поставили на него лайк 225 и перепостили 108.

Фильм Познера и Урганта "Еврейское счастье" появился на телеэкранах в начале января 2016 года. Начиная с первой же серии на него просто обрушилась волна критики. Характерной была статья Аркадия Красильщикова «Познер сработал на заказ». Абсолютному большинству тех, кто выставил свое мнения в «фейсбуке», категорически не понравилась позиция Познера в отношении арабо-израильского конфликта. Я имею в виду – в израильском русскоязычном «фейсбуке». Позиция эта была примерно такая: "и у арабов, и у евреев есть право на эту землю". Вывод Познера: «Я скажу, как тот раввин - и ты прав, и ты прав». Что же касается роли Урганта, то общее мнение было таким: клоун - он и есть клоун .

Это шельмование было мне совершенно непонятно. Утверждения, что фильм непрофессиональный, слеплен на скорую руку, и, главное, что антиизраильский - было неверно и предвзято. Фильм сделали профессионально, смотрелся он легко. Особенно удачным была постоянная пикировка между двумя ведущими, каждый из которых играл свою роль. Ургант - этакий весельчак, которому всё нравилось. А Познер - битый (или умудрённый) жизнью скептик, которому и религия не по душе и святые не вдохновляют. Это делало фильм живым, динамичным, с юмором и взаимными подначками.

Да, конечно, это был взгляд туриста. А чего ещё можно было ожидать? За два приезда в Израиль глубоко проникнуть в его проблемы?

Был там ряд ошибок и просчетов, был и неправильный выбор интервьюируемых. Как, например, с Рои Хеном, выучившим русский до такого уровня, что он переводил на иврит Хармса и многие пьесы театра «Гешер». Но Познер с Ургантом почему-то говорили с Хеном не о театре и литературе, и не о том, почему он выучил русский так, что говорит на нем почти без акцента, а об... израильском завтраке: шакшуке, салатах.

Были в фильме неудачные фразы, несколько досадных ошибок. Например, Познер путает Дрейфуса с Бейлисом. Ёрничанье Урганта и намёк на христианских младенцев - явный перегиб. Но вместе с тем совершенно очевидно, что Ургант сделал это не по злобе, а его просто занесло. Что называется – переёрничал...

Рассказывая про арабов и евреев, в фильме было сказано, что евреи здесь жили 1600 лет, но потом их выгнали римляне, и они вернулись только в конце 19-го века, когда здесь уже давно жили арабы. А ведь еврейское присутствие на Святой Земле не прерывалось никогда. Еврейские общины всегда жили здесь – в Иерусалиме, Цфате, Хевроне. Такое упоминание представило бы спор за эту землю в совершенно ином ключе, но в фильме оно так и не прозвучало

Критикам фильма очень не понравилось, что в нём было дано слово и Ханан Зуаби, и Саибу Арикату, и другим палестинским деятелям. Это меня, вообще, рассмешило. А что думали еврейские патриоты-критики – в нём будут говорить только Биби да Щаранский с Либерманом?

Были, кстати, ошибки и в пользу Израиля. Так, Познер сказал, что все три большие войны против Израиля начали

арабы: Войну за Независимость, Шестидневную и Судного дня. Хотя в Шестидневную Израиль атаковал первым. Такое заявление Познера выставляло в качестве агрессоров вовсе не Израиль, а арабов.

Хотя в первых сериях Познер говорил, что его ничего не трогает, симпатия его к Израилю была несомненной. Нельзя было не оценить его слова в конце второй серии о том, что теперь, после посещения Святой Земли, он живо представляет себе библейских героев, и даже разговор с ними. «С Одиссеем, - говорит Познер, - я не могу представить свой разговор, - А вот с Яаковом – могу». Влияние такого высказывания на усиление христианского паломничества из России – бесспорно....

И вообще, в целом отношение к Израилю и у Познера, и тем более у Урганта было положительным. Некоторые серии они сделали так ("Стук в дверь", "Давид и Голиаф"), что они смахивали на израильскую пропаганду.

Приведу ещё один, характерный пример. Рассказывая о терроре, Познер даёт слово двум матерям, потерявшим сыновей. У еврейской матери сын был похищен и убит террористами ХАМАСа, у арабской – был застрелен израильскими солдатами, когда он швырял в них камни. Еврейская мать говорит о том, что, несмотря на личную потерю, она понимает, что надо жить в мире с арабами, и следует для этого делать всё возможное. А арабская повторяет, причём на высоких тонах: «Я ненавижу евреев, я никогда не протяну им руки, я хочу, чтобы евреи исчезли с нашей земли, испарились, вернулись в страны, из которых они приехали». Кому из них отдаст свои симпатии российский зритель - было очевидным.

Поэтому, несмотря на все промахи и ошибки, «Еврейское счастье» является в чистом виде рекламой Израиля и работает на пользу Израиля. А большего ждать от фильма, который показали по первому российскому телеканалу во время январских каникул, и который посмотрели десятки миллионов россиян, невозможно.

Роман Кацман
Елена Промышлянская
Алексей Сурин

Дневник событий русско-израильской литературы. Февраль-июнь 2022

“У меня есть мечта, как сказал бы Мартин Лютер Кинг, и она поражает своей непрактичностью. Мне кажется, что именно здесь, в этом климате, где русское слово приезжих освободилось от чрезмерного российского тяготения, от тамошней мути и солипсически о себе возмнившей помойки, и его, это слово, можно вынуть из ножен и посмотреть, как играет на лезвии солнце, мне кажется, что здесь возможно новое русское искусство, которое будет уже не вполне русским. Я почти вижу эту новую прозу, аутентичное свидетельство невероятного местного существования, она как бы написана огненными буквами по небу, если прибегнуть к одной старой метафоре. И когда она будет создана, от нее уже не найдут спасения. Но кто отважится на такое?”

*Александр Гольдштейн (1957-2006)
журнал “22”, № 97, 1995.*

Русско-израильская литература сегодня — это сотни авторов, израильтян, пишущих по-русски, едва ли не ежедневные литературные и критические публикации, мероприятия, фестивали, конкурсы, премии, интервью, переводческие проекты. Мы поставили своей целью собрать эту обширную и разнородную мозаику значимых событий в один постоянно обновляющийся дневник.

Наша хроника начинается с трагической вехи — с 24 февраля 2022 года, даты начала полномасштабной фазы преступной войны России против Украины. Мы очень надеемся, что сможем вскоре отметить здесь и её окончание.

Дневник публикуется на сайте Университета им. Бар-Илана по-русски и на иврите, и знакомит также ивритоязычную публику с насыщенными событиями жизнью русско-израильской литературы и культуры. Бумажный вариант онлайн-версии публикуется в журнале «Артикль».

Июнь 2022

В издательстве Rugar вышел роман-антиутопия Давида Маркиша «Иллюзион@Голос свирели» (в 2021 году он был издан в Оренбургском книжном издательстве). Книга рассказывает о всеобщем, внушаемом и подконтрольном счастье на «земном шарике, зажатом в челюстях чугунного крокодила», который, при всём своём могуществе, не может помешать осуществиться счастью настоящему, зарождающемуся в любви.

28 июня 2022

В польском журнале «Iudaica Russica», посвящённом еврейской и русско-израильской литературе и культуре, опубликован фрагмент романа Александра Любинского «Заповедная зона» в переводе на польский, выполненном Мирославой Михальской-Суханек. Александр Любинский - прозаик и поэт, автор двух романов «Заповедная зона» и «Виноградники ночи» (2010), а также нескольких сборников рассказов, стихотворений и эссе. Лауреат «Русской премии» за книгу «Виноградники ночи». Постоянный автор электронного журнала «Черепаша на острове».

24 июня 2022

Вышел второй номер онлайн-журнала ROAR – «вестника оппозиционной русскоязычной культуры». Как написала главный редактор и издатель журнала, писатель и поэт Линор Горалик, «тексты второго номера ROAR говорят в первую очередь о войне — но они говорят и о системном насилии, которым российский режим пропитывает всё, с чем соприкасается». В номер вошли стихи, проза, арт- и саунд-произведения почти двухсот авторов (в том числе и израильских) о войне, репрессиях, личном противостоянии злу, выживании вопреки невыносимым условиям.

24 июня 2022

Писатель Александр Иличевский опубликовал на своей странице в Facebook пост о Давиде Маркише и его книге «Стать Лютовым» (2001). В своём тексте писатель отметил, что Маркиш - «легенда сионистской культуры», оказавший на его мировоззрение сильное влияние. По словам Иличевского, литература Маркиша — «часть и авангард такого значительного явления, как русский язык, поставленный на службу еврейскому самосознанию». «Сионистский порыв» интегрировать русский язык «в землю и культуру Израиля» обернулся для Маркиша

«значительным и прекрасным результатом», - написал литератор.

23 июня 2022

В Иерусалимской городской русской библиотеке состоялась презентация книги врача, писателя и публициста Ильи Лиснянского «Молчание» — историко-документальной повести о еврейской девушке, пережившей финский плен (1941-1944). Книга была издана в 2021 году в Ганновере, а в июне 2022 года её сокращенный вариант вышел в приложении «Роман-газета» к еженедельнику «Новости недели». Ведущим встречи был поэт и экскурсовод Дмитрий Кимельфельд.

Илья Лиснянский живет в Израиле с 1990 года. Помимо врачебной практики, он занимается исследованиями в области истории медицины и еврейской истории, проводит экскурсии. В 2018 году в Санкт-Петербурге вышла книга Лиснянского «Мифы Яффо. 25 прогулок по старому городу», посвященная, как сказано в аннотации, «тайнам многовековой истории древнейшего порта в мире».

23 июня 2022

В польском журнале «Iudaica Russica» вышли два интервью русско-израильских писателей. Вел интервью Алексей Сурин. Первое, с Александром Любинским, было записано в конце 2021 года и посвящено «александрийской» концепции литературы, разрабатываемой автором. Также Любинский рассказал о том, какое влияние на его прозу оказала поэзия Алексея Цветкова, о своих отношениях с другими представителями русско-израильской литературы, о неудавшейся попытке постмодернизма «очеловечить» мир, и об Иерусалиме как точке пересечения разнородных культур, языков и традиций. Второе интервью, с писателем и арт-терапевтом Еленой Макаровой, было сделано в апреле 2022 года, и большей частью посвящено войне, развязанной Россией против Украины, и её последствиям. Макарова рассказала о своём опыте работы с детьми - беженцами из украинских городов, о роли искусства в процессе проживания трагедий и катастроф, как личных, так и глобальных. Кроме того, писатель выступила против бойкота русской культуры, отметив, что к культуре термин «общественное покаяние» едва ли применим.

23 июня 2022

В городской библиотеке города Ариэль состоялась творческая встреча с писателем, кинодраматургом, кинорежиссером и продюсером Эдуардом Тополем. На встрече, помимо прочего, обсуждалась его новая книга «Идеальное любовное убийство и другие потешные романы» (2022). Это первая книга писателя, опубликованная в Израиле.

22 июня 2022

Роман Дениса Соболева «Воскрешение», выпущенный издательством НЛО в начале 2022 года, вошёл в длинный список премии «Ясная Поляна». Роман рассказывает историю еврейской семьи в разных исторических обстоятельствах: от эпохи застоя в СССР и 1990-х годов до наших дней. Сюжетная география так же обширна, как и временная, и охватывает Ленинград, Москву, Русский Север, Сибирь, Израиль, Ливан, страны Европы и Латинской Америки. Для Дениса Соболева, писателя, поэта, культуролога, литературоведа и профессора Хайфского университета, «Воскрешение» - третий роман. Его первый роман «Иерусалим» (2005) был включён в «короткий список» премии «Русский Букер» за 2006 год. Роман «Легенды горы Кармель: Четырнадцать историй о любви и времени» (2016) был номинирован на премию «Национальный бестселлер» (2017) и премию им. Аркадия и Бориса Стругацких (2017).

21 июня 2022

В Иерусалимской городской русской библиотеке состоялся творческий вечер Зинаиды Палвановой, включающий презентацию её поэтических сборников «Обживание вселенной котов и кошек» (2021, в соавторстве с Зеэвом Зорахом - поэтом и переводчиком, лауреатом премии «Олива Иерусалима»), «Со скоростью белого света» (стихи 2016-2022), а также книги переводов ее стихов на иврит «Бутылка в море» (ביבוק בים, 2022), выполненных израильским поэтом и литературоведом Хамуталь Бар-Йосеф. Помимо авторов и переводчицы, в мероприятии приняли участие Александр Разгон, Ася Векслер, Татьяна Лившиц-Аزاز.

20 июня 2022

Вышел в свет новый роман Якова Шехтера «Хождение в Кадис». Написанный в жанре исторической авантюры

прозы, роман описывает приключения новгородского мальчика Афанасия, ставшего пиратом Средиземного моря, а затем соратником Христофора Колумба в его путешествии к Новому свету. Как сказано в аннотации к книге, «экзотика, героика и романтика соединяются в ней с мистикой и тайнами древних учений». Яков Шехтер - член международного ПЕН-клуба. «Хождение в Кадис» - пятый роман писателя. Также на его счету более пятнадцати сборников повестей и рассказов.

Июнь 2022

Гали-Дана Зингер опубликовала новую книгу стихов “Всё, на что падает свет”. В нее вошли стихотворения 2016-2021 годов. Эту весьма объемную и богатую разнообразными темами книгу объединяет, по словам поэта, «очень тревожное предощущение предстоящих трагедий, растянувшееся на годы». Как и всё творчество Зингер, книга открывает новые горизонты для поиска свежих сил поэтического высказывания в наши печальные дни, когда “ветوشка правды поизносилась” и “пустословие обещает чудо” (“Разгадка недуга”, “Неизбежное”). Заглавие книги выражает слабую надежду на то, что поэзия ещё сможет спасти “всё, на что падает свет” разума. Это девятая книга стихов Гали-Даны Зингер на русском языке. Её перу принадлежат также четыре книги стихов на иврите, две электронные книги на английском, семь книг переводов на русский с иврита и английского, и одна – с русского на иврит.

14 июня 2022

В Варшаве в переводе на польский язык вышла книга рассказов Якова Шехтера «Однажды в Галиции» (“Niegdyś w Galicji. Opowiadania”). Перевод Петра Фаста, предисловие Лешека Мазана, послесловие Зигмунта Бердыховского, фотографии Петра Дроздика. Согласно аннотации, в сборник вошли «70 прекрасных хасидских историй, от Кракова до Меджибожа, о цадиках Бааль Шем Тове, Элимелехе из Лежайска и Хаиме Хальберштаме из Нового Сонча, о благочестивых и грешниках, мудрецах и простаках, богатых и бедных». Это вторая книга Шехтера на польском языке. Предыдущая, «Бесы и демоны» (“Biesy i demony. Powieść”), увидела свет в феврале 2022 года. Переводы его рассказов на польский вошли также в сборник «Из России в Израиль» (“Z Rosji do Izraela”, 2018).

8 июня 2022

В Ришон ле-Ционе состоялся творческий вечер писателя Михаила Ландбурга. В мае вышла новая книга писателя «И да, и нет».

2 июня 2022

В литературном клубе “Вдохновение” состоялась встреча с писателем Леонидом Ранковым. Основной темой встречи была его новая книга – “Кабаре в Берлине”. По словам автора, этот роман является попыткой осмысления проблематики насилия как неотъемлемой части существования, и его влияния на мораль. В нём повествуется о судьбах еврейских артистов кабаре в Берлине начала XX века. Книга основывается на реальной истории еврейского театра в Германии, на фоне которой представлены судьбы героев.

29 мая 2022

Вышел новый номер электронного журнала Союза русскоязычных писателей Израиля (СРПИ) «Литературный Вестник №21». Номер посвящен 50-летию Союза. В номер вошли стихи, очерки и короткая проза Любови Знаковской, Владимира Ароловича, Анатолия Зусмана, Владимира Горенштейна, Лоры Рай, Сергея Корабликова-Коварского, Любови Хазан и других авторов.

27 мая 2022

В российском издательстве «Альпина. Проза» вышла новая книга писателя Александра Иличевского «Точка росы». Книгу составили около пятидесяти коротких рассказов и несколько повестей, в которых читатель совершает путешествие в пространстве и времени: из «вечного» Иерусалима в Москву 1990-х годов, из холодного современного Берлина — в жаркий Крым, из загадочной Венеции к Мёртвому морю. Александр Иличевский — прозаик, поэт, эссеист. Лауреат премии «Русский Букер» 2007 года за роман «Матисс», и премии «Большая книга» 2010 года за роман «Перс». С 2013 года Иличевский живет в Израиле.

25 мая 2022

Вышла в свет новая книга Якова Шехтера «Есть ли снег на небе». Она входит в серию “Fantasy prose”, однако включает в себя не только истории о чудесном, о демонах, бесах и чудотворящих праведниках, составляющие

основную линию в творчестве писателя, но рассказы, которые, по его словам в аннотации, «занимают всю ширину спектра достоверности – от затейливых побасенок до абсолютной правды... Есть строго документальные истории, есть притчи, и мемуары, и анекдоты».

20 мая 2022

Михаил Ландбург выпустил книгу «И да, и нет» (Ришон ле-Цион; издательство «MeDial», 2022). Прозаик родился в Литве в 1938 году, репатриировался в Израиль в 1972-м, опубликовал в Израиле около двадцати книг.

«И да, и нет» - это сборник миниатюрной, ироничной и фантазмагоричной, иногда сюрреалистической прозы. Его подзаголовком служит известный мем: «Даже то, что быть не может, однажды может быть».

18 мая 2022

Вышел в свет новый сборник рассказов Дины Рубиной «Эх, шарабан мой, шарабан...». В новом сборнике собраны рассказы на тему сложного противостояния человека судьбе. В него вошли такие произведения, как «Наполеонов обоз» (отрывок из романа), «Заклятье», «Бессонница», «Двое на крыше», «Собака», «Туман», «Самоубийца», «В России надо жить долго», «Высокая вода венецианцев», «Медальон».

16-20 мая 2022

С 16 по 20 мая в Тель-Авивском университете, в Музее еврейского народа «Ану» проходил «Фестиваль свободной культуры СловоНово». С 2018 года фестиваль проводился ежегодно в Черногории, его инициатором и арт-директором является Марат Гельман. На сайте фестивального форума, в рубрике «История», говорится, что «новая волна русских в Европе уже не называет себя эмигрантами, они достаточно активно участвуют и в российской художественной жизни, это новые европейцы, американцы, израильтяне, живущие в культуре, главный знак которой - русский язык. Мы хотели продемонстрировать то, что сегодня за пределами России работают очень важные для русскоязычной культуры писатели, художники, поэты, музыканты, журналисты, политики, режиссёры. Это мощное интеллектуально-художественное многоголосье, которое заявляет о себе: «Мы не в изгнании, мы в послании»». Фестиваль проходил в тени развязанной РФ войны в Украине, и поэтому вызвал бурные дискуссии о его своевременности, несмотря на то, что антивоенный

протест был лейтмотивом почти всех включенных в него мероприятий. Многие участники оказались именно «в изгнании», вынужденном или добровольном, и потому форум приобрел новое-старое, вполне эмигрантское звучание.

Можно отметить секцию «Русскоязычная поэзия Израиля: здесь и сейчас», в которой читали свои стихи Илья Аросов, Вадим Гройсман, Антон Нечаев, Елена Берсон, Евгений Никитин, Петя Птах, Петр Садаловский, Ася Энгеле, Наиля Ямакова. Прозвучали стихи Михаила Гробмана в исполнении Ирины Врубель-Голубкиной, которая была модератором (и, видимо, инициатором) этой секции, но передала бразды правления Евгению Никитину. Состоялся также круглый стол «Новейшая география – точки притяжения. Израиль как один из центров русскоязычной культуры вне России», в котором участвовали Рома Либеров, Евгений Коган и Илья Аксельрод (вместо заявленного Марка Галесника), а вела его Лика Длугач. Обсуждение было сфокусировано на вопросе о том, что такое «русская культура», и почему русский язык остается языком интеллектуального и художественного творчества даже после репатриации.

12 мая 2022

В Иерусалимской городской русской библиотеке состоялась презентация новой книги Елены Толстой «Сбор клюквы сикхами в Канаде», вышедшей в издательстве НЛО. «Сбор клюквы» — художественная проза, в которой реальные лица и ситуации переплетаются с вымышленными. Книга составлена из миниатюр: детство в Ленинграде пятидесятых, разнообразные московские учебные заведения и авангардные предчувствия шестидесятых, реалии эмиграции, вкрапления документальных материалов, вроде чужих устных мемуаров или газетных объявлений, а подчас и пародий на литературные или академические исследования. Как указано в аннотации к книге, интерес её автора «сосредоточен на ускользающих культурных деталях, которые придают незабываемый вкус любой эпохе». Елена Толстая — израильский литературовед, профессор кафедры славистики Еврейского университета, автор книг «Ключи счастья: Алексей Толстой и литературный Петербург», «Игра в классики», сборника рассказов «Западно-восточный диван-кровать» и других.

12 мая 2022 года

В Израиле на 76-м году жизни скончался поэт, публицист, переводчик Алексей Цветков. Цветков родился в 1947 году в Станиславе (сейчас Ивано-Франковск). В 1970-е годы в Москве вместе с Бахытом Кенжеевым, Александром Сопровским и Сергеем Гандлевским участвовал в поэтической группе «Московское время». В 1975 году был арестован и выслан в Запорожье, в том же году эмигрировал в США, где жил до переезда в Мюнхен в 1989 году. Был автором программ Радио Свобода "Седьмой континент" и "Атлантический дневник". С 2018 года жил в Израиле (Бат-Ям). Цветков - автор более 10 книг стихов. Лауреат премии им. Андрея Белого (за книгу стихов «Имена любви», 2007) и «Русской премии» (за книгу стихов «Детектор смысла», 2011).

9 мая 2022

Вечер чтения украинской поэзии в переводе на иврит в книжном магазине-кафе «Маленький принц» в Иерусалиме. Участники: Гали-Дана и Некод Зингеры (презентация «Украинского проекта» в рамках журнала «Двоеточие-Некудатаим»), Эфраим Подоксик, Иона Гонопольский, Асаф Бартов.

6 мая 2022

Вышел в свет №21 журнала "Артикль". В преамбуле к номеру говорится: «Этот номер начал готовиться совместно с одесским литературным объединением "Зелёная лампа" задолго до трагических событий февраля 2022». И всё же некоторые из произведений номера так или иначе отзываются на войну России против Украины. Среди авторов номера одесские писатели, а также такие русско-израильские авторы, как Петр Межурицкий, Павел Лукаш, Петр Люкимсон, Яков Шехтер. В номер вошли и стихи Алексея Цветкова.

3 мая 2022

Вышел в свет №59 журнала «Зеркало». В номер вошли подборки стихов Анны Гринки, Ерог Зайцвё, Георгия Мартиросяна, Екатерины Симоновой, Михаила Гробмана и Дмитрия Пименова; проза Ольги Медведковой, Георгия Кизельватера, Алика Фукса, Александра Гинкина, Юрия Лейдермана; эссе Леонида Гиршовича о «характере русского человека»; глава из монографии Дмитрия Сегала

о Константине Вагинове; «дневниковая проза» Михаила Гробмана о его поездке в Москву в 2002 году.

Апрель 2022

В Германии вышел перевод на немецкий язык романа Елены Макаровой “Фридл” (Friedl). Переводчица – Кристина Хенгевос (Christine Hengevoß). На русском языке роман был впервые опубликован в журнале “Дружба народов” в 2000 году (№9), отдельным изданием – в издательстве НЛО в 2012 году. Роман посвящен истории Фридл Дикер-Брандейсовой - художницы, занимавшейся рисованием с детьми в гетто Терезин и убитой вместе с другими обитателями гетто в Освенциме-Биркенау незадолго до конца войны. “Фридл” – одна из многочисленных публикаций Макаровой о гетто Терезин – открывает новую страницу в художественно-документальной и интеллектуальной прозе о Холокосте.

Апрель 2022

В издательстве электронных книг - интеллектуальной издательской системе Ridero опубликовано «Собрание сочинений в 30 книгах» Павла Амнуэля, известного автора фантастической и детективной литературы, ученого и популяризатора науки.

25 апреля 2022

Издательство «Ктав» (“כּתָב”) выпустило роман русско-израильской писательницы Елены Минкиной-Тайчер «Эффект Ребиндера» в переводе на иврит. Переводчиком книги выступила Вика Лир, включенные в роман стихотворения перевела Сиван Бескин. На русском языке «Эффект Ребиндера» вышел в 2014 году и был сразу номинирован на несколько престижных российских литературных премий: «Русский Букер», «Ясная Поляна», «Национальный бестселлер».

24 апреля 2022

Подборка стихов Гали-Даны Зингер «До и после 24 февраля» опубликована в №13 «независимого электронного критико-литературного журнала ДЕГУСТА.РУ» (<https://degysta.ru>). Её же подборка стихов «После 24 февраля» опубликована в №1 нового электронного журнала «ROAR: Russian Oppositional Arts Review. Вестник оппозиционной русскоязычной культуры»,

редактором которого стала Линор Горалик. Весь номер посвящён войне России против Украины.

19 апреля 2022

В тель-авивском издательстве Beit Nelly вышла новая книга известного писателя Эдуарда Тополя «Идеальное любовное убийство и другие потешные романы». Для Тополя — это первая книга, изданная в Израиле. Она состоит из четырех коротких романов: «Идеальное любовное убийство, или Смерть в Нетании», «Шарлотта и медведь», «Писатели», «Ад и рай Исаака Иткинда». Всего на счету Эдуарда Тополя, родившегося в 1938 году, более 40 книг, изданных на восемнадцати языках. При этом на иврите книги Тополя, проживающего в Израиле с 2017 года, до сих пор не издавались.

13 апреля 2022

В Иерусалимской городской русской библиотеке состоялась презентация романа «Возвращение» израильского журналиста Марка Горина. Действие романа, вышедшего в иерусалимском издательстве «Клик», начинается за несколько дней до убийства Кеннеди в октябре 1963 года, а заканчивается августовским путчем в Москве в 1991 году. По словам самого автора, главным героем этого романа «стало Время, которое формировало жизнь обыкновенных людей на планете гораздо сложнее и жестче, чем они того заслуживали». Марк Горин репатриировался в Израиль в 1992 году, был сотрудником газеты «Новости недели», затем пресс-секретарем партий «Израэль ба-алия» и «Демократический выбор», возглавлял газету «Спутник». Много лет сотрудничал с радио РЭКА и с телеканалом ITON.TV.

7 апреля 2022

В литературном клубе «Вдохновение» под эгидой издательства «Бейт-Нелли» состоялась презентация книги Антонины Глазуновой «Чудеса обетованные» – «сборника рассказов о современной израильской жизни, разнообразной, непростой, но полной любви и сострадания к ближнему». Это третья книга писательницы. Две предыдущие также вышли в издательстве «Бейт-Нелли»: «Спасенный ангел» (2018) – «мемуарный роман о Ленинграде 1930-1944 годов и блокадниках», и «Стекланный город» (2019) – «мистический роман о приключениях жителей современного Санкт-Петербурга».

Антонина Глазунова родилась и выросла в Ленинграде, живет в Израиле с 1991 года.

30 марта 2022

Вышел новый номер электронного журнала Союза русскоязычных писателей Израиля (СРПИ) - "Литературный Вестник №20". В номере опубликованы фрагмент документальной повести Леонида Финкеля «Звонят из мавзолея», стихи Юрия Лейдермана, эссе Любви Хазан и Лидии Эммануиловой, рассказы Марины Старчевской и других авторов.

6-11 марта 2022

В выставочном центре «Ганей Тааруха» (Тель-Авив) состоялась выставка продуктов индустрии развлечений FUN EXPO 2022, в рамках которой провёл работу литературный салон «Пальмы на асфальте». На площадке салона прошло несколько встреч с русско-израильскими литераторами: знаменитым писателем-сатириком Александром Каневским; Менахемом Вайнбоймом - писателем, общественным деятелем Израиля, журналистом, автором книг «Местечко» и «Жизнеописание Сени Перчика и иже с ним»; Риммой Ульчиной – прозаиком, автором детективов «Мистический роман», «Береника», «Послание небес», «Тайны Вселенского Зазеркалья»; Антониной Глазуновой - автором книг «Спасённый ангел», «Стекланный город», «Чудеса обетованные»; а также с Максимом Корсаковым и Виленой Флеминг - авторами книг «На перекрёстках судеб», «Триумф Иерусалима. Королевский Гамбит», «Исповедь Козна: Тайна семьи Бубель, или Битва за Голливуд».

7 марта 2022

Гали-Дана и Некод Зингеры возобновили работу журнала «Двоеточие» на иврите - «Некудатаим». В знак солидарности с Украиной, борющейся с российской агрессией, новый выпуск «Украинский проект» - целиком посвящен переводам с украинского и других языков на иврит. Кроме того, меняется формат публикаций: новый перевод отныне публикуется онлайн каждые день-два, пока не соберется полноценный номер журнала. Первой публикацией обновленного журнала стало стихотворение Леси Украинки «Вечірня година (коханій мамі)» в переводе Шломо Кроля.

3 марта 2022

В издательстве Союза русскоязычных писателей Израиля вышла книга-справочник Златы Зарецкой «Русская драматургия Израиля. 1970-2020 гг.». Книга содержит биографические и библиографические данные о шестидесяти драматургах, работавших в Израиле на русском языке. Открывает справочник теоретическая статья о месте русскоязычной драмы в израильской культуре. Злата Зарецкая — искусствовед, лектор Международной школы по изучению Катастрофы, член Союза писателей Израиля, автор книги «Феномен Израильского театра» и более 120 работ по еврейскому искусству.

Февраль 2022

В Польше, в издательстве Силезского университета в Катовице, вышел в свет третий том переводов на польский язык произведений русско-израильской литературы “Из России в Израиль” (*Z Rosji do Izraela 3*). Составители и редакторы серии Мирослава Михальска-Суханек и Агнешка Ленарт. Автор предисловий к трем томам Роман Кацман. В книгу вошли переводы отрывков из романов Елены Макаровой, Григория Кановича, Михаила Юдсона, Линор Горалик, а также подборка “гариков” Игоря Губермана. В первый том (*Z Rosji do Izraela, 2018*) вошли переводы из произведений Виктории Райхер, Дины Рубиной, Дениса Соболева, Якова Шехтера. Во второй том (*Z Rosji do Izraela 2, 2020*) – переводы Юлия Марголина, Некода Зингера, Анны Файн, Елизаветы Михайличенко и Юрия Несиса.

28 февраля 2022

В Варшаве вышла книга Якова Шехтера «Бесы и демоны» в переводе на польский язык (“*Biesy i demony. Powieść*”). Перевод Петра Фаста, предисловие Дины Рубиной, иллюстрации израильского художника Александра Канчика. В предисловии Дина Рубина пишет: «Каждая история сшита по собственному лекалу, весьма прихотливому; весьма неожиданному; весьма поучительному. Изобретательна конструкция этого романа: в сущности, каждый его персонаж, каждый житель Курува – еврейского городка в Галиции, – на период одной из следующих глав становится главным её героем... Польские паны, судьи и приставы, управляющие именем, шинкари, раввины и ксендзы, еврейские бедняки и еврейские богачи – бурлят и поучают, учатся и молятся, судят, обманывают,

хитрят и благотворительствуют... Они трогают до слёз, заставляя сочувствовать их горестям и удачам. И в этой круговерти, казалось бы, вполне достаточной для полноценного мира хорошей литературы, выскакивают – поистине как черти из табакерки! – сущности потустороннего мира: демоны, бесы, ведьмы, заваривая очередную кашу очередного сюжета очередной захватывающей истории, которую ты начинаешь читать и уже не можешь оставить до самого финала, ибо истории эти – все про нас: про человеческую суть и душу, про наши мечты и надежды, достоинства и пороки».

Февраль 2022

В израильском издательстве "Сифрей итон 77" вышел в свет сборник переводов стихов Зинаиды Палвановой «Бакбук ба-ям» ("Бутылка в море"). Перевела на иврит Хамуталь Бар-Йосеф, которая также является редактором книги. Первая книга Зинаиды Палвановой вышла в свет в 1980 году. С 1990 года проживает в Израиле. За годы творчества вышли в свет 14 книг этого автора. Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля и поэтических фестивалей им. Ури Цви Гринберга (2004, 2006). Член редколлегии «Иерусалимского журнала».

24 февраля 2022

Российская Федерация развязала полномасштабную войну против Украины. Началась новая глава в истории русско-израильской литературы.

СТИХИ И СТРУНЫ

Ведёт рубрику Ирина Морозовская

Проживание насквозь

О друзьях писать труднее, чем о тех, с кем не связаны ничем и даже не знакомы, или просто в лёгком цеховом приятельстве. Поэтому колонка про Асю Анистратенко пишется только сейчас. Но, кажется, в каком-то смысле вовремя - есть повод поздравить и тель-авивских, и всех израильских литераторов с тем, что поэт и бард такого калибра и масштаба - теперь гражданка Израиля, совсем свежая репатриантка. С семьёй и кошками, конечно, хотя поэт изо всех - только Ася.

Если у меня спросят, а иногда и спрашивают, кого я считаю автором, и близко не получившим заслуженного, сообразно масштабу таланта и личности, признания - первым делом вспоминаю Асю. Жизнь в этом тонком раскладе не всем сёстрам раздаёт по серьгам. Для признания и известности нужны не только высший дар и умение его воплотить в слова, мелодии, строчки и стихи, не только актёрские способности и умение на сцене хорошо спеть, - но и удача, и немало сил для шевелений в этом направлении. А у Аси семья и работа. Большая семья и много работы. И маловато записей в ютубе.

Обычно момент улыбки Фортуны люди запоминают навсегда и охотно рассказывают о нём, но бывает, что миг Кайроса ещё не настал. Честно говоря, я давно и терпеливо жду его для Аси, потому что от этого сделается лучше мир. Пятый месяц живя посреди войны, научилась не только различать звуки работы ПВО, прилётов, сбитой ракеты и подрыва морских мин, но и чувства, на время гложущие, контуженные ужасом. Потом приходящие в себя, сбивчиво бормочущие о том, что происходит с тобой, вокруг тебя, и в твоём маленьком мире. И в большом тоже. Для того, чтоб вернулся слух после разрыва с ударной волной - нужно сглотнуть несколько раз. Чтоб вернулись чувства - взять книгу Аси Анистратенко и перелистать несколько страниц, пока не найдётся то, что сработает сейчас. А оно всегда находится.

Асины стихи и песни - о возвращении к себе, в себя, а потом проживанию насквозь, с кровью, иногда снаружи а иногда навывлет тех самых чувств, которых большинство и жаждет и боится. И редко поэтому с ними встречается, а столкнувшись - испуганно отскакивает. Ой, это я про себя. Пугаюсь, отскакиваю, подкрадываюсь обратно на полусогнутых, хватаю книжку или пою песню на Асины стихи.

В Асиных стихах и песнях, кроме настоящей поэзии, сочетающей в себе отчаянные уязвимость, честность и нежность, - много настоящего, химически чистого мужества. И я могу оттуда взять его, хоть капельку, хоть чуточку - сейчас оно особенно нужно, повседневно и не пафосно. Да, вот то, что у Аси Анистратенко напрочь отсутствует - это пафос, красавица и велеречивость, или как там называется то, чем сейчас зачастую грешат умеющие гладко версифицировать.

Ловлю себя на желании рассказать, какой Ася прекрасный человек и надёжный друг, но бью себя одной рукой по другой, чтоб не напечатать всего, что хочется, про них с Костей. Это не для колонки в журнале. Это - про мою любовь, которой хочется поделиться, на самом деле - заинтересовать, чтоб послушали Асины песни и прониклись собственной. Ася родилась в Иркутске, росла и училась в Новосибирском Академгородке, потом - Питер, тогда и познакомились, последние годы - Москва и много путешествий по миру с детьми. Очень хочется, чтоб всего хорошего стало ещё больше, и возможности к тому были; чтоб Израиль стал родным, чтоб, наконец, настал миг встречи с Кайросом – покровителем счастливого случая.

Начну - с любимой песни, всегда прошу её спеть:

Ты едешь поездом в Москву

<https://www.youtube.com/watch?v=x2823OMKRuA>

и эту люблю, Телефонный вальс:

<https://www.youtube.com/watch?v=2BMBxyH5S0g&list=PL-i3zkkfuMGKvY-g-6hqH116o3Wx7FwOY>

А вот на этом концерте была, повезло. Сидела в первом ряду, поэтому затылок и профиль мои в камеру регулярно попадают. Концерт хороший очень, тут и Ольга Макеева блистательная.

https://www.youtube.com/watch?v=sLfv9_QgbMM

Кому понравились первые песни - зайдите на ютуб-канал Аси. Тут больше: <https://www.youtube.com/user/fczfcz>

БОНУС ТРЕК

Ася Анистратенко

Катастрофа

Такое время говоришь ну да
восходит вифлеемская звезда
волхвы уснули с агнцами ну то есть
большое перемирие и совесть
и вкусная вечерняя еда
и можно сесть и выпить успокоясь

и празднично сияют купола
над тонущими в сумраке домами
а кто сказал чума чума не с нами
не здесь и не у нашего стола
и дым стоит но это дым не наш
там печи топятся там греют ужин
не выходи из комнаты наружу
не наши выкликают имена

и черная студеная вода
и пир все время и чума всегда
и даже в эту самую минуту
смотри я нарисую этот круг
в котором жизнь не плещет прочь из рук
но ластится и в принципе как чудо
мы в домике мы обманули мглу
а смерть пройдет в ботинках по столу
и нет не извинится за посуду

и время жить и время умирать
и проверять ребеночью тетрадь
окно закрыть и стол накрыть под вечер
давай не плачь дурная голова
и ветер забивает в рот слова
и стыд слова выплевывает встречно

АВТОРЫ НОМЕРА

Рада Полищук – прозаик, поэт, эссеист, живёт в Москве.

Рита Инина – медицинский работник, живёт в Сиэтле.

Павел Товбин – прозаик, экономист, педагог, живёт в Сан - Франциско.

Юлия Беломлинская – художница, поэтесса, писательница, публицистка, актриса и певица, живёт в Одессе.

Галина Калининна – прозаик, редактор, живёт в Москве.

Калле Каспер – поэт, прозаик, драматург, живёт в Таллинне.

Александр Борохов – врач-психиатр, литератор, живёт в Иерусалиме.

Ольга Минская – директор по бизнес-развитию программы MBA в Тель-Авивском университете, прозаик, живёт в Герцлии.

Урмат Саламатов – прозаик, банковский работник, живёт в Бишкеке.

Анастасия Яковлева-Помогаева – литератор, редактор, журналист, коррекционный педагог, живёт в Одессе.

Елена Одинцова – журналистка, литератор, живёт в г.Буча Киевской области

Нелли Воскобойник – медицинский физик, прозаик, живёт в Маале-Адумим.

Давид Маркиш – писатель, поэт, переводчик, живёт в Ор-Иегуда.

Михаил Юдсон – писатель, жил в Тель-Авиве.

Рита Грузман – предприниматель, живёт в Иерусалиме.

Яков Шехтер – писатель, живёт в Холоне.

Раве Саги – прозаик, живёт в Рамат ха-Шарон.

Айман Сиксек – израильско-арабский писатель, журналист, пишущий в основном на иврите, живёт в Яффо.

Рои Ешурун – прозаик, бизнесмен, общественный деятель, живёт в Ход ха-Шарон.

Александр Крюков – дипломат, переводчик, профессор МГУ, живёт в Москве.

Ирина Евса – поэт, переводчик, живёт в Харькове.

Фаина Судкович – поэт, музыкант, исполнитель собственных песен, живёт в Афуле.

Наталия Кравченко – поэт, журналист, живёт в Саратове.

Ирина Маулер – поэт, прозаик, художник, композитор, живёт в Беэр-Яков.

Мири Яникова – поэт, переводчик, исследователь ивритской поэзии, живёт в Кирьят-Бялике.

Александр Кабанов – поэт, редактор, живёт в Киеве.

Елизавета Михайличенко – поэт, художник, живёт в Иерусалиме.

Григорий Марк – литератор, компьютерщик, живёт в Бостоне.

Акшин Енисей – поэт, живёт в Баку.

Александр Елин – поэт-песенник, журналист, музыкальный продюсер, либреттист, живёт в Иерусалиме.

Владимир Ханан – поэт, прозаик, живёт в Иерусалиме.

Сергей Черепанов – поэт, прозаик, драматург, экономист, живёт в Киеве.

Евгений Сухарев – поэт, журналист, живёт в Эрфурте.

Александр Францев – поэт, живёт в Архангельске.

Юрий Берий – поэт, инженер, живёт в Истерио(штат Флорида).

Нателла Болтыанская – автор-исполнитель песен, журналист, живёт в Ришон ле-Ционе.

Петр Люкимсон – писатель, журналист, живёт в Холоне.

Михаил Черейский – научный работник, переводчик, эксперт Всемирной организации здравоохранения, живёт в Реховоте.

Давид Шехтер – публицист, журналист, общественный деятель, живёт в Ришон ле-Ционе.

Роман Кацман – профессор живёт в Гиват-Шмуэле.

Алексей Сурин – журналист, живёт в Иерусалиме.

Елена Промышлянская – докторантка кафедры еврейской литературы Бар-Иланского университета, живёт в Ариэле.

Ирина Морозовская – психолог, бард, исследователь социума, живёт в Одессе.

Ася Анистратенко – поэт, автор-исполнитель песен, переводчик, живёт в Иерусалиме.



מרכז למועצת יהדות
בידן המועצות

Центр наследия
евреев СССР

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ПОМОЧЬ НОВЫМ РЕПАТРИАНТАМ ИЗ УКРАИНЫ?

**АССОЦИАЦИЯ "МААЛОТ" ИЩЕТ ВОЛОНТЕРОВ
ДЛЯ СВОЕГО ПРОЕКТА "ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ",
ПРИЗВАННОГО ОБЛЕГЧИТЬ РЕПАТРИАНТАМ ИХ
ПЕРВЫЕ ШАГИ В СТРАНЕ И ПОМОЧЬ СПРАВИТЬСЯ
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПЕРЕЖИТОГО ИМИ УЖАСА.**

**ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ ПРОТЯНУТЬ РУКУ ПОМОЩИ
НАШИМ БРАТЬЯМ И СЕСТРАМ – ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ:**

lev2lev@maalot.org



ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ

Яков Шехтер, Михаил Юдсон

Ответственный секретарь

Михаил Сидоров

Редколлегия: Катя Капович, Анна Мисюк, Ирина Маулер, Ирина Морозовская, Давид Маркиш, Михаэль Барам, Денис Соболев, Роман Кацман, Давид Шехтер

Корректор: Кармит Кособурд

Сайт журнала: <http://www.sunround.com/article/>

Фейсбук:

<https://www.facebook.com/TelAvivskijSetevojZurnalArtikl>

Электронный адрес редакции:

articreda@gmail.com

Почтовую корреспонденцию в «Артикль» можно отправлять по адресу: **Irina Mauler, Journal "Article", Beer Yaakov, Arava 76, 703000.**

Телефон: 050-9080348 (в Израиле)

(972)-50-9080348 (для заграницы).

